Дмитрий
Бобышев

Я ЗДЕСЬ

(Человекотекст)

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Случается, что разные миры сходятся в одной точке. И тогда судьбы людей сплетаются с судьбами магов. На грани миров две противоборствующие армии ждут появления третьей силы - Роя жутких существ, которые несут с собой смерть и опустошение. Два мага, возглавляющие армии, продолжают вековую борьбу, и каждый считает себя правым. И когда магия оказывается бессильна, когда мечи и копья становятся бесполезны, приходит время пороха... `Я здесь` - книга об уже ставшем легендой молодом Ленинграде 1950-60-х годов: Бродский, Найман, Рейн, Бобышев - четверо вступающих в литературу поэтов и семидесятилетняя Анна Ахматова, подарившая им свое участие и дружбу. О том, `как жили поэты `, написано немало, в том числе, и самими героями. `Человекотекст` Бобышева - еще одна партия в квартете, сыгранная пристрастно и ревниво. Это история дружбы-вражды, история соперничества, наконец, история любовного треугольника, рассказанная с обезоруживающей откровенностью...

•
•

Дмитрий Бобышев

Я здесь

«Человекотекст»

Этот текст — не совсем проза, потому что здесь мало вымысла, но это и не моя жизнь, как она шла, строилась, разбазаривалась, мучила меня и наслаждала. Можно, конечно, сказать, что это — воспоминания о том, что случалось со мной в разные времена,— и точка. Но вспоминаю-то я не столько сами события, сколько мое тогдашнее их восприятие, что вполне сравнимо по зыбкости с каким-нибудь чешуекрылым существом. К тому же я все те происшествия и мои возгласы, ужасы, восторги и бредни осознаю заново, теперь, пробуя их буквами и словами, лист за листом превращая их в текст, в сросток с самим собой. В смесь бабочки и гусеницы. В человекотекст. Так где же я — там или тут, тогда или теперь? Ответ: в этом тексте.

Ранний Рейн

Евгений Рейн уже своим ярким, словно искусственно придуманным именем запоминался, как театральная афиша. Называться рекой, к тому же еще такой знаменитой, бывает впору только литературным или оперным персонажам. Но Онегина он нисколько не напоминал, хотя внешность его была по-своему незаурядна. Огромные черные глаза с длинными ресницами под густыми бровями сообщали ему таинственный вид авгура и заклинателя, хотя и не без легкого намека на шарлатанство, разумеется... Меня эта странность привлекала как залог будущей пародийности его поведения и общей "несерьезной серьезности", а иных она явно бесила. Прямой твердый нос, чуть одутловатые щеки и мешающие четкому выговору губы вместе создавали гротескное, двойственное сочетание: он как бы пугал и смешил одновременно. Чичкина и Мазгалина, например, прыскали невпопад, с чем бы он к ним ни обратился. Он мог вдруг чертом пройтись по столовой, выхватывая чужие пирожки, и все лишь глядели на него завороженно. А первая красавица института Вава, когда я спросил, нравится ли ей Рейн, ответила кратко и с непонятным возмущением:

- Урод!

Злокозненный Гарик Ройтштейн высмеивал в нем все - и якобы неблагозвучные инициалы имени, и "бочкообразную" грудь при общей сутулости юного Евгения Борисовича, и его выходки, делая это, впрочем, с осторожностью: высокий рост и длинные руки с крупными кулаками придавали Рейну внушительный вид,- он и в двадцать лет казался уже сорокалетним. Что бы он ни делал, кисти рук, высунутые из рукавов неизменного френчика, все время шевелили плоскими белыми пальцами: он будто разминал ими воздух, или мял невидимый пластилин, или налаживал прозрачную скрипку, формируя в катыш, возможно, не эстетический принцип, а всего лишь козявку из носу.

Шутки он выкрикивал отрывисто и гулко, стараясь, чтобы звучало четче, но это не всегда удавалось, а повторять их было негоже по закону жанра. Но когда звук удавалось прокрутить в памяти, то во фразе обнаруживалось необычное слово, стоящее

как бы поперек,- в нем и заключалась острота, если и не смешная, то литературно забавная.

Мне нравился этот юмор, а Рейн ссылался все чаще на неизвестный источник. Наконец, пригласив меня домой, он его обнаружил: Ильф и Петров, в то время вроде бы не существовавший ни в библиотеках, ни в продаже реликт довоенной культуры. Как удалось ему такое достать?

- Я хотел купить эту книгу, но владелец мне ее так отдал.

- Как? Почему?

- Сказал, что она несерьезна.

Человек без чувства юмора? Впрочем, мой друг, как я не раз убеждался, мог сам заимствовать полюбившуюся книгу "за так". А приключения обаятельного жулика скоро были переизданы, и все шутки Остапа Бендера стали известны наперечет. Знатоки и поклонники даже устраивали между собой турниры на знание "священных" текстов. У Рейна для таких поединков было припасено секретное оружие - записные книжки Ильфа, но и они скоро стали общим местом, объектом новых пародий.

На одной из обязательных лекций по ОМЛ (Основы марксизма-ленинизма) мы, уже, можно сказать, "два друга", затеяли рукописную газетку, пародирующую ту, из "12-ти стульев", которая, в свою очередь, пародировала реальный "Гудок".

- Наша будет называться "Блоха",- говорил Рейн, глядя на сидящего впереди Володю Блоха.

Я вырвал разворотный лист из толстой тетради и этим определил формат газеты.

- Блоха прыгает, жалит, это будет ее первый укус,- говорил Первый главный редактор.

Второй главный редактор выводил в это время шапку газеты, слегка имитируя шрифт "Правды". Вот, как у "Правды" - "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", у нас появился свой эпиграф: "Ройтштейн, что вы прыгаете, как Блох?" Это была шутка Н. Бурдина, преподавателя начертательной геометрии, желчного

язвенника и ревматика, отличавшегося отменными афоризмами. Шутку эту он произнес на вчерашнем занятии, и мы с Рейном, не сговариваясь, зааплодировали ему, как премьеру на сцене.

Ниже заголовка я вывел "Орган 434 группы". Рейн уже писал ахинейскую хронику светской жизни. Я пустился изобретать ребусы и шарады, вместе мы накинулись на отдел объявлений. Вот его шедевр: "Разыскивается профорг". (Наш профорг, добродушный и немного сонный красавец-брюнет Мика, отсутствовал на лекции.) "Особые приметы разыскиваемого: на носу бородавка, на щеке другая, профорган неестественно увеличен".

Новорожденная "Блоха" заскакала по столам аудитории. "Блоха, ха-ха-ха-ха-ха!" - мусоргско-шаляпинский хохот неслышно сопровождал ее. Выпустив четвертый, почему-то "юбилейный" номер газетки, мы прекратили это дурачество.

Я наслаждался общением с Рейном и его речениями, в которых находил много неизвестных мне литературных фактов (зачастую им же и придуманных), имен и явлений. Мы судили, рядили и гадали - если не обо всем, то о многом. Острил он порой неожиданно и дерзко, бывало, "ради красного словца" не пожалев и дружбы.

Вот наша группа в деревне на границе Ленинградской и Вологодской областей - мы на очередной "барщине" убираем колхозный горох, скручивая былье со стручками в рулоны. Вечером - тихий отдых в избе. Мика читает Фейхтвангера. Люся Дворкина, чистая душа, наверное,- Толстого. Скорей всего "Крейцерову сонату", потому что она вдруг отрывается от книги и спрашивает, недоумевая:

- Ребята, а что такое онанизм?

Ни секунды не помешкав, Рейн выпаливает:

- А об этом лучше спросить у Мики.

Миролюбивый Мика как сидел за столом, так, взревев, со столом и пошел, поднимая его над головой, на Рейна. Лишь громкая матерщина хозяйки, вбежавшей в горницу с ухватом, остановила возможное другоубийство.

Да, дерзок мой друг бывал чрезвычайно, но и робок тоже не в меру - панически боялся начальства. Тогда же на гороховое поле прислали нам инструктора из райкома, самоуверенного невежду, который двух слов правильно связать не мог. Все сидели на рулонах гороха, слушали его, иронически улыбаясь. Рейн стоял навытяжку, чуть ли не комически трепеща. Может быть, не "чуть ли", а просто "комически"? Нет, видно, еще до института был он если не бит, то крепко пуган и так же крепко об этом молчал. Но иногда ради публики или из-за неловкости шел на демарш. При мне замдекана, тот самый злющий Павлюк, к которому Рейн обратился: "Хозяин",- шипел на него, аж побледнев:

- Вы не на даче, не в деревне, вы в деканате в конце-то концов!

А как было к нему обращаться - "товарищ"?

Можно ли было дружить с таким человеком? В одном окопе, как говорится, не посидишь, в разведку вместе не пойдешь. Но я и не хотел сидеть в окопе и ходить в разведку. Я хотел читать и писать свежие, неслыханные стихи, хотел знать больше о литературе, до самозабвения хотел слушать и говорить о поэзии, а для этих занятий лучшего компаньона, чем Рейн, право же, не было и до сих пор не найти!

Да он и сам гудел из своей "бочкообразной груди" стихами - непрерывно и зачастую невпопад с обстоятельствами. Вот он в том же колхозе мешком сидит на спине тощего мерина. Вокруг - поле мерзлой грязи, из которой мы выковыриваем картошку. Рейн читает вслух "Улялаевщину" Сельвинского, воспроизводя самые героические и разбойные ритмы поэмы:

Д'ехали казаки,
д'ехали казаки,
д'ехали казаки,
чубы по губам.

Слушают его только двое (не считая мерина): однокурсница да я, не раз возглашавший, будучи по-своему зачарован этим Паганини без скрипки:

- Куда смотрят наши девицы?

Вот одна и смотрит, когда мы плывем по Неве втроем на речном трамвайчике: Петропавловка, Васileостровская стрелка, Острова, барокко, ампир, купы деревьев... Рейн при этом декламирует, конечно, не Пушкина, что было бы тавтологией, не Агнивцева и Г. Иванова (которых мы еще не знаем), а почему-то Багрицкого:

Эх, Черное море,
вор на воре...

Багрицкий - потому что романтика и южная школа, которой оказался привержен на всю жизнь. На какую бы тему ни были его стихи, всегда в них можно безошибочно определить, почем нынче помидоры на рынке. Конкретность, напор, подъем - вот что ему нравится в книжных сборниках 20-х годов, которые он попеременно носит с собой в кармане френча и при первой же возможности читает вслух. День проводит с Багрицким, читая мне неслыханный, ошеломляющий и мутный "Февраль", день - с Антокольским, Сельвинским, Луговским... Откуда такая богатая коллекция? Что-то он глухо и неодобрительно говорит о домашнем собрании первого отчима, о книжных развалах в Лавке писателей и у букинистов на Литейном и с восторгом - о барахолке:

- Ты даже не знаешь, где она находится? Едем туда в ближайшее же воскресенье!

Барахолка 50-х годов устраивалась по воскресеньям на Лиговке, на пустырях и дворовых площадках, располагаясь в глубь квартала от травянистого склона Обводного канала: пыльное, грязное, даже вонючее, но и яркое, пестрое зрелище. Инвалиды раскладывали на газетке свинченные медные краны, бабки трясли полами полупальто, демонстрируя прочность подкладок, другие негоцианты, наоборот, ни за что не показывали товар, ожидая лишь верного покупателя. Это был действительно свободный, хотя и с сильной опаской и воровской оглядкой, рынок! Ради курьезу мы пошли посмотреть ряд искусств и ремесел: крашеные глиняные коты-копилки с выпученными глазами, пронзительные клеенки с красавицами и лебедями, настенные коврики с прудами и зЗмками в лунном свете...

- И это - искусство? - спросил Рейн риторически крепкую сорокалетнюю тетку, продавщицу этого добра. Та, не смутясь, отчеканила:

- Настоящее искусство, молодой человек, которое за килЧметр видать!

А вот и книжники. Сколько крамолы лежит в открытую, это ж невероятно! Воспоминания генерала Деникина, рижские издания эмигрантов. Но - дорого, а денег мало. Наконец я покупаю "Розу и крест" Блока отдельным изданием, Рейн - "Пушторг" Сельвинского.

Найдя во мне, что называется, "благодарного слушателя", Рейн однажды у себя дома буквально зачитал меня стихами. Он читал вперемежку, на выбор из Тихонова и Антокольского, и добавлял что-то еще, звучавшее чуть иначе и ближе.

Я понял, что он меня мистифицирует, но вдруг до слез взволновался строчкой "Этой ночью меня приговорили к бессмертью...". Волосы встали дыбом на голове, сердце запрыгало в такт, и я произнес:

- Женя, это же ты... Это же гениально.

Молодой Найман

Я хотел назвать эту главу "Ранний Найман" по аналогии с предыдущей, но подумал, к какому же периоду "жизни и творчества" отнести его вчерашний звонок из Нью-Йорка? Я накануне оставил на автоответчике в том доме, где он гостит, мою стихотворную реплику на его "Колыбельную внучке":

Видно, верному - медленным быть велено:
сквозь жизнь доехало только сейчас...
Вот и не спрашивайте, по ком колыбельная,-
она ведь - по любому из нас.

Вопрос "По ком колыбельная?" немедленно воскрешает другой: "По ком звонит колокол?", что тут же вызывает имена Донна, Хемингуэя и Бродского, сразу связывая проповедь, роман, большую элегию и заодно - эту колыбельную, а также времена, пространства и наши увлечения воедино. Надо ли говорить, что Анатолий Генрихович все связи мгновенно уловил, тем более что они были намечены в его "Колыбельной", и он поблагодарил меня учтиво и просто. А потом голос его как-то по-давнишнему дрогнул, и он спросил:

- Хочешь, почитаю совсем новое?

Он стал читать стихотворение "Караванная, 22" - это был адрес его детства: в двух шагах от Невского, у манежа, кинотеатра и цирка. В нем повторялся образ, просто просящийся в заглавие книги - львы и гимнасты, входящие в цирковой подъезд. Яркие и упругие, золотые и клетчатые, как метафоры Юрия Олеши.

Он кончил читать, возникла секундная пауза, он ждал моей реакции.

- Ну что ж. Я бы сказал "гениально", если бы ты уже не слышал этого раньше,- обронил я заветное слово, тут же его как бы и отозвав.

Мы рассмеялись, оба по-своему счастливые. Кто это был на линии - "поздний Найман"? Нет, прежний, тот же. Пусть "седьмой десяток", пусть внучка, и он, стало быть, дедушка, но в наших отношениях не было бурных конфликтов и переломов, как с Рейном, во многом благодаря уму и такту Наймана, умевшего вовремя переключиться на "более неотложные дела", да и я избегал выступать с очевидной, но нежелательной критикой - вот и получилась наша "дружба с первого взгляда" столь протяженной...

Наблюдать молодую толпу в Техноложке лучше всего "под часами" в вестибюле, на излюбленном месте встреч, в особенности перед ранним уходом с занятий. Но и не уходя можно было там увлекательно пропустить

час-другой обучения в разговорах, покуривании, анекдотах, знакомствах и обсуждении статей, характеров и успехов всех мимо снующих зубрил и хвостистов.

Вот лестничный поворот огибает скромно-яркая Вава Френкель. Она в чем-то сером, подчеркнуто-будничном, а движется, как балерина.

- Здравствуй, Дима!

Исчезла...

Тут же возникает Леша Порай-Кошиц, сын покойного академика, учащийся на другом потоке. Видимо, наблюдал за ней с другой точки.

- Ты знаешь эту девушку? Познакомь меня!

- Видишь ли, Леша...

Нет, Вава, увы, не "моя" девушка, но дарить ее Порай-Кошицу я не собираюсь.

Подходит Кира Певзнер - точеная фигурка, манеры жеманные, но с подначкой, глазища "туда-сюда" заставляют не замечать тяжеловатых книзу щечек. Вот она, вроде бы "моя" девушка, но это только так. То манит, то отталкивает - держит при себе, а сама ищет новых знакомств.

Мелькнула Люба Попова - совершенно дейнековская боеподруга. Кольнула синей насмешкой из-под легкого желтого локона: мол, стоишь, остолоп, ну и стой, все равно вокруг меня станешь виться, когда поумнеешь.

Достал "беломорину", прикурил от моей сигареты Виктор Колин: хорошая стрижка, костюм, белая рубашка, галстук. Скрипуче пошутил, оправдывая свой англичанский вид и фамилию:

- Люблю все добротное...

(Спустя время он читал этим голосом добротные, вероятно, лекции там же, где слушал их теперь. А вот - уже не читает. Нет его.)

Вот проходит Юра Берг, аспирант и артист,- благородный профиль, тихий отчетливый голос, манеры и вид джентльмена, он с нами не останавливается, лишь делает жест издалека: мол, рад

бы, ребята, с вами потолковать, да некогда...

А Володю Брагинского, наоборот, разбирает жажда общения: он сегодня тоже поэт. Достает из портфеля, читает: "Половой голод".

- Володя, ты же такой обаяха, чего ж ты тогда полово голодаешь?

И я выгляжу не позорищем рядом с элитой: приехавшая повидаться с сестрой тетя Лида ловко скроила мне куртку из синей простроченной ткани, приспособила к ней на всю полу с распахом "молнию", и - носи на здоровье! Я и носил.

Вот по широкому маршу спускается Юра Михельсон: длинная вытянутая фигура, длинное вытянутое лицо,- при виде "избранного общества", собравшегося под часами, глаза его исчезают в улыбке. Пока он подходит, я успеваю услышать с одной стороны: "Сын профессора Михельсона", а с другой: "Сам гениальный композитор, между прочим". Как может музыкальный гений учиться у нас?

- Господа! - обращается он. (Это в 55-м-то году "господа"!) - Я надеюсь, среди нас нет стукачей?

Ничего себе! А если есть? Ну и пусть! Далее следует "Армянское радио", потом "Рабинович в Большом доме"...

Композитор? Это мне интересно. Я побывал в михельсоновской большущей вроде бы квартире, в которой видел только Юрину келью: кушетка, два стула и рояль, на котором стояла картонная цитата из камердинера Монтескьё: "Вставайте, граф, вас ждут великие дела!"

"Граф" Михельсон сел за рояль спиной к окну, за которым близко-близко плескалась Фонтанка, ударил по клавишам, бурно заиграл что-то свое, "еще не готовое", бросил.

Бурно, вздымая руки, заговорил о Шостаковиче - гений, гений! Захотел поставить пластинку, но я эту музыку слышал уже в концерте.

- А вот что ты наверняка не знаешь. Послушай!

И, действительно, закрутилась какая-то музыкальная машина с нечеловеческим размахом и энергией, вовлекая мой слух и сознание, а стало быть, и предметы, людей, обстоятельства, жизни, связанные со мной, в увлекательный и трагический танец, в головокружительный фортепьянный концерт, который должен сейчас оборваться. Не обрывается, не обрывается, не обрывается... Вот и оборвался. Конец.

- Ну что это? Кто написал?

- Не знаю... Шостакович-не-Шостакович, Прокофьев-не-Прокофьев. Но - гений.

- Это - Галынин! Слыхал о таком?

Никогда раньше не слышал. Да и потом - тоже глухо. Спасибо, Юра, тебе за Галынина. Технолога из тебя, как из всех нас, не получилось, композитора - тоже, а вот либреттист Юрий Димитрин вышел отменный.

По лестнице спускается в вестибюль ладный молодой человек в куртке, почти как у меня, только моя темно-синяя, а у него - темно-вишневая. Я уже замечал этого юношу в институтской толпе: черные брови и чуть удлиненные волосы, бледное лицо, глаза то задумчивы, то сверкают, вид - надменный. При этом, как я узнал о нем,- круглый отличник, школьный серебряный медалист. Значит, пойдет в науку. Жаль, пропадает такое сходство с брюсовским адресатом, воплощением молодого поэта:

Юноша бледный со взором горящим...

Но этот юноша вдруг подходит ко мне, протягивает руку и говорит:

- Я Анатолий Найман. Я знаю, что вы - поэт Дмитрий Бобышев.

- Да, я пишу...

- Я пишу тоже и хотел бы вам почитать.

- Великолепно! В конце часа я должен сдать журнал в деканат

и после того, если вы не против, мы могли бы поговорить где-нибудь вне этих стен.

Он был не против, мы вышли из института, повернули налево по узкому длинному Загородному, мимо всех этих мнемонических улиц "Как можно верить пустым словам балерины", пересекли бревенчатую набережную Введенского канала (ныне засыпанную), прошли мимо Витебского вокзала, на ступенях которого задохнулся когда-то Анненский, мимо Пяти углов, вышли на широкий и короткий Владимирский, пересекли Невский, миновали букинистов, затем каменную кулебяку дома Мурузи, не заметили, как миновали Большой дом и Литейный мост, добрели с переколенцем до Сампсоньевского (тогда - Карла Маркса), до дома 70, где жил Толя, и вышло, что я проводил его до дому. Раз так - мы повернули обратно, перешли вновь Литейный мост, повернули налево по Чайковской, прошли сквозь сад, оказались у моего дома 31/33 по Таврической улице, и уже вышло, что он проводил меня. Тогда, ради полной справедливости, мы вернулись к Неве и посредине Литейного моста, наконец, расстались.

Все это время мы говорили только о стихах.

Стихи, стихи, стихи...

Стихи Наймана, прочитанные им на этой прогулке, как и мои стихи, уже не были первыми опытами, но и самостоятельными и состоявшимися их тоже вряд ли можно было назвать. Даже тогда это было нам обоим ясно: неперебродившие гормоны, бледный синтаксис... Но скорая в восемнадцати-девятнадцатилетнем возрасте интуиция угадывала еще неслучившееся, несочиненное и ненаписанное, летя впереди наших жизней. Взаимные замечания по текстам схватывались на лету и благодарно учитывались на будущее: отсекалась банальность, отбрасывались легкие способы и эффекты. Даже скорей эстетически, чем как бы то ни было иначе, установился барьер презрения к тому, что делало стихи "советскими", проходными для печати. Вкус отвергал все это раньше, чем срабатывала этика.

Я поверил в талант моего внезапного друга (признаюсь)

после второй встречи, он поверил в мой сразу. Когда иссякли собственные тексты, мы стали читать на память излюбленные. Некрасова тут же заткнули портяночной пробкой, горько и высоко зазвучал Лермонтов, но ненадолго, ибо и он оказался весьма пожеван школьной программой, а Баратынский и Тютчев, наоборот, на удивление поражали своей незахватанностью. И тут воспарил, конечно же, Блок, Блок, Блок.

А слыхал ли он нечто совсем другое? Переходя на образцы не безусловные, но все равно заветные, я прочитал куски поэзии из "Орды" и "Браги", перекочевавшие в мою память из кармана рейновского френча.

Найман был ошеломлен:

- Тихонов? А я думал, это - официоз...

- Нет, он поэт, и подлинный. Вот слушай:

Захлебываясь, плыли молча
мамонты, оседая.
И только голосом волчьим
закричала одна, седая...

Багрицкого он знал, Луговской царапнул его лишь поверхностно. Как мало мы знали тогда, но как уже верно чувствовали! К Пастернаку мы оба лишь подходили, Мандельштам был еще не прочитан. Впереди лежала неоткрытая, да и не совсем еще написанная великая поэзия, и где-то в ней мечталось и угадывалось нам угнездиться.

Наша дружба "с первого взгляда" не требовала подтверждений. Продвигаясь стремительно в том, что оба выбрали главным, мы нуждались в частом общении, и скоро он стал заходить ко мне на Таврическую, а я был тепло принят в его семье: доброжелателен был и отец Генрих Копелевич, инженер, техническая косточка, и мать Ася Давидовна, врач и сочувствующий нам гуманитарий, и младший брат Лёка, видом пошедший в отца. Толя был в мать, и она своему первенцу старалась передать кое-что сверх его блестяще восприимчивого интеллекта, быстроты мысли и обаяния: свой европейский опыт, приобретенный в студенческие годы в Париже. Вот откуда

появились в его еще ученических стихах эффектные перепрыги с русского на французский!

Я, конечно, рассказал о нем Рейну как другу и ментору. Он был скептичен:

- Знаю я стихи этого отличника...

- Но он развивается!

Действительно, все больше забрасывая науки, развивался он, как и мы, скачками. Вот написал вычурно-отталкивающие, но забавные "Отродья": "У мужчины родился урод, / человеческий только рот"; витринная манекенша забеременела от магазинного воришки, в результате чего родилась уродка, подходящая подруга для первого. А уж от них, от двух уродов, пошло поколение нормальных людей, то есть, читай, все мы - отродья...

Дерзко, необычно, нелеповато... Найман давал читать это компании "под часами": знатоками были отмечены политические аналогии "Отродий" с партией и комсомолом и библейско-мифологические - с Адамом и Евой. Но скоро новизна стала у него связываться не с изобретательным вымыслом, а с личной неповторимостью, дыханием, сердцебиением, генетическим кодом, и он научился легко ее выражать в простейшем:

Живу в квартире номер семьдесят,
дом семьдесят по Карла Маркса.
Мой дом и здания соседние
похожие имеют маски.

Рифмы здесь калиброваны. Маски домов могут быть схожи, и все ж точные номера дают не только неповторимый адрес, но и полное совпадение стихов с действительностью, пусть даже в анкетном ее проявлении. Реализм? Не совсем, потому что здесь нет примата реальности над искусством. Это в конце концов лишь ранний, несколько упрощенный пример великого гетевского принципа "Поэзии и Правды", притчи о двух сосудах, взаимно наполняющих друг друга.

Нет ничего легче и продуктивней, чем наполнить стихи собой, и если не мешают препоны между языком и авторским

переживанием, то индивидуальность текста получается словно самопроизвольно. Жестикуляция, мимика, тембр голоса отпечатываются чуть ли не дактилоскопически в словах. О чем бы ни писал поэт, он изображает свой портрет: так ранний Найман описал каток, вполне демократическое место скользких зимних забав молодежи. Он - о том, как "в облегающих рейтузах / садятся девушки к парням, / приобретая позы клоунш", а я вижу его в Эрмитаже на третьем этаже, рассматривающим гротески Тулуз-Лотрека. При этом он, приподняв бровь, косит в сторону, интересуясь, замечен ли он читателем именно там, в тех залах, где висят импрессионисты, то есть прочитан ли код, сообщающий о взаимной элитарности обеих сторон.

Эффект "клоунш" признал и Рейн; мы втроем стали появляться в литературных компаниях, и я помню, как Толя читал "Каток", стараясь понравиться Леше Лившицу, тогда студенту журналистики, который слыл авторитетным и взыскательным филологом.

Нет, элитарный код не был им прочитан, стихи Наймана вызвали скепсис, как, впрочем, и мои стихи. Из нас троих Лившиц признал лишь Рейна, да и то с оговорками: интеллект, культурность, книжность не считались ценностями среди университетских поклонников Хлебникова. Это отношение, вместе с авторитарностью, Лившиц усвоил и воспринял от своего ментора Михи Красильникова, тогда исключенного из университета за публичный демарш в духе славянствующего Велимира. Былинно рассказывалось, как Миха со приятели явились на лекцию по советской литературе в посконном, сотворили квасную тюрю и стали хлебать ее деревянными ложками. Даже привычкой говорить нараспев эта легендарная личность повлияла на идущих вослед универсантов-филологов. Распев, впрочем, восходил к манере бытовой речи Пастернака, которому в стихах жестоко подражал Леша Лившиц, но о своих опытах до поры умалчивал.

Непризнание казалось несправедливым и обидно досаждало Найману, как если бы, к примеру, его футбольная команда продула противнику, а он "стоял в голу". Но, в сущности, оно было правомерным. Своей собственной, даже такой обаятельной манеры для той поэзии, которой мы взыскали, было недостаточно. Оригинальную манеру лихорадочно ищут и не могут найти участники литературных кружков, но для подлинного певца это не более, чем умение опереть свой голос на

диафрагму. Что и как он запоет - вот в чем все дело!

И Найман вскоре зазвучал по-новому. Это было стихотворение "Пойма", торжественное и напевное, где библейские архаизмы естественно сочетались с современными метафорами и образами среднерусского пейзажа:

Всем, что издревле поимела
обильная дарами пойма:
водой солодкой, хлебом белым
я был накормлен и напоен.

В стихах были истинно красивые тропы, совсем не затронутые какой-либо слащавостью, а ведь для того, чтобы не предать красоту, как это сделало большинство поэтов нашего поколения, требовалось духовное мужество. Но и мастерство тоже:

Стреноженные кони косо
водили плавными хребтами,
прозрачнокрылые стрекозы,
прицелясь в воздух, трепетали...

"Аркадий, не говори красиво!" - сказал тургеневский Базаров, заморозив на полщеки лицо русской литературы. Впрочем, Бальмонт, Блок и Белый заговорили было о прекрасном - возвышенно, но на них притопнул с Триумфальной площади советский Маяковский, и всем стало стыдно. Гении, даже на фотографиях, стали выпячивать свои квадратные подбородки, скошенные лбы, двугорбые, как верблюды, профили. Добавилось с Запада, от изысканно безобразных кубистов и мовистов до Сальвадора Дали, с явным сожалением, но все же искажающего красу, и даже до безупречного эстета Матисса, провозгласившего в поддержку своей оппозиции: "Красивое - уже не красота!"

Начавшийся с ранних уродов и "Отродий" Найман стал писать все более чеканно и отточенно, сканно, серебряно-червлено, воздушно-барочно и, стало быть, демонстративно и вызывающе красиво.

Крымские дачники

К разгару белых ночей квартира на Таврической опустела: Бобышевы всем семейством уехали на дачу в Крым, а я оставался доделывать курсовые проекты и держать очередные экзамены,- их общее количество, если считать с седьмого класса, уже исчислялось многими десятками: сколько невидимых миру нервных напрягов и надрывов!

Сад вваливался в раскрытые окна, небо было прозрачно расцвечено если не карамелью, то акварелью: вечерние зори в нем занимались прохладными нежностями со своими выходящими в утреннюю смену товарками. Науки меж тем все усложнялись, и сочетать их с экстазами по поводу великого поэтического поприща бывало нестерпимо. Я уходил из дому в ночную тень - к уже розово освещенному по верхам Смольному собору, где изредка попадались подобные мне тени сверстников и сверстниц, томимых тем же броженьем. Одна из них присоединилась ко мне:

- Можно с тобой? Я - Бэлка.

- Почему не "белочка"?

- Диминитивов не обожаю.

Ладная подкрашенная блондинка, глаз - голубой, манеры свойские. Учится на шведском отделении университета, расположенном в античном тупичке сразу же за монастырем. Общежитие - там же. Шпионскую школу, конечно, знает. И более того - многократно туда ходила, и на танцы, и так. Что значит "так"? То самое и значит - там же и была завербована в эти самые, в шпионки.

Мы с ней подружились именно потому, что я ей не поверил. Ну не может же настоящая шпионка так вот выкладывать первому встречному всю конспирацию... Просто, должно быть, хотела по-своему удивить, произвести впечатление. Что ей, кстати, и удалось!

Нет, на следующую встречу притащила крохотный фотоаппаратик, явный диминитив: не смогу ли я определить, испорчен он, или это она что-то не так с ним делает? Потом

говорила о сложностях кодировок и уже совершенно непреодолимо трудных зачетах на шведском отделении. Я ей - о предчувствии необычной судьбы и тоже об экзаменах. Исчезла на недели. Наконец исчезла на годы. И вот вдруг звонит, чтобы встретиться. Боже! Появляется советская вобла в двубортном костюме, сияет золотыми фиксами - и сразу в койку:

- Расскажу все потом...

- Никаких "потом"! Где ты, что ты?

- В Ту-у-ле, на одном предприятии, начальником первого отдела. Командировку себе выбила. Думаешь, это легко с моей секретностью?

И тут я в ее былое шпионство поверил: начальницей секретного отдела за так просто не станешь, тем более на оружейном заводе. А в Туле - только такие. Ну, конспираторша, сколько военных тайн ты можешь выдать?

Нет, в джеймсы бонды я не годился; не получался из меня и путный технолог-механик,- о последнем стали догадываться, к сожалению, даже преподаватели. Сдавая проект по "Машинам и механизмам" Кириллову, чей бритый череп с нахлобученным лбом воплощал техническую мысль, я услышал от него укор с пришепетом:

- Какой же из вас, Бобышев, инженер получится, если вы гайки чертите с пятью гранями? Вы что, собираетесь изготовлять нестандартные гайки? Рабочие вас засмеют.

- А сколько их нужно?

- Чего - гаек? Рабочих?

- Нет, граней, конечно...

- Вот видите, вы даже вопрос правильно задать не умеете...

Уел меня на русском языке. А доцент Шапиро - на "Насосах и компрессорах". К его экзамену я готовился один, а к переэкзаменовке - вдвоем с Блохом, тот же экзамен завалившим. Пересдавали кое-как, но я получил троечку, а Блох - четверку!

Бывали и обратные варианты. К "Физической химии" меня натаскивала Галя, считавшая долгом своей жизни выручать поэтов. Совсем недавно я как поэт вырос в ее глазах, прочитав нервные и размашистые строфы из "Февраля на Таврической улице":

Каждый угол на этой уличке,
затвердившей его ненастье,
был обшарен глазами колючими...

Она дала им самую высшую оценку, на какую только была способна:

- Знаешь, это даже лучше, чем у Женьки.

Натаскивала она меня упорно, и сама на экзамен пошла раньше, чтобы успеть рассказать мне об обстановке, прежде чем я пойду отвечать. А принимала совсем новая преподавательница Нина Андреева, молодая, не без некоторой даже привлекательности дылда, и никто не знал, что она такое.

Выходит Галя - бледная, аж в зелень:

- Пара!

- Как?! Тебе - пара! Что ж тогда я получу? Минус двойку?

- Иди, иди, ты получишь четверку.

Так оно и вышло. Русские фамилии получили четверки-пятерки, еврейские - двойки-тройки. Ну что было делать? Из протеста отказаться от спасительного балла? Тогда получились бы у меня две переэкзаменовки, что означало исключение из института. Впрочем, Галя пересдала на следующий день заведующему кафедрой.

А Нина Андреева преуспела, если не в физхимии, то в политике, и в годы перестройки даже возглавила партию сталинистов...

С тяжелым чувством накопленных неудач я встал в длиннющую очередь на поезда южного направления. Очередь

пересекала по диагонали кассовый зал, расположенный под башней, в бывшей Городской Думе на Невском. Я пытался развлечь себя, сосредоточившись на томике Дос Пассоса, но мысли разбегались, в голове мелькали какие-то смутные сцены.

Вот, например,- выгородка из того же зала, окна на Невский раскрыты, оттуда врываются сырой холод и шипенье троллейбусных шин по мокрому снегу. Но внутри - жарко, надышано, полно народу. Это явно эпизод из будущего: седоватый лысеющий мужчина "весь в заграничном", одолевая голосом уличный шум, читает стихи, и дата подтверждает - сегодня второе января 1989 года. Прилетев накануне "с того света" и встретив Новый год на Тавриге, я выступаю в Российском культурном фонде. "Впервые после десятилетнего отсутствия",- как объявил секретарь фонда. Да и вообще, считай, такое - впервые в жизни. В передних рядах раздраженные возгласы, в задних - большой одобряж, а в целом - сосредоточенное изумление: "Неужели это все взаправду?" Я читаю "русские терцины".

- Перестаньте издеваться, позорить Россию!

- Нет уж! Раз я решился высказать самое главное, так хоть сажайте, хоть сегодня же высылайте из страны... Здесь ведь не только личные мысли. Это - психоанализ моего русского "мы":

А, может быть, твердить еще больней,-
да, мы рабы, рабыни и рабенки,
достойные правителей, ей-ей...

А вот - воспоминание о прошлогоднем евпаторийском лете: мы с братом Вадимом спим на койках под деревом в абрикосовом саду. Я пробуждаюсь от резкого крика: на черепице соседнего дома сидит павлин, завесив хвостом чердачное окно и переливаясь золотом с зеленью по кобальтовой глазури. Вновь пронзительно крикнул и полетел, таща за собой ворох красавицыных глаз на хвосте...

Путешествия во времени вперемежку с невнимательным чтением были вдруг прерваны, когда моя очередь приблизилась к кассе.

- Вы не могли бы мне взять билет до Евпатории?

Чуть моложе и чуть выше меня. Вроде как абитуриент. Голос интеллигентный, хотя и сипловатый, и немного грассирующий. Можно и отказать,- вон сколько людей стоит позади, а вы, мол, без очереди... А можно и согласиться,- в кассе, действительно, дают по два билета, и случай мне предлагает попутчика.

- Хорошо. Давайте деньги.

- Вот вам без сдачи.

Это был Володя Швейгольц, ставший не только нескучным спутником для двухдневного путешествия, но и пляжным приятелем моих крымских каникул, затем перейдя в разряд питерских более-или-менее литературно-богемных знакомств. В компаниях его звали просто Швейк.

Еще в поезде начался наш книжный спор на извечные русские темы: Толстой или Достоевский? Пушкин или Лермонтов? Да русский ли только этот спор? А - Гёте или Шиллер? И вообще - классицизм или романтизм? Швейк мертво отстаивал идеи не столько даже Достоевского, сколько его героев: подростка-Долгорукова, Ивана Карамазова и, увы, роковым образом Родиона Раскольникова. Но спорщиком я уже был заядлым и то и дело дожимал аргументами юного ницшеанца.

Зато он обучил меня множеству практических вещей, годных на все сезоны. Например: позавтракай супом и до пяти часов не вспоминай о еде. Или на зиму: пока молод, носи с юмором боты "прощай, молодость", причем на размер больше: тепло и дешево, и в гостях, легко скинув их, не натопчешь. Этому совету я долго сопротивлялся, покуда он, посетив меня на Таврической, скорей всего нарочно не оставил свои боты, и однажды в злобно-морозный день я их все-таки надел да так и проходил в "ботах от Швейгольца" до конца зимы.

А на лето - в качестве пляжного костюма купи за 12 копеек детские трикотажные трусики, и на твоих взрослых чреслах они приобретут тугую элегантность!

Швейк обитал с матерью и сестрой на другом конце городка, пронизанного сетью малых, как швейные машинки, трамваев, но, видимо, с утра зарядившись питательным супом, приходил

напрямую по берегу на нашу часть пляжа, и мы целые дни проводили, как олимпийские боги. Ровный жар солнца сверху и снизу, отражаемый белым ракушечным песком, невесомая голубизна прозрачного мелководья, сочетания в одной перспективе самых крупных и самых дальних планов (я все еще увлекался фотографией), например, загорело-округлого плеча с белой полоской от вчерашней бретельки с нешуточной синью горизонта,- все это питало глаз не хуже, чем утренний кулеш.

У Швейгольца было несколько вытянутое, "эль-грековских" пропорций тело, и плавал он, как торпеда. Хотя и самоучка, он вызвался мне преподать, как плавать истинным кролем. Учился (и учил) он по брошюре Джонни Вейсмюллера "Мой американский стиль плавания". Кто такой Вейсмюллер? Да его весь мир знает - чемпион по плаванию, приглашенный Голливудом на роль Тарзана!

Неужели - Тарзан? Пловец, сложенный, как Аполлон, но вдвое крупней своего мраморного истукана! Я с воодушевлением стал следовать довольно странным заповедям героя нашего отрочества. Чем причудливей, тем верней они казались:

- Грудь работает в качестве киля.

- Ноги должны лишь поддерживать положение тела.

- Руки - это мотор. Но главное умение - не напрягать их, а расслаблять.

- Вдох достигается из подмышки.

И так далее, похоже на "дыр бул щыл убещур".

Но на сегодня хватит плавательных наук, идем лучше исследовать лиман. В Евпатории только и говорят о лимане, о его целебных грязях, недаром здесь столько костнотуберкулезных санаториев для детей. Когда маленькие калеки колонной по двое пересекают пляж в корсетах, с костылями и ходулями, песок еще более замедляет их шаг, и пережидать, пока они, ковыляя, освободят тебе путь, занятие нестерпимое.

Наконец они миновали, и мы идем вдоль побеленных стен из ракушечника, пыльных ветвей абрикосов, серой листвы диких маслин. Туда же направляется и нарядная юная дама; ступает и

держится, попросту сказать, грациозно. Она решается заговорить с нами:

- Простите, не эта ли дорога ведет на лиман?

- Надеемся... Мы сами туда путь держим.

Высокая брюнетка, а глаза синие. Пока идем, знакомимся:

- Володя Швейгольц, выпускник школы.

- Дима Бобышев, студент Техноложки.

- Оля Заботкина, балерина.

Потрясающе! И все трое - из одного города. Да, она бывала на подобных курортах, но здесь впервые. Эти скучные пыльные места, эти грязи - обычный профессиональный удел для многих балерин. Она живет у курзала в доме отдыха. Да, я могу зайти навестить ее, но она пока не знает, когда... Она так часто бывает занята. Завтра к тому же - двухдневная экскурсия в Ялту.

Что это - вежливый отказ или робкая форма приглашения? Неземное создание исчезает в дощатой кабинке для процедур. Плоский лиман с застойной илистой водой не представляет никакого зрелища. Но еще несколько лет мне было интересно следить за ее ярковатой, но, увы, кратковатой сценической и экранной карьерой.

А вот еще одно пляжное знакомство - солнечная девушка по имени, кажется, Света, из Москвы. Во всяком случае, по фамилии Савельева, это точно. Да, "Света Савельева" звучит так, что я сразу вспоминаю хрупкое изящество, которое мучило не только нас со Швейгольцем, но, кажется, и ее саму. "Не Саломея, нет, соломинка скорей" - подошло бы к ее облику в ту пору более всего, но этих стихов мы пока не знали. Легко и сухо пахло от ее волос, а чистота глаз менее всего казалась пустой. Возможно, взгляд ее наполняло удовольствие быть собой, скорее предчувствовать себя в восторженных аппетитах двух загорелых парней, но ответить им она была не готова. Швейк проводил ее с пляжа домой и назавтра был мрачней тучи: от ворот поворот. Попробовал я - с чуть большим успехом. Прощаясь, почувствовал и запомнил запах ее волос, вкус, лепет неясных обещаний, обменялся с ней адресами, помаялся и забыл.

А через несколько лет от нее посыпались письма, как продолжение того прощального лепета, многостранично исписанные красными чернилами. От красных букв пестрило в глазах, каждое слово кричало. Я был тогда в очередном личном кризисе, из глупой гордости разводясь с женой, наперекор своему (и ее) желанию. Московская корреспондентка настаивала на встрече.

Наконец приехала, остановясь в туристской гостинице. А мне ее некуда даже было пригласить. Посидели у нее. Тетка как тетка. Поплакала. Уехала.

Готовясь к отъезду из страны, я разбирал наслоившуюся корреспонденцию - что-то на выброс, что-то на хранение, а что-то и попытаться вывезти с собой. Вот пачка ее писем, надо бы их выбросить. Перед экзекуцией решил в них заглянуть, дать ей полепетать напоследок. Открываю одно письмо, другое, третье - и не верю глазам. Четвертое, пятое - все то же самое: бумага пуста, и ни человека, ни текста! Предваряя наваливающийся на меня мистический трепет, я успел ухватиться за объяснение: красные чернила непрочны.

Лето 1955 года склонялось к концу, и я не забыл об уговоре с Рейном навестить его в Мисхоре, где он должен был находиться в это время с матерью Мариной Александровной, преподававшей в Техноложке немецкий язык. Мисхор - это где-то за Ялтой, а в Ялту я уже ездил в прошлые крымские каникулы

с Вадиком и его отцом. Вспоминалась долгая автобусная поездка, жара, Никитский ботанический сад, где мы с Вадимом, загоняя в пальцы колючки, пополняли тайком кактусовую коллекцию дяди Тима, помнился и экзотический ночлег в гостинице.

- Ничего, краденые цветы лучше растут,- говорил в наше утешение добродушный дипломат, укладываясь на бильярдном столе, который был предоставлен нам за неимением лучшего места.

В общем, поездка в Ялту представлялась мне сложной, а Швейгольц был очень не против составить мне компанию, и я опять взял его в попутчики.

В изнуренную жарой Ялту мы приехали к вечеру, дальше автобусов до утра не было. На роскошь бильярдного стола мы не рассчитывали. Решили идти ночью пешком. Когда вышли на Царскую тропу, с горы упала тьма, но над морем взошла полная луна, зачернила кипарисы, засеребрилась, зафосфоресцировала на воде, словно десяток Куинджи. На запах остывающего асфальта накатывали валы хвойных ароматов, запахи сухой глины, сладкие выдохи медуницы и ночных табаков.

Сипловато, но музыкально мой попутчик нарушил тишь, вполголоса запев романс "Выхожу один я на дорогу...". Положим, не "один", а вдвоем, и путь совсем не "кремнистый", но звезда все же заговорила со звездой, в небесах было и в самом деле "торжественно и чудно", и Лермонтов состоялся. Затем, к моему удивлению, Швейк сымитировал голосом сложнейший квартет Бетховена, расчленяя его на партии, а к концу пути перешел на "фортепьянные" импровизации нашего изумительного джазового гения Цфасмана.

Мой приятель и спутник, одаренный не только музыкально, но, как утверждал он, и математически, все-таки кончил плохо: он стал убийцей. Да, убийцей, и об этом я расскажу позже.

Итак, мы еще затемно входили в Мисхор.

Женька-друг в одних трусах захлопотал у калитки, не пуская нас, однако, внутрь.

- Понимаешь, если б ты был один, а то вы вдвоем...

В глубине постройки послышались властные модуляции женского голоса, возня, и через минуту Рейн вышел к нам с двумя одеялами. Утро мы встретили, лежа на земле в парке, головами прислонясь к валуну. Кверху по склону горы в кипарисах прятались дачи, прямо перед нами садовник поливал огромную клумбу с цветочными часами в середине, внизу блестело море с торчащими из воды скалами.

- А где же Мисхор?

- Вот это он и есть. Тут бывают многие знаменитости. На днях, например, был Козловский. Подплыл саженками вон к тому камню, взобрался на него и спел: "Плыви, мой челн, по воле волн".

- Саженки... При чем же здесь челн?

- Ну что ты хочешь от тенора!

- Кстати, о саженках... Вот этот молодой человек обучает меня американскому стилю плавания по методу Джонни Вейсмюллера...

За день мы прошли и проехали по основным красотам и сногсшибательностям курортного Крыма: поднимались на Ласточкино Гнездо, откуда якобы прыгал в море Женькин геройский приятель Генка Штейнберг, постояли в Ливадии, словно цари, на мраморной галерее, прогулялись по запущенному парку, где наш путь пересек павлиний выводок, и заключили прогулку нестерпимым великолепием бухты и скал в Симеизе. Будущий убийца деликатно молчал, когда два поэта обсуждали свои литературные дела и планы, и оказался как нельзя кстати для фотографирования. Я привез с собой камеру и выстраивал сложные игровые композиции на скалах - например, "Дедал и Икар", а Швейгольцу оставалось только нажать на спуск. Я был готов взлететь, Рейн меня и благословлял, и предостерегал от падения.

Турнир поэтов

"Технически" Рейн был старше меня всего на три с половиной месяца, но его день рождения приходился на самый конец декабря предыдущего года, и это "старило" его на целый год - обстоятельство для юных компаний заметное.

Но не это было причиной того, что я, хотя и с оговорками, все же признавал его старшинство.

Сначала - оговорки: мы поступили в институт день в день, в одну и ту же группу, ходили на те же лекции, нервничали во время тех же экзаменов, знали не только слабинки один другого, но и неблаговидности, и это - нормально, из этого складываются отношения однокашников.

Делала его старше какая-то изначальная не-наивность, какой-то скрываемый, пережитый ранее опыт унижения, стыда или страха, экзистенциальный, как говорили тогда, опыт, не только отделивший его от остальных, "неопытных", но и позволивший ему их использовать даже с некоторым игровым азартом. Это, впрочем, касалось дел околобытовых, и тут уж он не позволял себе пожертвовать ни единым пустяком - ни ради дружбы, ни ради хороших отношений, ни просто так, ради чужого удовольствия.

Зато он был самозабвенно предан поэзии, и не только своей, но и моей, Наймана, Заболоцкого, Смелякова, Гитовича, Сельвинского, Лапина и Хацревина, Артюра Рембо и Тихона Чурилина. И он знал много о нашем предмете, любил это демонстрировать, а мне только того и надо было: то, что он сообщал о поэзии, укладывалось в багаж на всю жизнь - факты, тексты, оценки, порой вместе со вздором и выдумками, которыми Рейн вдохновенно заполнял свои неизбежные зияния и лакуны.

А самое главное: к нашему знакомству он в основном уже сложился как поэт. В самиздатский сборник "Анилин", составленный им к концу нашего студенчества, он включил стихи 53-го года, и они звучали тогда убедительно и свежо. Убедительно и даже победительно звучит и выглядит вся эта книжица даже сейчас. Если ей искать генеалогию, то она - из высокопородных, вся в спектре "От романтиков до сюрреалистов"

Бенедикта Лившица, плюс наши авангардисты-романтики 20-х годов. Но - ни одного "партийного" звука! Язык ее если не вспахан плугом, то весь перекопан штыковой лопатой - смыслы перевернуты:

У зеркал хорошая память,
там, за ртутью - злоба и корысть.
Патетический ужас губами
собирается в сыпкие горсти.
Вылом скул по гравюрам узкий,
киновари налет пожарный...

Казалось бы, что есть в мире беспамятней, чем зеркало? Но вдохновение перелопачивает очевидное и открывает подспудное: коры'сть (ударение ставится на колени перед рифмой), ужас и злоба делаются так же конкретны и материальны, как ртуть амальгамы. В книге множество грубо, смачно, кубистически раскрашенных метафор,- Рейн знает толк в новейшей живописи, и, как ни странно (в жизни ему медведь на ухо наступил), она джазово, свингово музыкальна. Она и патетична. Но дороже всего это:

Жизнь сквозь стих - светло и жестоко.

Это действительно бесценно: сказано так рано и подтверждено всей протяженностью возраста. "Поэзия и Правда" - так я назвал бы свою запоздалую рецензию.

Как раз когда писались эти стихи (и поэма "Лирическая вертикаль", и поэма "Рембо"), Рейн разузнал о готовящемся турнире поэтов в Политехническом институте. Он заторопил меня, и мы отнесли рукописи в отборочный комитет, который был представлен всего одним - и то хитроватым - лицом Евгения Лисовского. Кто он - поэт? Не слыхал о таком... "Специалист по стихам"? Рейн и тут все уже знал:

- Он для присмотра. А настоящий отбор будет делать Глеб Семенов.

В институте ко мне подбежал встревоженный Найман.

- Ты знал об отборе и ничего мне не сказал! Как ты мог?!

- Прости, так уж вышло... Ты еще успеваешь. Вот адрес...

17 ноября (кажется, так!) 1955 года состоялся наш общий дебют. Актовый зал Политехника - огромный, не хуже чем в Техноложке, был весь заполнен. Еще бы: 38 участников - это уже какая ни есть толпа, и каждый напригласал еще кого-нибудь послушать, не считая просто публики, которой позарез нужны стихи и поэты!

На сцене сидели соведущие Глеб Семенов и Леонид Хаустов, председательствовал тот же Лисовский. Я узнал, что это не турнир, а Смотр студенческой поэзии Ленинграда, будет два отделения, а в перерыве, возможно, вывесят стенгазету, над которой уже идет работа, и если некоторые из участников смотра увидят в ней шарж на себя, пусть воспринимают это без обиды и с чувством юмора. По рядам будут пущены опросные листы. Список участников в порядке их выступления...

Мы с Рейном выступаем в первом отделении, Найман - во втором. Кроме них, я не знал никого. Но и меня никто не знал! И что же? За вычетом случайных лиц и с добавлением вошедших в круг чуть позже это были все те, кто стал в течение следующих десятилетий новым поколением поэтов. Связанные общим возрастом и делом, в остальном все разительно отличались внешностями, темами, манерами чтения и письма. Соперничество обостряло отличия, что же тогда говорить о чувстве защитной иронии? Оно эту остроту затачивало до бритвенного лезвия.

В первую очередь запомнились те, кто был на годик-другой постарше, поопытней и выступал не впервые.

Вот Леонид Агеев, с косой русой прядью на тяжелом лбу. Шумно шмыгнул носом, и кто-то в зале даже слегка хохотнул, но он замодулировал голосом грубо-нежно о земляном, трудном и медленном, подводя слушателей к весомому и простому выводу крестьянской мудрости. Аплодисменты.

Владимир Британишский, с иконным лицом и в горняцкой тужурке с бляшками на плечах. Скрипуче, строго и бесстрашно отмерил порцию общественной честности. Рифмы - отточенные,

аплодисменты ему - осторожные.

Кудлатый Глеб Горбовский смирившимся Кудеяром то бормотал, то выкрикивал в зал стихо-клочья горько-забавной бедняцко-пропойной действительности. Бурные, долго не смолкающие...

Молодец, Глеб! И молодец Глеб Семенов, давший всему этому разнообразию зазвучать. Вот он глядит чуть ли не влюбленно на Агеева, на равных и с уважением на Британишского, с чуть отстраненным довольством на Горбовского, как на хорошо выполненное изделие, но это еще далеко не вся его "продукция". Геологи и геологини шли заметно в ногу, командным шагом: Гладкая, Городницкий, Кумпан, Кутырев, Тарутин.

После деревенских и демократических серьезов белобрысый Олег Тарутин позабавил всех полукапустником своих настояще-студенческих виршей - зачеты, влюбленности, юмор. Аплодисменты!

Странно, что филологи-универсанты представлены так слабо: какой-то самоуверенный Горшков, канувший потом в никуда, какой-то лихорадочный Сорокин, читавший надтреснуто "Отрывки из ненаписанной поэмы". Оказалось впоследствии, что и в самом деле он ее не писал. Плагиат! Эх, нет здесь Михи Красильникова...

Но вот выступает Рейн: "Рабочий дождь в понедельник!" Акустика в зале плохая, дикция у автора тоже известно какая. Кричит, бушуя:

Он бил цветы в яичных кадках,
он фортки взламывал, ревя...

Кажется, это он о самом себе, а не о дожде. Да так ведь и есть: поэт - только о себе... Но - для кого? -

...для железа и бетона
заброшенных в восторге рук.

В зале - нет, не восторг, и руки не особенно плещут. Скорей пробегает обмен удивлений: кто-то не принял, кто-то не понял. А в общем - недоумевая, но заметили!

Александр Кушнер, как объявлено,- будущий педагог. Голос высокий, рост низкий. Волосы темно и густо курчавятся вверх, и сам он, привстав на цыпочки, тянется кверху за голосом:

Поэтов любыми путями
сживали с недоброй земли,
за то, что с земными властями
ужиться они не могли.

Зал замер: вот оно! Встают из праха горестные тени Мандельштама и Павла Васильева, еще неисчислимо многих, замученных этой бесчеловечной властью... Нет, стихи, оказывается, не о Мандельштаме, а о Лермонтове, и власть, стало быть, не эта, советская, а та, царская, которую критиковать и можно, и похвально.

Но либеральное впечатление все-таки остается. Умен, и горя от этого ума ему не будет. Аплодисменты.

Но это - уже второе отделение, а я выступал в первом. "Дмитрий Бобышев, будущий технолог",- объявляет Лисовский. "Ну при чем тут технолог? - думаю я раздраженно.- Что я - курсовую работу сдаю?"

Я читаю белые стихи из двух частей, на городскую и деревенскую тему, соединенных рифмованной вставкой. Называется не очень хорошо: "Рождение песни", но так надо, потому что вставка и есть песня, а город и природа - это два начала, необходимые для ее рождения. Что-то вроде мужского и женского, если хотите, только не так буквально. Город описывается возбужденно-эйфорически, природа - горестно и элегически. Пока читаю, мельком вижу улыбку Глеба Семенова: мол, материал-то есть, но - сырой... Слушают хорошо, отдельные образы нравятся даже больше, чем целое.

Аплодисменты. Перерыв. Расспросы, приветствия, комплименты, укоры. Младший Штейнберг (который Шурка и

учится в Политехнике) показывает мне опросные листы, собранные у публики. Вот, оказывается, кто я: "убогий декадент", "интересный поэт", "футурист" и даже "певец космоса".

А на стенах фойе, соответственно, развешивается стенная газета (когда успели?): громадные шаржи, да еще и с эпиграммами. Кто это? Черная бровь, крупный глаз, нос. И подпись:

Рейн читал, забыв про негу,
хоть звучал немного в нос.
Он талантлив, как телега,
а работал, как насос.

А это - неужели я? Знаю, что выгляжу моложе возраста, но изобразили меня совсем уж младенцем. А строчки - строчки вроде мои:

Троллейбусы, как стадо мастодонтов,
идущее к Неве на водопой...

Мол, смешно и так, не надо и пародировать... Тут же дошел и положительный смысл этих насмешек: мы отмечены, ведь шаржей было намного меньше, чем участников.

"Будущий технолог" Найман выступил после перерыва, и не очень удачно: он взял для чтения что-то совсем новое, сбился в самом начале, остальное скомкал.

Внимание зала переключилось на литературный роман, разворачивающийся прямо на сцене. Крупная решительная девица, по имени Людмила Агрэ, поэтесса из Лесотехнической академии, выпалила в зал нечто совершенно сапфическое:

Хочется взять пальцами за подбородок,
заглянуть в опечаленные глаза,
такие пронзительно черные,
погладить волосы, как крыло вороново,

и, близко-близко наклонившись, сказать:
"Мальчик, не будем спорить с природой,
это не под силу ни тебе, ни мне..."

Зал ахнул от такой смелости. Побежали шепотки, говорки в ладошку, которые усилились, когда был объявлен Марк Вайнштейн, тоже из Лесотехнической... Вышел миниатюрный юноша, хорошенький, как на поздравительной открытке. "Это он, это он",- прошелестело по залу. Глаза его блестели, щеки ярко горели, волосы были черные-черные, как вороново крыло, голос едва слышен, а в стихах - ни слова о любви, но зато - о природе.

Я ехал домой в 32-м трамвае, со мной заговаривали какие-то девушки, спрашивали, кого им надо читать, но сознание было переполнено впечатлениями вечера, и в основном я осваивал факт состоявшегося события, перейденного рубежа и той жизненной дали, которая, как мне чудилось, открывалась за ним. И, в самом деле, начиналась новая эпоха, ставшая известной под названием Оттепели. Так назывался роман Эренбурга, в то время обсуждаемый, но которого я, впрочем, так и не прочитал. Для нас она началась не с доклада Хрущёва на XX съезде их партии, а вот с этого вечера и закончилась не падением партийного властелина, а значительно раньше, когда он танками подавил студенческое восстание в Будапеште. То есть продлилась эта либеральная эпоха всего один год.

1956 год

Перемены чувствовались и внутри, и снаружи. Мои неясные экстазы и предрекания необычного поприща получили, наконец, первое подтверждение.

Давящая твердь властей отошла на шаг, жизнь сама собой заводилась на огороженных прежде территориях, появились и выходцы из-за колючей проволоки, из мерзлой тундры партийно-советских, чекистски-кагебешных, называемых сталинскими, лагерей. Выходцы были битые, ученые этим битьем и вели себя крайне осторожно. Действовали они келейно, бумажно

отвоевывая себе реабилитацию, комнату в коммуналке и пенсию либо тихую, не ответственную должность. Литераторы - в литературе: Сергей Тхоржевский стал собирать какой-то молодежный альманах, куда я в очередной раз не попал, Сергей Спасский стал одним из редакторов в "Совписе" (о книге нечего и думать), а Зелика Штейнмана приставили смотреть за молодежью в литобъединении "Промки", куда мне было самое место захаживать.

Стихи выскакивали из-под пера, удивляя меня яркой забавностью своего появления. В городе помимо литературных кружков, куда я уже мог себя считать вхожим, оказались и симпатичные компании литераторов нашего возраста, да и мы трое сами образовывали такую компанию. Завязывались знакомства.

Вот появился ироничный атлет Илья Авербах - медик, театрал, пишет стихи. Привел Додика Шраера, тоже медика, тоже стихотворца, как бы повторяющего в разбавленном виде черты старшего друга.

Сергей Вольф читал свою джазовую сказку "Колыбельная Птичьего острова", заворожил всех свинговым ритмом фраз.

Вот позвонил Марк Вайнштейн, и мы с ним бродили, читая стихи и пересекая тропы моей первой прогулки с Найманом. Тихий голос Вайнштейна произносил тихо написанные строки и строфы, которые мне казались, увы, вялыми и описательными. Ну и что? А кому-то другому они понравились даже очень. Вот он снова звонит о встрече, предлагая сообщить нечто необыкновенное.

- Ну так скажите!

- Это - не по телефону...

С некоторым недоверием иду. И у него, оказывается, действительно сенсация - письмо от Пастернака! Как же получилось, что мастер и полубог ему пишет? Давно ли они знакомы?

- Да совсем незнакомы! Но лето я проводил под Москвой, где подружился с его сыном и попросил об услуге: взять стихи и в добрую минуту показать их отцу. И вот только теперь, в декабре,

эта минута нашлась.

- Потрясающе... А почерк-то, почерк!

Почерк торопливый, романтический: перекладины букв летят, отставая от мчащегося мысле-чувства. Читаю. Письмо большое. Тон доверительный, но и вызывающий, словно писалось оно не в добрую минуту, а скорее в задорную, и суть его вот в чем. К своим стихам Вайнштейн приложил записку с просьбой оценить его шансы на поступление в Литинститут, и Пастернак комплиментарно отговаривал его от этого шага. Комплименты были нешуточные, подпись под ними стояла подлинная, так что по идее само это письмо могло бы стать рекомендацией не то что в Литинститут имени Горького, а прямо на Парнас к богам и музам. Но Пастернак именно не рекомендовал ему этого, а, споря неожиданно с фразой Маяковского о поэтах хороших и разных, высказывался против массового производства поэтов. Он обосновывал это тем, что все множество стихотворцев занимается заведомо ложным делом, наподобие средневековых алхимиков, в то время как нужно-то нечто противоположное, подлинное и насущное. Какую именно "химию" он считал этим истинным делом, он не пояснял, но самого себя со всеми ранними книгами относил к такой "алхимии", от которой теперь с горечью отрекался.

И комплиментарная часть письма, и критическая вызывали свои недоумения, казались неразрешимыми. Какое-то звено контакта с гением отсутствовало, за его мыслью трудно было следовать. Письмо рождало догадки, его с пожиманием плеч обсуждали по компаниям, Рейн, например, все объяснял эксцентричностью мастера, но кого-то оно заставило и задуматься, в особенности когда только что возникший самиздат поместил эти идеи в контекст со "Стихами из романа", а позднее и с самим "Доктором Живаго". Стало по крайней мере ясней, что Пастернак противопоставлял произвол художественного творчества целенаправленности творчества религиозного. Но тогда мы до этих идей еще не созрели.

Между тем наступил 1956 год. Василию Константиновичу по старой памяти доставили из подсобного хозяйства его бывшего завода пахучую пушистую ель, все семейство село за овальный стол. Наступил момент, которого все ждали: Федосья принесла на стол, и без того уставленный яствами и разносолами, горячий пирог с рисом и фаршем. В нем запечен гривенник. Кому он

достанется в этом году? Мать режет пирог на куски по числу сидящих за столом.

- Выбирайте себе по одному, берите на счастье!

Откусывая с осторожностью, все сосредоточенно едят. Как-то мать умеет повернуть поднос, что удача попеременно достается детям. А мне она так нужна! О! Я чуть не сломал себе зуб... Разворачиваю вощаную бумажку, гривенник в этом году - мой!

Год и в самом деле выдался поначалу удачным.

Все чаще после (или даже вместо) лекций мы с Рейном отправляемся на какие-либо литературные затеи, которых в городе происходит все больше: выступления в Доме писателя в Шереметевском особняке на улице Войнова, обсуждения в ЛИТО, чтения стихов на дому... Или - просмотр заграничного фильма, какой-нибудь "Пепел и алмаз" со Збигневом Цибульским... Или - чей-нибудь день рождения - неважно, если не знаешь виновницу торжества, важно, что можно хорошо угоститься!

Вот мы всей компанией на новогоднем вечере в Академии художеств. Мы даже в расширенном составе - нас уверенно привел туда Сережа Вольф. Он длинный, пластичный, веселоциничный, с глазами, как у Джеймса Бонда, голова при этом трясется, как у старца, о зубах лучше не вспоминать, но девушки от него мрут. Он проводит нас помародерствовать в зал, где только что закончился банкет. Картина не для слабонервных. Но кого-то привлекают недопитые бутылки портвейна, кого-то - остатки торта в картонной коробке. Варварски, из горлаЂ, руками...

А теперь - танцы! Буги-вуги! Рок-н-ролл! Элвис Пресли! Ловкий Найман подхватывает одну из натурщиц.

One o'clock, two o'clock,
three o'clock rock!..

Он ее откидывает, швыряет, крутит, ловит. Шоколадные пятерни остаются на белом платье девушки.

Вот по Невскому, минуя дворец Энгельгардта, заплетающейся

походкой идет немолодой человек с портфелем, явно "на автопилоте". И даже слегка попукивает. Рейн, указывая на него, читает мне вслух:

Видели Саянова,
трезвого, не пьяного?
Трезвого, не пьяного?
Значит, не Саянова.

Я хохочу. Раззадоренный Рейн подходит к сановному пьянчуге.

- Виссарион Михайлович! Мы, молодые поэты, ценим ваши ранние книги: "Фартовые годы", "Олёкма"... Как вы писали! А теперь что?!

Саянов с любопытством косится на нас, но, следуя "автопилоту", сворачивает на канал Грибоедова по направлению к писательскому дому. Сталинский лауреат, член правления...

- Дайте пять рублей! - неожиданно требует Рейн.

- Ребята, да я не при деньгах. Вот, возьмите папирос сколько хотите...

Вообще-то я курю сигареты, но, раз предлагают, беру одну "казбечину". Рейн - целую горсть, хоть и не курит. Сует мне в карман, когда Саянов удаляется.

- Кури, куряка!

А это - в кружке Глеба Семенова: выступает Сергей Спасский. Поэт, сейчас редактор. Сидел, реабилитирован. Худое лицо, сложение - хрупкое. Седая челка под Пастернака. Он с ним и дружил, но воспоминания читает о Маяковском и Есенине почти по тексту книги, которую я одолжил по такому поводу у Казанджи. Но книга интересней его выступления, сухого и осторожного. Мы с Рейном похищаем Спасского у горняков, идем его провожать вдоль Невы, через мост лейтенанта Шмидта, расспрашиваем больше о Пастернаке, но и о Хлебникове, читаем свои стихи. Под звон трамваев, сворачивающих с площади Труда на бульвар, Рейн кричит в его ухо только что написанную поэму

"Рембо":

Программа девственниц с клеймом на ягодице -
"А. Р." - такое же, как под столбцами рифм...

Какой-то толстячок-провинциал в бурках и при портфеле наткнулся на нас, опешил: "Виноват!" Скрылся.

Есть медь и олово - из них получат бронзу.
Есть время и стихи - они не предадут.

Я читаю "Рождение песни", потом что-то новое. Спасский растроган. Мы напомнили ему молодость. Мы напомнили ему, что есть настоящая поэзия. Он приглашает нас к себе в "Совпис", а там посмотрим... Он надписывает мне книгу (не мне принадлежащую): "Евгению Рейну, в память о разговорах на необязательные темы. С. Спасский". Все перепутал! Как я отдам ее теперь владельцу?

Нет, это я шаржирую. Конечно, Спасский вписал "и Дмитрию Бобышеву", и я долго держал у себя эту небольшую книжицу, но, когда уезжал, пришлось ее вернуть. Я скучал без нее - там много живых эпизодов, подлинных реплик, верных описаний, ее хотелось перечитывать. И вот именно сейчас, когда я это пишу, она случайно бросилась мне в глаза на полке в здешней библиотеке. Разумеется, другой экземпляр, но тоже знаменательный: вместо автографа - штампы. Заприходована Всесоюзной библиотекой имени В. И. Ленина в 1940 году, в год ее выхода. Прошла проверку военной цензуры 1944 года, новую идеологическую инвентаризацию в 47-м году, а сколько книг тогда было казнено! Проштемпелевана в 50-м году, когда автор ее сидел в местах отдаленных, и в 56-м, когда состоялась наша встреча, и в 70-м, когда автора уже не было в живых, и в 78-м, за год до моего отъезда в Америку. И вот - я держу эту книгу в 2000 году в Иллинойсском университете. Как ты здесь оказалась, долгожительница? И - как я?

А тогда, возвращаясь в 56-й год, мы с Рейном ликовали, мы ждали, мы были у Спасского в кабинете над "Домом книги". Надо

ли добавлять, что дело кончилось ничем?

Вот - Глеб Семенов, который, конечно, Сергеевич, но мы зовем его за глаза по имени. Мы забрели на полуноваторскую, полународную выставку мексиканской графики в Доме писателя, и он - там. Нас интересует новаторство, его - народность. Вышли вместе на улицу проводить его к остановке. Он все же авторитет, разбирается в деле и к тому же старается как-то помочь тем, кого считает питомцами. Нас он явно выделил после того вечера в Политехнике, меня - даже определенней, чем более яркого Рейна. Называет футуристом, похваливает язык. Пока разговариваем, пропустили с десяток автобусов. Наконец Глеб предлагает, даже назначает мне выступление-обсуждение в Горном институте и уезжает.

И я читаю в Горном:

Раз навсегда плюнувши...

Геологи, "гвардейцы Глеб-Семеновского полка", как они себя называют, недоверчиво слушают:

Шатались мы, мудрые юноши...
...проклятое статус-кво.

Выступает Британишский, мой назначенный оппонент: "Протест Дмитрия Бобышева, несомненно, имеет социальное основание. Действительно, общественность разделилась у нас на тупую силу тех, кто желает удержать статус-кво, и "мудрых юношей", с этим статусом несогласных". Он проводит литературные параллели, называет имена, но его обрывают: здесь заведено правило (видимо, против говорунов и эрудитов) не ссылаться на мнения других, пусть даже великих, а говорить свое.

Выступает Рейн с апологией не общественности, но эстетства: "Я никогда не слышал голоса такой поэтической силы и свежести, как у Бобышева". Спасибо, Женя,- вернувшись домой, я запишу твои слова и запомню их на всю жизнь. Помни и ты их.

Корифеи смущены и хотели бы покритиковать, да что

мелочиться, если уж крупные категории заворочались: этика, эстетика, общественность.

Выступает сам Глеб, он от запрета на имена освобожден. Человечность нужна, человечность, и не как чувствую "я", а как чувствует "другой", вот чего всем нам не хватает. Некрасов это умел, Анненский это знал, и наш Агеев умеет и знает. Будет это в стихах - будет и в обществе.

Так он верил.

В обществе между тем происходила тихая революция. "Секретный" доклад Хрущева прорабатывался повсюду на закрытых собраниях: вход по партийному или комсомольскому билету, но только ленивый или не в меру осторожный на такое собрание мог не попасть. Содержание доклада слишком хорошо известно, чтобы его излагать, стоит лишь сказать о его сути, как она воспринималась тогда. Многими - как колоссальная провокация, и их заботой стало "не засветиться". Будущее показало, что они-то и были правы. Но для нас это звучало как косвенный (поскольку партийный), но все же призыв к жизни. Нам по двадцать лет или около того, и мы набиты будущим, оно распирает нас. Дайте нам превратить его в настоящее, не мешайте нам, это ведь - наши жизни!

Исчезли усатые портреты вождя. Но остались и даже размножились изображения основателя. Округлости черепа делали его еще более монументальным - мол, на века! Но, как жучки-древоточцы, изгрызали его монолитность непочтительные анекдотики, хиханьки, хаханьки исподтишка. Лозунг призывал вернуться к "ленинским нормам социалистической морали", а анекдотец ехидно цитировал: "Феликс Эдмундович, гасстгеляйте товагища!" Партийно-чекистский барбос ворочал на все это глазищами, большими, как плошки, даже как тарелки, поводил волосатым ухом, но пасть пока не раскрывал.

В наших глазах это была уже не оттепель, а весна, и мы ей простуженно радовались. Двадцатилетние гении выскакивали повсюду, как из-под земли.

15 марта в университетском кружке обсуждался Владимир Уфлянд, гриппозный и забавный. Каламбурные рифмы расцвечивали его карнавальную маску советского колобка, из-под которой лукавилась круглой выпечки ироническая улыбка.

Я вылеплен не из такого теста,
чтоб понимать мелодию без текста.

Комсомольские лидеры просто набросились на него: "В поэзии должна быть партийность, идейность, народность..." "И еще - классовость",- подсказал Илья Фоняков. Интеллектуалы Лившиц, Виноградов, Герасимов полезли в бутылку: "Есть у него и партийность, и идейность! Есть и классовость, и народность!" Изумление вызывала такая форма дискуссии. Кавычками ко всем этим понятиям торчали рыжеватые лохмы поэта.

Молодежных гениев появилось так много, что писательское начальство вынуждено было, хотя бы для учета, если не для эшелонирования, объявить Конференцию молодых литераторов Ленинграда и области. Открытие назначено на 14 апреля. Трехдневные заседания в Шереметевском доме на Войнова официально освобождали от работы или занятий. Авторы были распределены по семинарам к "мастерам" Н. Брауну, Н. Грудининой - в Белую гостиную, в Красную гостиную, в библиотеку. Я попал в семинар к А. Гитовичу и В. Шефнеру за компанию с университетскими взаимными антиподами - Лившицем и Фоняковым. Леша Лившиц тоже, оказывается, пишет... Интересно, как же? Да так же, как я когда-то, и тоже про комсомольскую поездку всем факультетом:

А на пятую ночь, на пятую,
вопреки паровозной возне,
поезд въехал в Ясиноватую
и задумал остаться в ней.

Мастера начали анализировать, обсуждать. "Вопреки паровозной возне" звучит очень уж по-пастернаковски, зато остальное - как у Дмитрия Кедрина. "Дмитрий Кедрин, Дмитрий Кедрин",- заговорили участники семинара. Зашедший поддержать своего протеже Миха Красильников заметил распевно:

- Кедрин - поэт ма-а-ленький, как мошонка у мышонка.

И вышел из Белой гостиной, спускаясь в буфет.

Карпаты

Гуцульский поселок ЯсиняЂ. Бурлящая Тиса, стремящаяся как можно скорее впасть в Дунай. Красно-бревенчатые терема турбазы, окруженные голубоватыми пихтами, травянистые склоны гор с хвойной полосой вверху. Выше - опять трава: полонины. Туда мы и намечаем свой путь назавтра.

Мы - это два ленинградских поэта, Евгений Рейн и я, приехавшие сюда по путевке, чтобы отправиться в поход по этой дикой части Европы, а с нами еще около дюжины разношерстной молодежки, наших попутчиков. Да кудреватый самоуверенный парень из Львовского педучилища. Спортивный разряд по туризму. Подрабатывает проводником.

Сегодня - день Ивана Купалы, гуцулы спускаются с полонин, собираются выше поселка у костров. Белые рубашки и блузки, темные свитки-безрукавки на мужчинах, узорные передники на женщинах. И это не смотр самодеятельности - так они нарядились для себя.

В это время на турбазе происходят возня и ажиотаж: проводник распределяет рюкзаки, палатки и одеяла. Пока я глазел на гуцулов, мое одеяло куда-то делось. Где мое одеяло?

- Ничего не знаю. Я его выдал под вашу ответственность. Придется вам заплатить двадцать рублей.

- Как же так? У меня украли, и я еще должен платить! Куда ж оно могло деться?

- Почем я знаю? Может, вы его успели продать...

- Ах, так? Где директор турбазы?

- Сегодня суббота, директора нет.

- Женя! - Я гляжу на моего громогласного друга в надежде на

его могучую поддержку, но он, как-то линяя на глазах, помалкивает, скромничает, сникает. Да-а... Отказаться от похода? Остаться до понедельника, чтобы разобраться с начальством? Жулик-проводник все равно уйдет с группой. Боюсь, что и мой друг - с ними. К тому же наши вещи и паспорта уже отправлены грузовиком в Мукачево, конечный пункт. Значит, надо идти.

И вот мы карабкаемся по каменистому ложу ручья, таща на себе поклажу, перешагиваем через поваленные стволы деревьев, ступаем по валунам, забираясь все выше и выше в горы. Скальными кручами вдали завиднелась Говерла. Но она - для альпинистов. Мы же, туристы, идем на отлогие полонины.

Вот мы их и достигли. По существу это плавные травянистые холмы, только на большой высоте, о которой дают знать виды и дали, виды и дали, а также головокружительные каменистые обрывы, у одного из которых мы устроили привал. Рейн сбросил рюкзак, остановился, не на шутку задыхаясь.

- Что с тобой?

- Астма...

- Надо же, как у Багрицкого! - восхитился я.

Проводник тем временем рассказывал об альпийских лугах, о горной растительности:

- Здесь растут эдельвейсы. По гуцульской легенде, если подаришь этот цветок девушке, она никогда тебя не разлюбит.

Но эдельвейсы растут на кручах. В поисках популярности проводник наш лезет туда и вскоре дарит нашим девушкам по цветку. Ни одна не отказывается. Вид у многозначительного цветка не очень казистый: серо-серебристые толстые лепестки с ворсом. Теперь я знаю, как он выглядит!

- Нельзя туда! Непрофессионалам запрещено! - кричит на меня проводник, но уже поздно.

Я карабкаюсь по каменистым уступам. А вот и эдельвейс! И еще один, и еще. Чуть дальше я вижу целый пучок серебристых звездочек. Можно дотянуться, но надо соблюдать правило альпинистов и всегда опираться на три точки. Я его нарушаю, и

сразу же следует наказание: камень вываливается из-под опорной ноги. Я повисаю, руками схватившись за дернистый выступ. Но дерн этот ползет! Две секунды жизни остаются мне для решения. Ногой я дотягиваюсь до какой-то ступени и отталкиваюсь руками от выступа, на секунду положившись лишь на одну-единственную опору - ступень. Она выдерживает, и я спасен. С эдельвейсами, торчащими из кармана штормовки, я выбираюсь на безопасное место. Теперь мы с Рейном всматриваемся в глубину кручи, из которой я вылез.

- Да, это была бы амба! - заключаем мы оба.

Весь день я находился в эйфории. Спускаясь и поднимаясь, мы шли по плавному травянистому хребту. Облака переваливались через него, то погружая нас в мокрую непроницаемую взвесь, то вдруг обнаруживая пронзительную бесконечность горизонта, светлую зелень полонин с белыми россыпями овечьих стад, темную зелень лесов и голубизну дальних гор. На подъемах я шел, подпрыгивая, впереди проводника, на спусках сбрасывал поклажу и, подпихивая надоевшую тяжесть ногами, катил ее вниз. Проводник не делал мне замечаний, но, когда другие стали следовать дурному примеру, отчитал их за порчу казенных рюкзаков.

Рейн в это время то задыхался, то бормотал что-то в прострации, а у костра на ночлеге вдруг прочитал мне следующее:

Укрываясь брезентовой полостью,
эдельвейс видел весь я, полностью.
Не мощами в ужасных гербариях -
размещаясь и вой перебарывая...
Вылез Бобышев, напугав.
Тихий, сам живой.
А в руках - табунок
замшевый.
Говорили, горло мамой прополаскивая:
- Ну там, что там, ничего там,
будь поласковее.
И пошли. Положи
стадо эдельвейсово.
Горы, травы. Сны большие.
Дальше - весело.

Нигде позже он не публиковал этих стихов, и я их цитирую так, как запомнил. Только пропустил самое главное: описание кручи и строение цветка. А дальше действительно было весело: с полонин мы стали спускаться на уровень лесов и наконец вышли к очаровательному озеру Синевир, где был объявлен не только ночлег, но и днёвка. Весь следующий день мы купались до одури; к нам прибились в компанию две простушки-москвички и бакинский житель Гуревич, намекавший со сложным акцентом, что и он не чужд литературе.

- Что там в столицах делается? - допытывался он.

Что делается? Новые имена появляются. Леонид Мартынов, например. Явный хлебниковец. "Вода благоволила литься" - разве вода эта не из Велимирова колодца? Ну, положим, Мартынов - это не совсем новое имя: надо знать "Лукоморье", вышедшее еще до его посадки. А вот Борис Слуцкий - кто о нем раньше слыхал? Хотя и не молод: фронтовик. Совсем недавно (неужели вы не читали?) Илья Эренбург написал о нем в "Литературке" хвалебную статью, представил его читателям, там же была помещена подборка. И, что самое удивительное,- стихи его действительно сильные!

- Политрук и есть политрук,- вдруг возразил Рейн.- Давайте-ка лучше сами письмо Эренбургу напишем.

"Синевирцы" стали сочинять послание (в стихах) московскому султану. Я начал подбрасывать рифмы: "Синевир - усынови", "лязгая - дрязгами"...

- Не по делу,- отклонил их Рейн.

- "Лузгая - Слуцкого".

- Это годится.

Гуревич следил с открытым ртом за нарождением шедевра.

...И мы просим Илью Григорьевича
написать про них и про Гуревича.
Лучше случка с овечьим пузиком,

чем соития тусклого Слуцкого,
перепуганного
эренбурканьем.

Гуревич тихо лопнул и с тех пор в жизни не попадался.

Поход закончился в Мукачеве, где при этом всплыло паршивое "одеяльное дело".

- С вас причитается еще двадцать рублей за пропажу одеяла.

- Да я... Да вы знаете... Это ж абсурд!

- Платите, иначе паспорт не получите.

Денег катастрофически не было. Занять у Рейна? А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб? Оставались Бобышевы, которые в то лето все отправились на родину Василия Константиновича в город Дмитриев Курской области. На последние копейки послал телеграмму: "ПРОПАЛО ОДЕЯЛО ТЕЛЕГРАФЬТЕ ТРИДЦАТЬ". Потом меня мать корила за слово "телеграфьте" - разве так пишут? Да, именно так требует этот изысканный жанр! В ожидании перевода мы по корешкам путевок ночевали на турбазе. Съездили на экскурсию в Ужгород, побывали в крепости и в музее, где Рейн сфотографировал меня в доспехах. Целыми днями шлялись по городку, от которого в памяти остались лишь вывески: "Перукарня", "Идальня", "Взуття", словно все жители только и делали, что брились, ели и обувались. Впрочем, "идальни" оказались дешевыми и вкусными: можно было заказать суп и умять с ним буханку свежего хлеба. А потом - пойти бродить с раскрытыми ножами по базару и "пробовать" у торговок, отрезая у одной полгруши, у другой - кус арбуза...

Получив перевод, я выкупил паспорт, и мы решили съездить автобусом до Львова с остановками, где заблагорассудится, а оттуда поездом - домой через Москву. На прощанье с уже надоевшим Мукачевым Рейн учудил, рисуясь передо мной, выходку: украл две свечи под носом у продавца в москательной лавке, символически "отплатив" этой местности за мое одеяло. Я был в восхищении и ужасе от его дерзости. Но, может быть, мне не примстились однажды выдохнутые им три слова: "Я был вор"?

Чтобы не отставать от приятеля, и я схватил с прилавка две стеариновых свечки.

Через час автобус нас уносил, петляя, от скальных россыпей к долинным дубравам, и, увидев несколько изб между отягощенных плодами деревьев, зеленоструйный поток и дорожную стрелку "Свалява 8 км", мы попросили нас высадить.

Дружелюбный и гостеприимный Венц Которба принял нас в первой же избе, отведя для гостей горницу с двумя перинными кроватями по углам. Между ними стоял длинный дощатый стол для трапезы и письма. Пахло сухим деревом и яблоками. Венс, чешский парень, рассказал свою историю: он влюбился в мадьярскую девчонку, живущую здесь, и из своей деревни, пересекая не одну границу, ходил к ней на свиданки, да еще во время войны. Чего только не было! Осели все-таки здесь. Настрогали детишек, которые в это время ползали по двору кверху грязными попами. В общем, живите, гости дорогие, с дороги угостим вас кукурузой, а дальше что Бог вам пошлет!

Питаясь ежевикой и сливами, мы прожили там дней пять: бродили, дивясь, по буковым гладкоствольным рощам, спускались к ручью и отмякали от горных напрягов и восхождений. Вечером зажигали ворованные свечи, и каждый что-то писал. Рейн - о тумане, который по сути был облаком, а я - о буках, помня дедово уважение к их древесине. Наконец сорвались в путь дальше. Миляга Венц не взял с гостей ничего, и мы вышли ждать попутку у того же дорожного знака. Позднее у меня сложилось об этом:

Камнем по камню
Около укатанного шоссе
двигались медлительные часы.
Мы медленно сидели в ожидании попутных машин.
Помнили твердо правило:
"Встань у дороги и рукою маши".
Мой однокашник Рейн Женя
ворочался на груде камней,
наблюдая за редким на дороге движением.
Камни скатывались ко мне.
Мы ели мало и мучались голодом.
Я думал об этом и двигал ногами.
Куски песчаника были очень ровно колоты,

плоские, гладкие. Замечательные камни.
Я схватил слегка шероховатую плоскость
(тут же валялись куски кирпича и известки),
и сразу сделал просто и броско
на сером камне - красным и белым - рисунок.
Он назывался "Двое в буковой роще".
И темы пошли на меня, громоздясь и наваливаясь,
сами материалы (кирпич, известка, песчаник)
направляли мой росчерк.
Рейн, быстро посмотрев, признал мою гениальность.
Я, оживившись, изобразил себя и его
и пошел выражать все понятия, явления, звуки, мотивы.
Меня закружило пещерное божество.
Мои великолепные примитивы,
расставленные так хорошо вдоль межи, уже не
камни, а суть вещества. Я вибрировал. Я вращался.
Но Рейн потащил к поджидавшей
остановленной им машине.
И я попрощался с ними. Я попрощался!

Московские знаменитости

Машина, остановленная Рейном, оказалась грузовиком-лесовозом, и водитель, у которого уже кто-то сидел в кабине, любезно предложил нам ехать на бревнах, правда, за бесплатно. Несколько часов мы то ползли в гору, то летели под уклон безостановочно, трясясь на каких-то смолистых комлях, за нуждой отползая к гибким (и гибельно виляющим) вершинным спилам, пока, наконец, не въехали во Львов.

Прелестный город, старомодно элегантный, составлял контраст мятой пропыленности наших одежд. Но и в провинциальном виде и статусе он сохранял столичное достоинство - это было нам, питерцам, по душе. Памятник Мицкевичу - поэту, а не какому-нибудь генерал-губернатору! Стрыйский парк! Но пора на вокзал.

В Москве жили все литературные знаменитости - и официальные, и те, что "по гамбургскому счету", последние нас и интересовали. Рейн поселился у своих родичей, я - у своих, но не у Ивановых на Кутузовском, а у Зубковских на "Соколе" в

"генеральском" доме,- братец Сергей недавно женился и съехал оттуда; мне освободилась его кушетка. Я ночевал либо там, либо в Баковке, где семейства обеих сестер - Лиды и Тали - снимали дачу.

В один теплый дождливый день я, накинув полковничью плащ-палатку дяди Лени прямо на футболку и трусы, отправился разведать дорогу в Переделкино и пошел себе мимо баковских дач, полем и сквозь лесок, по мосткам через какую-то запруженную заводь, опять мимо уже переделкинских дач, и вдруг оказался у ворот к Дому творчества.

Я пожалел, что оделся так по-простому, по-дачно-спортивному, но решил узнать, там ли Владимир Луговской, к которому мы с Рейном планировали на днях съездить. Подойдя к дверям, я как раз и столкнулся с ним. Он возвращался с высокой дамой, обликом напоминавшей красавиц, когда-то позировавших Дейнеке и Самохвалову.

Пришлось представиться как есть. Дама нас оставила вдвоем, и мастер, которым я так восхищался, разглядывал меня с недоумением. Объясняя свой, конечно же, неприличный для визита вид, я сам разглядывал прославленного поэта: высокий рост, тот же узнаваемый из тысяч мужественно-исступленный профиль, черные густые брови, волосы, теперь уже совсем седые, откинутые назад,- знакомый по портретам облик. Но и какая-то едва уловимая дряблая дряхлость проглядывала в подбородке, в безволосой лодыжке ноги... А голос - роскошный, даже несколько показной.

Я рассказал ему, как до морозных мурашек по коже любил его поэзию - не только знаменитую "Балладу о ветре" или "Мужество и нетерпенье вечно мучили меня" - образы, кстати, объяснившие мне собственные отношения с подругами, но и любовные, нежные и даже трогательные стихи...

- Какие же именно?

- Ну, например: "Стоит голубая погода, такая погода стоит, что хочется плакать об августе и слышать шаги твои..." Или: "Девочке медведя подарили..."

- А-а...

- И все-таки наиболее сильными мне кажутся поэмы из сборника "Жизнь", образующие новую линию. Так сказать, линию "Жизни"...

Мастер был этим замечанием очень доволен и сказал, что он как раз заканчивает книгу новых поэм, продолжающих эту "линию жизни", если хотите. Название сборника, впрочем,- "Середина века". А сейчас он просит меня прочитать что-нибудь свое. И я стал читать. Когда я кончил, он сказал:

- Ну что ж. "На срезе тяжелого холма" - это хорошо. "Жизнь есть способ передвижения белковых тел" - это выражено смело. Может быть, даже нагло. А "лучики ромашек" - это, извините,- "лучек и рюмашек". Но вы пришлите мне тексты, эти и новые, и я, возможно, вас поддержу.

Странный пустяк: я не взял его почтового адреса. Некуда было записать, да и казалось, что всегда успею. Но, созвонившись с Рейном, я назавтра привел его к Луговскому. Глубоким низким голосом мастер читал нам поэму из "Середины жизни" (так у меня сейчас объединились оба названия) о бомбардировке Лондона. Образы были видимыми и резкими, но напоминали они не реальность и не поэзию, а кино, снятое оператором Урусевским. Впоследствии Рейн, переставив юпитеры и притушив освещение, усвоил эту манеру для своих ностальгических баллад о былом.

Год спустя, когда Рейн был на Камчатке, пришла весть, что Луговской вдруг умер в Крыму. Я написал другу открытку, добавив придуманных кинематографических красок к скупому сообщению: поэт умер внезапно, идя купаться в море и упав лицом в куст цветущих опунций. Неправда стала поэзией. Рейн написал в "Японском море":

Всякие смерти, и дивная смерть Луговского...

"Дивная" - только от цветущих опунций и колючек, вонзившихся в мертвое лицо поэта.

А когда мы вышли в тот августовский визит от живого Луговского, стоял белый день и Рейн предложил навестить еще одну поэтическую легенду - Илью Сельвинского, который, по его сведениям, жил там на даче. Сказано - сделано. Нас пустили в дом, и крупная, энергичная женщина ("Абрабарчук, его муза",- шепотом пояснил мне Рейн) вела переговоры с верхним этажом

дачи, принять нас или нет. Сверху распорядились принять, и мы поднялись в заваленную журналами и книгами, завешанную картинами гостиную, где на диване возлежал хворающий простудой мастер.

- Илья Львович! Мы ленинградские студенты...- стало само собой произноситься затверженное приветствие.

Он выглядел грузным, набрякшим, но говорил живо. Еще более оживился, когда Рейн рассказал, что собирает его книги,- "Пушторг" был не последним приобретением. Что он пишет? Больше редактирует старое, не забывает о театре. Пожаловался на критику - та его замалчивает, он чувствует себя виолончелистом без канифоли: играет, а в зале не слышно. Театры тоже не ценят его как драматурга, не хотят ставить трагедию "Орла на плече носящий" - героическое им сейчас не подходит. О нашей любимой "Улялаевщине" не говорили - уж очень он ее испортил в поздних редакциях. Зато - об "Охоте на тигра"! И о "Севастополе" - какой там есть могучий образ-рефрен: "Домашний ворон с синими глазами". Такое - именно надо придумать!

Расспрашивали о других мастерах. О Пастернаке он выразился как-то для нас непонятно:

- Конечно, талант, и еще какой! Но он же, как леший,- сидит у себя и ухает из колодца. Этот его роман... Знаете, есть такой червь, который с собой совокупляется...

Размашистая, в синих тонах живопись по стенам и на камине - это его дочь-художница, она училась во Франции. Виды Парижа, театральные фантазии... Ее муж отвезет нас на машине в Москву - электрички сейчас ходят редко. Но сначала нас нужно как следует накормить.

Мы спускаемся вниз, муза поэта готовит раблезианскую глазунью, а затем его зять отвозит нас уже в темноте в Москву.

Крупный поэт, вертевший словами, как силач гирями, истинный соперник Маяковского! Может быть, именно за это его "зашикала" критика? Партийные стервецы! Но и братья-писатели друг на друга ножи точат... Его суждения о Пастернаке тоже скорее всего издержки поэтической ревности или неизвестных нам дрязг. И все-таки он знал, что молодые поэты должны быть непременно голодными: яичница у Сельвинского была

грандиозна. Настолько, что мы оба запомнили ее на всю жизнь, только Рейн, к моему изумлению, перенес ее в воспоминаниях на кухню к Пастернаку, где мы, увы, никогда не были и нас не угощали!

А повидаться с Поэтом хотелось, как и с Прозаиком с большой буквы Юрием Олешей, тем более что они оба жили в Лаврушинском переулке на одной лестнице писательского дома.

Лифтерша, в точности такая, как на Таврической, остановила нас своей малой, но ухватистой властью:

- Вам к кому?

- К Юрию Карловичу.

- Нету.

- К Борису Леонидовичу.

- Нету. Отдыхают в Крыму.

Бредем в сторону Третьяковки. Как же так? С утра - и никого нет. Ну, конечно, лето. Но странно, что Пастернака, у которого весной был инфаркт, повезли летом на юг. Может быть, в какой-нибудь специальный санаторий? В сомнениях возвращаемся. Лифтерши нет. Едем сначала на самый верх - к Олеше.

Открывает изящная пожилая женщина в ярком халате с чертами мелкими, но точно набросанными на ее лице колонковой кистью Конашевича - Суок! Пропускает нас в кабинет.

- Студенты из Ленинграда. Как вы сами назначили.

Сам он стоит посреди пыльных рукописей и наслоений журналов - в брюках с подтяжками прямо на нижнюю рубашку: рост небольшой, взгляд колкий, брюшко косит вправо, к печени.

Вчера мы познакомились с ним в "Национале", куда я входил не без робости - место было шикарным, но обстановка в зале оказалась нисколько не натянутой. Мастер был весел и нас вычислил сразу:

- От вас приезжал этот, как его, Вольф.

- А, Сережа! Ну, как он вам понравился?

- Талантлив. Великолепно девок описывает! Как у него там? "Во время танца она профессионально, спиной, выключила свет".

- Мы хотели бы почитать вам стихи.

- Я стихов давно не пишу да и не читаю. Впрочем, приходите завтра ко мне, поговорим.

- В какое время?

- В восемь утра!

В восемь утра? Что это - чудачество или шутка подгулявшего автора "Трех толстяков"? Мы специально тянули до девяти, а потом еще эта лифтерша...

- Ничего не знаю, мне уже нужно собираться ехать в другое место.

Сами виноваты. Мы побрели по ступенькам вниз. Проходя мимо квартиры Пастернака, я остановился. Рейн уже спустился на два марша. Почему бы не попытаться? Я позвонил.

Дверь открыл человек в голубом пиджаке (наверное, в том, что его близкие называли "аргентинским"), в белой рубашке с повязанным галстуком и седой челкой на лбу. Сам! Свежее, почти молодое лицо. Яркие карие глаза излучают энергию и радушие.

- Борис Леонидович! Мы студенты из Ленинграда. Были в Карпатах, остановились проездом в Москве, чтобы повидать вас.

Рейн единым духом взлетел на два марша вверх - и вот уже стоит рядом. Представляю его и себя.

- Конечно, конечно. Пожалуйста, заходите.

Коридор, и сразу направо узкая комната: книжные полки, кушетка.

- Есть ли тут стулья? Сейчас я вам принесу.

Побежал в глубь квартиры, ступая неравномерно.

А какие у него здесь книги? Вот стоит Сельвинский, и как раз "Улялаевщина". И - с его пометками. Смотри, Женя! И я, как будто показывая ему фокус, засовываю книгу за пазуху.

- Ты что, с ума сошел? Поставь на место немедленно!

- Да я же шучу!

В узком коридоре загрохотали стулья. Внес их, расставил, рассадил нас. Чем он может нам служить?

Читать ему свои стихи было нелепо, как если бы утомлять мадонну фотографиями чужих младенцев. Все собственные находки заранее казались вялыми, вымученными по сравнению с его: "Ужасный! Капнет и вслушается...", не говоря об искрометном множестве других. Рейн полюбопытствовал, может ли он увидеть "Близнеца в тучах", первый сборник стихов Пастернака.

- К счастью, он весь пропал, до единого экземпляра,- загадочно ответил автор.

Рейн спросил, что он пишет теперь, добавив, что часть его новых стихов стала доходить, циркулируя какими-то своими путями. Да, подтвердил я, "Свеча", "Рождественская звезда", "Гамлет" передаются от друзей к друзьям, напечатанные на папиросной бумаге.

- Хорошо,- сказал он.- У меня есть какое-то время поговорить с вами. Правда, ко мне уже пришли двое журналистов, но они подождут. Дело, однако, в том, что в течение этого получаса должен прийти парикмахер, и он-то уж ждать не будет. Тогда мне придется с вами расстаться.

- А можем ли мы оставаться с вами, пока он будет вас стричь? - спросил Рейн.

- Что вы, я ведь не Анатоль Франс.

И Пастернак заговорил, поворачиваясь жарким коричневым глазом то ко мне, то к моему другу. В эти моменты на его свежем белке становился виден красный узелок лопнувшего сосуда, напоминая о недавнем инфаркте. Он говорил о своих ранних

образах и книгах, как о прискорбной ошибке, о которой он теперь сожалеет. То было ложное занятие, наподобие алхимии, которому он был привержен издавна и по-пустому.

Сразу же вспомнилось: те же мысли он высказывал в письме черноглазому Марку! Но если захватывающая душу искренность "Сестры моей - жизни" - ложна, то что же тогда подлинно?

Он сказал, что недавно закончил роман, где, может быть, я найду ответ на мои вопросы. Но будет ли книга напечатана, зависит от общей обстановки в стране. Сейчас она неплохая, и если это продлится, в чем есть сильные сомнения, тогда и можно будет поговорить о предмете. О чем написан этот роман? Пожалуй, обо всем, что пережило его поколение: о революции, о гражданской войне и даже о второй мировой.

И о лагерях? Нет, не только. Можно сказать: вовсе нет, хотя есть некоторые касательства этой темы...

Рейн, покосившись на меня, задал вопрос, который показался мне неуместным:

- Борис Леонидович, как быть еврею русским поэтом?

"Да вот же он перед тобой",- напрашивался мой безмолвный ответ, но сам вопрошаемый отнесся к нему всерьез:

- Я понимаю вас и вижу этот путь лишь в полной ассимиляции.

Раздался звонок в дверь. Это, видимо, пришел парикмахер, и мы распрощались. С Пастернаком мы провели в общей сложности около сорока минут.

Газета "Культура"

Противоречивая хрущевская "оттепель", разыгравшаяся особенно в теплые месяцы 56-го года, была двусмысленной во всем, начиная с фигуры самого "освободителя". Действительно, одних он освобождал, закабаляя при этом других, а еще третьих, как, например, нас, молодежь того времени, провоцировал и обманывал.

Коротконогий лысый толстяк с вульгарной речью и

манерами, он обликом казался подобием Санчо Пансы, особенно усилив это сходство, когда выбрал себе партнером дряхлого и козлобородого Булганина, только тем и похожего на Дон Кихота. Вдвоем они были в тот год летом в Питере, отметив странно некруглый 153-й юбилей основания города и прокатившись по его проспектам в открытой машине. Толпы были нагнаны, чтобы их приветствовать, еще большие толпы явились поглазеть сами. Я увидел катающихся правителей на Петроградской, оказавшись на углу у особняка Кшесинской притертым боками к двум местным оторвочкам. Бойко стрельнув по сторонам глазами, одна из них объявила подружке:

- Ой, какой он противный! Я бы с ним не легла.

- И я. А с Булганиным легла бы.

Не желая сближаться ни с кем из окружающих, я выбрался из толпы.

Похоже, что, выпустив сотни тысяч (думаю, все же не миллионы) из лагерей и наполовину (на четверть, нет, на чуть-чуть) развязав языки прессе, он выжидал, наблюдая за обстановкой: чья теперь возьмет? Либералы, сами тому не веря, туманно намекали на пришествие свободы. Консерваторы, перестроившись, рявкали здравицу "дорогому Никите Сергеевичу", но мертво стояли на своем. Остальные пребывали в состоянии конфуза и недоумения.

Выдвинулись в литературе те, кто наработал задел, дождался и выстрелил им вовремя, именно в эту пору, обогнав цензуру на повороте. Разрешенными только для них смелостями поражали Евтушенко и Вознесенский, один - политическими, другой - авангардистскими, но и они, когда надо, клялись революцией, Лениным и Советами.

А те, кому не разрешалось, пустились вольнодумствовать на собственный риск и при самодельной страховке. Вдруг открыли выставку Пикассо в Эрмитаже, но запретили обсуждать, а тех, кто все-таки собрался на дискуссию, трепали и даже исключали из институтов. В киосках появились невиданно пестрые обложки - журнал "Польша" начинял их дерзостями в двойном пересказе с французского: "Нет искусства без деформации!" - поляки, по тогдашнему анекдоту, были самым веселым бараком в социалистическом лагере. Носить их журнал в руках было

вывеской бескомпромиссного инакомыслия.

С полускандалом прошло несанкционированное эстрадное представление "Весна в ЛЭТИ", половина участников которого потом стали профессионалами в развлекательной индустрии. "ЛЭТИ" напомнило мне о былых амбициях: и я бы там, наверное, участвовал... Однако и в Техноложке затевалось нечто - шла самая настоящая предвыборная кампания в комсомоле. Выдвигались (а не назначались) кандидаты, происходили потешные дебаты, в которых зарабатывалась подлинная популярность. Так, быстрый разумом Боб Зеликсон прославился математической шуткой, простой и совершенной, как "Курочка Ряба":

- Почему пятью пять - двадцать пять, шестью шесть - тридцать шесть, в то время как семью семь - уже сорок девять?

- Знатоки особенно смаковали в ней словосочетание "в то время как"... Наша медия, устная и самодеятельная, призывала к избирательной активности. В одной из демократических агиток я принял участие.

"Выберем достойных" - под таким, конечно же, ироническим заголовком шла наша одноактная пьеса, которая по ходу репетиций сочинялась самими актерами. Тот же Боб, один из главных кандидатов, был тут как тут. В ореоле светло-рыжих кудрей, с непрерывно смеющимся, как маска комедии, лицом, он играл немного юродствующего, чуть философствующего Арлекина нашего действа, по существу, самого себя.

Мне досталась роль Пьеро, только фамилию для персонажа я придумал по рецепту Юрия Олеши - "высокопарную и дурновкусную": Аметистов; так я в этой роли пародировал неадекватность происходящему, тоже, наверное, свою.

Ценитель и гурман пародийного языка Миша Эфрос, один из идеологов клуба "под часами", совсем не на шутку ушедший потом в науку, был нашим режиссером, и он попустительствовал моему Аметистову, кидавшему в зал цитаты из Экклезиаста или так же невпопад декламировавшему со сцены свидетельства другого, современного пророка - Ти Эс Элиота, в переводе Мих. Зенкевича:

Так вот как кончается мир,
так вот как кончается мир,
так вот как кончается мир,
только не взрывом, а взвизгом!

Мир, однако, не кончился, комсомольским секретарем избрали Зеликсона, и вскоре он собрал в старой институтской гостиной с белой изразцовой печью всю, какая только наличествовала, элиту из-под часов. Посмеиваясь и балагуря, балаганя и пошучивая, он изложил грандиозный план: издать стенгазету. Но не такую, чтобы ее засиживали мухи, а, если хотите, даже скорее стенной журнал под названием "Культура". И - чтоб во всю стену! И - чтоб только свои мнения, а не предписанные сверху. И - чтоб было не хуже, чем в "Литературке"! Таланты есть. Главный редактор - Леонид Хануков, ему слово.

Ничего о нем прежде не слышали; он взял слово, чтобы сипло передать его обратно. Так почему же именно он - главный? Ясно. Либо - "зитц-председатель Фунт", как у Ильфа и Петрова, либо, наоборот, приставлен для надзора. Он застенчив, Виталий Шамарин будет чем-то вроде его заместителя.

Опять рассуждает Зеликсон. Отдел публицистики будет вести Веня Волынский, передовая статья уже в работе. Отдел литературы - Дима, ты не против взять его на себя? Я - не против, если другие литераторы не претендуют. Рейн? Будет писать о живописи. Найман? О кинематографе. Значит, литературный отдел мой. Тут же заказываю статью Генриху Кирилину - он любит Хемингуэя да и похож на него, только без бороды, пусть о нем и пишет. И - начинаю сам обдумывать эссе о современной поэзии, а точнее, об Уфлянде: писать о нем будет по крайней мере забавно. Музыка - конечно, Михельсон, и, конечно, о Шостаковиче. Театр - сразу несколько девушек, среди них - Галя Рубинштейн. Балет... Природа... Юмор - этот отдел, разумеется, за самим Зеликсоном. Ну, навалились!

Через несколько дней газета висела на огромном щите, и площадка парадной лестницы была заполнена народом так, что было трудно пройти в деканатский коридор. И - трудно было ее не заметить! Вадим Городысский, сын одного из наших преподавателей и художник-любитель, хорошо поработал над заголовками и коллажами: в ход пошли вырезки из журнала

"Польша" - "Нет искусства без деформации"!

Веня Волынский написал роскошную проблемную статью "В порядке обсуждения" - о восприятии культуры в условиях общественных перемен. Ее уверенный, несколько вальяжно-журналистский стиль был действительно не хуже, чем в "Литературке", в ней изобиловали либеральные намеки и, что было заметней всего, совершенно отсутствовали идеологические цитаты и ссылки. Толпа выхватывала оттуда лозунги, ахала или оспаривала их: "Надо самим разобраться в искусстве"; "Не бойся, если твое мнение пойдет вразрез с чьим-то авторитетом"; "Иди своим путем, без груза предубеждений". Даже такие очевидности казались тогда острой и пряной крамолой.

Рейн написал апологетическую заметку о живописи Поля Сезанна, и уже это воспринималось как дерзость: "ценности соцреализма" охранялись почему-то не менее ревностно, чем идеологические догматы. Разумеется, в заметке провозглашались иные принципы. Но - вот незадача! Имя художника было правильным лишь в заголовке, который написал Городысский, а в тексте машинистка напечатала всюду "Сюзанн", так что в родительном падеже и вовсе выходила какая-то сомнительная "Сюзанна" - не то служанка, не то содержанка великого постимпрессиониста... Раздосадованный насмешками Рейн сорвал свою статью и ушел куда-то править ошибки.

В разделе "Кино" - "Чайки умирают в гавани", рецензия Наймана на бельгийский фильм под таким названием, снятый в авангардной манере. Либеральным чудом казалось появление этой картины в прокате среди индийских мелодрам и китайских назидательных агиток. Необычен был сам киноязык: крупные планы, стремительный монтаж, стоп-кадры. Найман писал:

"В фильме много действия, но мало слов. Поэтому к словам надо прислушиваться особенно внимательно. А зритель привык к тому, что если на экране линия не жирная, а пунктирная, то ее покажут еще раза три и раз пять о ней расскажут. Ну а тут надо меньше отвлекаться и больше смотреть на экран...

В фильме мы увидели и совсем незнакомое нам выражение ритма - это ритм видом. Взгляд подымается вверх по дому внутри какой-то конструкции. И вот балки этой конструкции, пересекая взгляд, своим видом отбивают ритм: так, так-так-так, так, так-так-так.

Или - маленький Беглец, задыхаясь, бежит мимо цилиндрических и шаровых емкостей. И сразу чувствуешь, что из этой великанной страны ему не выбраться, что он в ней заблудится, а она его не выпустит, раздавит.

И вот мертвый Беглец повис на перилах, раскинув руки. Ветер треплет его волосы, а он недвижим в позе мертвой птицы, и перед ним воды Рейна, на которых покачивается мертвая чайка, как осуществление бельгийской легенды о том, что чайка погибает со смертью хорошего человека...

...Модерн, в котором разрешен этот фильм, снова показал, как многообразны пути развития мирового искусства".

Кто-то приписал внизу от руки: "значит, и поповщина", кто-то карандашом поставил "четверочку" - то ли самому фильму, то ли рецензии на него,- оценку, в любом случае задевающую самолюбие автора.

ГЗлина заметка о сценических постановках режиссера, художника и комедиографа тех дней Николая Акимова "Тени" и "Ложь на длинных ногах" называлась "Два спектакля - две удачи". Но не по поводу содержания статьи или ее стиля, а по поводу заголовка разыгрались в редколлегии насмешливые упражнения, возможно, под влиянием "математических" методов Зеликсона: "Три спектакля - две удачи", "Четыре спектакля - три удачи", "Одна заметка - две неудачи"... Разобидевшись, юная театралка хотя и не вышла из редакции, но писать перестала.

Свою статью я, как ни торопился, не успел закончить к открытию газеты и с некоторым опозданием вывесил ее, потеснив другие заметки литературного раздела.

Вот она, в том виде, как сохранилась. Я лишь чуть-чуть поправил огрехи торопливого пера, да и то не все.

Хороший Уфлянд

Осенью прошлого года в Университете состоялось обсуждение стихов Владимира Уфлянда. Кто-то уже слыхал об этом имени, и на чтение собралось довольно много ревнивых толкователей и бестолковых ревнителей поэзии.

Уфлянд был рыжий, курносый и нечесаный. Он замотал шею зеленым шарфом и начал читать простуженным голосом. Есть в манере нынешних поэтов нарочито плохо читать стихи, не обращая внимание слушателя на их звучание. Уфлянд читал именно так, небрежно произнося слова и делая ударения лишь на начало и конец строки.

Но слушатели были захвачены этим Уфляндом из стихов. Чувствовалось, что он любит жизнь, любит ее смущенно и нежно. Тепло и бережно он относится к вещам, даже если это довоенная фотография или заглохший холостяцкий дом; к людям, даже если это пыльный пьяница или бразильский эмигрант.

Есть поэты, которые, вследствие уж очень бережного отношения к поэзии, сделали из своих стихов культ. Они слишком ценят свое, именно поэтическое, а не бытовое отношение к жизни. И в результате ради удачного эпитета или рифмы они грешат против действительности.

Но у Уфлянда по его небрежному отношению к стихам чувствовалось, что они не становятся между поэтом и жизнью, что эти стихи и есть поэт и его жизнь. Это и есть хороший, добрый Уфлянд и его отношения к вещам, детям и коммунистам.

У него есть стихи о детях, отец которых забыл, как их звать, но они не остались одинокими:

Женщина по имени Россия
накормила их, велела спать,
не задумываться над вопросом:
- Утром солнце будет ли сиять?
Если дети доверяют взрослым,
это называется семья.

Да, это и есть большая семья, в которой Уфлянд живет и спит спокойно и доверчиво, как ребенок...

Все люди разнятся друг от друга, но дело поэта показать, чем именно он похож на всех людей, а поэтому, чем он отличается от каждого из других поэтов. И как результат - неповторимость манеры, поэтическое своеобразие. Подлинное своеобразие рождается лишь в коротких отношениях с действительностью. В

любом ином случае - это только формальное различие авторских приемов.

Судя по стихам, Уфлянд придерживается очень верного и трезвого мнения о назначении поэзии. Он не хватает своего читателя за шиворот и не тащит его, уставшего после работы, на борьбу и сражения. Он дружески приглашает читателя войти в его настроения, давая ему начальный импульс для размышлений:

Тот человек. Он, если шубу скинет,
на сцену выйдет, впрямь как за порог,
то может женские сердца мужскими
на время сделать, то наоборот.
А если шубу он не снял в прихожей,
вбежал к ребенку, не успев раздеться,
то сам никак от нежности не может
понять: кто сыну - мать или отец он.
И удивляется, узнав, что отчим он...
Припоминает ясно, онемевши...
В людских сердцах вот отчего
считает он себя невеждой.

И читатель поддается душевному и доброму поэтическому слову. И настроение стихов не пропадает долго после их прочтения.

Из каждого факта можно сделать значительное событие. Факт обрастает деталями, образами и ассоциациями, ему навязываются аллегории. Рассуждения зарифмовываются, и получается стих. Но это, по существу, муха, раздутая до размеров стихотворения. Такой метод чувствуется у поэтов более старшего поколения, так пишут и люди одного с Уфляндом возраста - Г. Горбовский и М. Ерёмин. В значительно меньшей степени это встречалось и у Уфлянда.

Но сейчас Уфлянд подходит вплотную к большой правде мира. Он становится на путь проникновения в глубь факта и нахождения первобытной сути явлений. Этот путь - упрощение форм, углубление содержания и сближение с бытом - и есть сегодняшний путь поэзии.

Уфлянд входит в литературу как обещающее явление - этот

бывший студент и рабочий, будущий солдат и настоящий поэт.

Донос

Статья эта, вместе с большой подборкой стихов моего героя, казалась ярким материалом, но провисела она в газете недолго. Хануков все это снял и унес в партком утверждать.

Пока они мою статью перечитывали, утверждали и отвергали, в институте стали происходить некоторые "климатические" изменения. Да и не только в институте, а и в городе, и - шире - в стране и за ее пределами.

Сначала выступила многотиражка "Технолог". Обычно никто не замечал это бесцветное печатное издание, оказавшееся в глубокой тени от нашей популярной стенгазеты. И вот оно выступило с заметкой "По поводу газеты "Культура"". Без обиняков некто "Я. Лернер, член КПСС" высказал в ней "свое личное" партийное мнение.

"Мне кажется, что газета "Культура" должна заниматься не абстрактно-просветительной работой, а быть активным проводником идей партии в деле борьбы с проявлениями чуждых взглядов, идей и настроений. Редколлегия газеты не должна забывать, что у нас господствует социалистическая идеология, нерушимую основу которой составляет марксизм-ленинизм.

Однако уже в первом выпуске газеты редакция допускает серьезные извращения, в отдельных статьях прямо клевещет на нашу действительность, с легкостью обобщая ряд фактов, и преподносит их с чувством смакования, явно неправильно ориентируя студентов на события сегодняшнего дня. Путь, который указывают Хануков, Бобышев, Волынский, Кацман, Михельсон, Глубокий, Рубинштейн, Гинзбург, Рейн, Найман, Шамарин, Романова, Городысский,- не для нас, не для советской молодежи, и является глубоко порочным.

В газете имеется попытка навязать свое мнение нашей молодежи по ряду вопросов, связанных с зарубежным кино, живописью, музыкой (статья Наймана о кинофильме "Чайки

умирают в гавани", статья Е. Рейна о Поле Сезанне и т. д.).

Удивляет и то, с какой легкостью ко всем вопросам подходит член редколлегии газеты секретарь комитета ВЛКСМ т. Зеликсон Б., который не только не пытается разъяснить ошибочность и порочность работы членов редколлегии газеты "Культура", но и сам во многом стоит на их позициях. И уже совсем непонятен либерализм партийного комитета института, который до сих пор не принял мер к коренному улучшению работы редколлегии газеты, которая призвана стоять на позициях такого воспитания наших студентов, как того требует партия. Ибо "всякое ослабление влияния социалистической идеологии означает усиление влияния идеологии буржуазной". Об этом у нас, к сожалению, забыли".

Донос, настоящий политический донос! Михельсон помчался куда-то вверх по главной лестнице, потрясая газетой. Возник некоторый переполох. Ясно было, что на нас выпустили первую собаку, с глазами размером пока еще с чайные чашки.

Кто же такой этот Лернер, неужели тот самый "Яшка-завклубом", увольнения которого ждала институтская самодеятельность - театр и хор? Чернявы, довольно еще молодой нахал с безграмотной речью, он не только не скрывал своей связи с КГБ, но, должно быть, ее преувеличивал, временами являясь на работу в майорском кителе: будучи заведующим клубом и распоряжаясь театральным реквизитом, он в принципе мог бы появиться хоть в генеральских лампасах. Одежды и личины для его по-своему незаурядной личности были тем же, что для Остапа Бендера милицейская фуражка,- средством внушения и обмана. Наш комбинатор умудрился для почти профессионального театра и чуть-ли-не-совсем профессионального хора Техноложки устроить платные гастроли по области. Доходы от гастролей не достались актерам и певцам и не поступили в институтскую казну, да и не могли туда поступить, поскольку самодеятельным коллективам гонораров не полагалось. Когда стали разбираться, куда же они все-таки делись, заодно обнаружилась пропажа целого рулона тюля для занавеса...

Но не под этим летучим покровом, а под толстым одеялом секретности в администрации и парткоме происходила из-за Лернера крупная возня: "отдать под суд" или "уволить с выговором по партийной части". Патроны Лернера из КГБ, очевидно, отреклись от своевольного жулика и самозванца. И он

нанес упреждающий удар по нам, желторотым либералам, заодно упрекнув в либерализме и партком! В результате, сделав этот ход конем, он уволился "по собственному желанию" и всплыл некоторое время спустя в добровольной народно-милицейской дружине Дзержинского (а не какого-либо другого) района Ленинграда. Там он опять "прославился" в деле Бродского, затем угодил-таки за мошенничество под суд и, отсидев положенный срок, всплыл снова во время гласности как отрицательный герой эпохи.

День поэзии

В ту осень не только наша "Культура", но и другие студенческие клубы, неофициальные и рукописные журналы, независимые объединения поэтов стали возникать в городе. Будоражило ли это сыщиков политического надзора, тревожило ли это железобетонное ленинградское начальство? Не знаю. Но думаю, что временно им было не до нас. Москва замахнулась тесаком реформ, провинция хватала ее за волосатое запястье. Пока потные гиганты сопели, перетаптываясь, процветала наша "Культура", в ЛИИЖТе звучали "Свежие голоса", в Библиотечном мололи "Чепуху", "Тупой угол" издавали интеллектуалы-физики в Политехнике, декаденты распускались "Синими бутонами", футуристы открывали "Литфронт Литфака"...

Из Москвы приезжали знаменитости: Евтушенко, Слуцкий. Каким-то невероятием Рейн их зазвал в Техноложку и скоростным образом устроил (видимо, через Зеликсона) для них выступление в Большой физической аудитории. Более того, не чувствуя себя уверенным перед огромным залом, он вытащил и меня за кафедру, и вместе мы представляли гостей. Московские звезды были осторожны, читали проверенное. Евтушенко - "Военные свадьбы":

Вхожу, плясун прославленный,
в гудящую избу...

В авторском чтении вдруг проступила смущающая символика стихотворения: женихи уходят на войну, поэт-подросток остается с овдовевшей Россией...

Прочитав первым, Евтушенко тут же исчез. Слуцкий читал

тоже лишь сугубо разрешенное:

Я говорил от имени России...

Профессор Никита Толстой, истинный хозяин места, где все собрались, чье барское детство волшебно воспел его отец, "красный граф", задавал вопросы из первого ряда:

- Почему не издают Хемингуэя?

Или:

- Когда наконец мы сможем прочитать Джойса?

Слуцкий мялся с ответами. Мы закрыли вечер и увели его, чтобы показать газету "Культура", которая нуждалась в веской защите. Он задал несколько статистических вопросов о том, сколько студентов в институте и какая часть из них прочитала газету, затем не торопясь проглядел заметки, но отозвался как-то невнятно:

- Посмотрим...

В утешение он сказал пишущим:

- Шлите все Бену Сарнову, с поправкой, конечно, на читателя, в журнал "Пионер". Он печатает наших...

Поколебавшись, я все-таки его спросил:

- А "наши" - это кто?

- "Наши" - это наши,- четко ответил Борис Абрамович, заглянув мне в глаза.

На следующий день был праздник поэзии. Московские знаменитости с тем и приехали, чтобы на нем выступить. В этот день я купил в Доме книги у молодой продавщицы отдела поэзии Люси Левиной большущий in folio альманах, который так и назывался "День поэзии". На обложке, по забавному замыслу художника, уже имелись отпечатанные автографы участников, и кого там только не было! Красивая Люся, глядя выпуклыми прозрачно-зелеными глазами, произнесла на публику пунцово-выпуклыми губами:

- Приходите все в час. Будет выступать Павел Антокольский.

В начале второго перед толпой молодежи стоял сморщенный, похожий на Пикассо старикан, артистически прикрыв голый череп беретом. Он был еле виден из-за прилавка. Поставили стул. Со стула, как малыш на елке, он стал читать поэму о сыне, убитом на войне. Предмет был грустен, поэма длинна и риторична, к тому же давно и хорошо известна - автор уже получил за нее Сталинскую премию, и публика скучала. Хотелось именно праздника. Ему стали подсказывать:

- Почитайте что-нибудь новое!

- Нет, лучше из старого! Об Афродите Милосской - "Безрукая, обрубок правды голой..."

- Пусть лучше Рейн будет читать! Поэму "Рембо"!

- Кто такой Рейн? - вдруг заинтересовался старый романтик.

Рейна пропустили вперед. Многоопытный, но любопытный Антокольский, не давая повода для неразрешенного выступления, распорядился:

- Читайте не им, а мне.

И направил неожиданно большое ухо через прилавок. Но и Рейн не дал тут промашки. Частично в волосатое антокольское ухо, а большей частью отводя звук губою в зал, он гулко закричал:

Программа девственниц с клеймом на ягодице -
"А. Р." - такое же, как под столбцами рифм.
Здесь нет иронии. Она не пригодится.
Так значит прочь ее. Но щеки опалив!..

Не знаю, как в дальнейшем сложились отношения двух поэтов,- кажется, довольно мило. Но тогда хотелось для Рейна немедленного признания, торжественной передачи лиры, благословения, приглашения в Литинститут в Москву! Этого, разумеется, не было...

А в Москве Леонид Чертков занимался, по его словам, "политической болтовней" в сарайчике для жилья, извне нашпигованном подслушивающей аппаратурой, и публично читал с ироническим посвящением "Ленинскому комсомолу" свои "Рюхи":

Расставив ноги блямбой,
она ему дала за дамбой...
А в Польше... А в Венгрии...

В Венгрии тоже все началось со студенческого кружка "По изучению поэзии Шандора Петёфи". Кружком руководил профессор изящной словесности Имре Надь (не венгерский ли вариант Глеба Семенова?). Читали летучие стихи, занимались "политической болтовней" на своем вывихнутом наречии... Только - вдруг они ощутили себя свободными и стали освобождать страну. Такие же, как мы, в зеленых плащах и черных беретах. Но - с автоматами. Когда все вдруг кончилось, мы с Найманом ходили смотреть кинохронику тех дней. Диктор произносил торжественно-зловеще: "Фашиствующие молодчики покусились на самое святое - памятник советскому воину-освободителю". Из положения лежа молодые венгры вели прицельную стрельбу из автоматов по советскому гербу на монументе. От него отлетали кусками: серп, молот, колосья...

- Я смотрю это в девятый раз,- признался Найман.

Диктор: "Войска Варшавского договора пресекли провокацию, грозящую дестабилизацией Восточной Европы..."

Да, 5 ноября Хрущев бросил на Будапешт танки, и неделю они с лязгом гонялись по улицам, расстреливая повстанцев. Имре Надя, тогда уже главу правительства, схватили, увезли в Болгарию и там казнили. Из прессы нельзя было выжать никаких сведений о происходящем. Только сквозь рев глушилок, приноровляя слух, я вылавливал обрывки радиорепортажей Би-би-си.

- Опять свои небеси слушаешь,- с неодобрением говорила Федосья.

Жизнь спустя, в 90-м году, следуя по отрогам разваливающейся империи, я переезжал на немецком прокатном "опеле" мост через Дунай между Пештом и Будой. На этом месте застрелился советский офицер-танкист, не пожелавший исполнить кровожадный приказ. Далее, на развороте улицы, поднимающейся к крепости в Буде, стояло старинное укрепление. Его толстые гладкие стены были изрыты избоинами от скорострельной танковой пушки. Так они и остались незаштукатурены. Видно, в 56-м это был крепкий орешек сопротивления, а сейчас я, восходя от незалеченных стен, возвращался к собственной юности. Вид с крепости на Пешт захватывал дух. Солнце слепило, отражаясь в Дунае. Венгрия уже была свободна, но запашистые, крепко-пахучие поленья "салями" оставались еще восхитительно дешевы.

Разгром "Культуры"

Как раз 5 ноября нас в институте согнали на инструктаж по поводу предстоящей "демонстрации трудящихся" к очередной октябрьской годовщине. Побывав однажды в 10-м классе на такой демонстрации, я в дальнейшем успешно увиливал от этой общесоветской обязанности, не собирался участвовать и в этот раз, но на инструктаж пришлось пойти. Выступал деятель райкома:

- Возможны провокации!.. Запомните, кто идет в вашей шеренге слева, кто - справа... Во время шествия не теряйте их из виду. Не допускайте в свою колонну посторонних!..

Поскольку провокации были заранее объявлены, они должны были состояться - и состоялись. Первая весть после праздников была:

- Миху Красильникова арестовали!

- Как? Где? За что?

Очень просто: подвыпивши, во время праздничного шествия, а вернее, когда шествие замедлилось в ожидании выхода на Дворцовый мост, Миха забрался на основание Ростральной колонны и возглашал игровые лозунги: "Утопим Бен Гуриона в Ниле!"; "За свободное расписание, за свободную Венгрию!"; "Долой кровавую клику Булганина и Хрущева!"

В результате Красильникова упекли на четыре года в лагеря; Рейн написал о нем стихотворение, в котором "четыре года" повторялись рефреном в каждой строфе. Через два месяца Чертков, по словам из его стихов, "на вокзале был задержан за рукав" и получил пять лет. Нас как будто забыли.

Но нет: в институте появился корреспондент из Москвы, закулисно беседовал где-то и с кем-то... За мной послали нарочного из деканата, отозвали с какой-то лекции, проводили в ту же, когда-то веселую, а ныне унылую и пустую гостиную, где был комитет комсомола. Там сидел некто, не молодой, не старый, не высокий, не низкий, вертел в руках мою статейку "Хороший Уфлянд". Представился:

- Корреспондент "Комсомольской правды".

- Дмитрий Бобышев, студент.

- Как же вы, Дима, дошли до такого?

- А что? Нас обвиняют, навешивают крамолу... А у нас ее не больше, чем, например, в "Литературке"...

- И "Литературка" за свое ответит перед партией. А вы отвечайте за свое. Вот, например, ваша заметка... Что это: "Не тащит читателя, уставшего после работы, на борьбу и сражения"?

- Ну я имел в виду "за абстрактную добродетель".

- Нет, это никого не убеждает...

Не убеждало и меня, и я остался с чувством тревожного ожидания дальнейших неприятностей. Но пока они медлили, нас развлекали мелкие нападки "Технолога": там, например, появилось утверждение, что Найман "учинил скандал в институтской библиотеке, требуя целый список запрещенной и порнографической литературы".

- Толя, что это значит?

- Это значит, что я запросил "Хулио Хуренито" Эренбурга, а мне не дали.

- Почему же это порнография?

- По звучанию...

Основной разнос ожидался от парткома, а там царили разброд и шатания. "Партийные товарищи" сами не могли разобраться что к чему. Одни не хотели "отдавать нашу молодежь людям типа Лернера, в сущности, случайным в нашей партии", другие с грозным укором казали перстом на Будапешт. Разоблачения Сталина, хотя и частичные, расколебали идеологический монолит, и стали видней человеческие свойства, даже слабости, наших "парткомычей". Универсальный, как гаечный ключ, анекдот ходил про них в то время:

"Ленин задумал советских людей носителями трех свойств: партийности, ума и чести. Но им оказалось под силу обладать лишь двумя. Так, умные и партийные получились жуликами, честные и партийные - дураками, а умные и честные - беспартийными".

Действительно, к кому ни приложишь этот калибр - подходит! Даже мой безусловно порядочный и партийный отчим веселил и сердил меня... наивностью, когда старался обратить пасынка на "правильный" путь. Он копал под корень:

- Не было Иисуса Христа даже как исторического лица. Нет никаких доказательств!

- А я скажу - не было твоего Ленина. Как ты докажешь, что был?

- Да он же сам - в Мавзолее! К тому же свидетельства, фотографии...

- И о Христе - свидетельства и изображения. И - заметил? - на них он всегда узнаваем! Это ли не доказательство подлинности?

Были у него и другие теории для моего "спасения". По одной из них мне нужно было до защиты диплома ничего другого не делать, а попросту лишь учиться, не отвлекаясь ни на что.

- Получишь диплом - пожалуйста! Девушки, развлечения, книжки...

- А дышать можно? А - жить?

-Так живи. Но к чему, например, на стихи распыляться? Зачем они? С чего ты их стал сочинять?

- Ну чувствую что-то внутри. Какая-то цветомузыка на слова просится...

- А-а... Так ты, значит, песню слышишь. Так бы и сказал...

И он отступился от наставлений.

Но вот наконец партком взвешенно грохнул - разразился в том же "Технологе" от 16 ноября письмом "Об ошибках газеты "Культура"". Вот из него характерные выдержки.

"В связи с выходом газеты "Культура" партийный комитет считает необходимым высказать свое мнение о ряде статей этой газеты.

Определяя задачи комсомола, в своей знаменитой речи на III съезде комсомола в 1920 г. В. И. Ленин говорил:

"Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали", в основе которой "лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма".

Казалось бы, именно этой великой, почетной задаче и должна быть посвящена газета "Культура" - орган комитета ВЛКСМ института.

Выполняет ли газета указанные задачи?

Нет, не выполняет.

Возникает законный вопрос: "Могут ли некоторые члены редколлегии газеты "Культура" быть проводниками социалистической культуры?" Видимо, нет. Как может редактировать газету студент Хануков (321-я группа), который имеет строгий выговор за утерю комсомольского билета? О какой же культуре может говорить студент Михельсон (322-я группа), который, начиная с первого курса, почти ни одной сессии не сдавал экзаменов без двоек, имеет выговор за пользование шпаргалкой и строгий выговор за непосещение занятий?

Как может работать в газете "Культура" Бобышев (434-я группа), отказывающийся платить комсомольские членские взносы и являющийся ярым пропагандистом аполитичных и вредных стихов? Может ли заниматься культурным воспитанием студентов Найман (332-я группа), который в одном из своих выступлений на комсомольском собрании цинично заявил о том, что он не имеет никакой идеологии?

Наиболее возмутительным является то, что отдельные члены комитета ВЛКСМ, и в первую очередь его секретарь т. Зеликсон, не только не указали редакции комсомольской газеты на ее политические и идеологические ошибки, но даже поддерживают эти ошибки. Зеликсон, например, договорился до того, что он "имеет свое особое мнение", и даже пытался это мнение противопоставить мнению партийного комитета.

Некоторые члены редколлегии и их защитники выступают под флагом преодоления последствий "культа личности", а фактически проповедуют буржуазную идеологию.

Путь к улучшению газеты "Культура" лежит через овладение комсомольцами высотами марксистско-ленинской теории, в частности, марксистско-ленинской эстетикой".

Казалось бы, написали все, что надо для логически следующего вывода: указали на идеологические грехи, выделили и назвали отщепенцев... Теперь бы связать это с международным положением, с "попыткой контрреволюционного мятежа в Венгрии" да и призвать: "Надо, ох, как надо крепко дать по рукам их зарвавшимся приспешникам из числа редколлегии так называемой газеты "Культура""... Но не было, не было этого! Пожалели, полиберальничали или не были уверены, опасаясь, что при следующем крене их самих призовут к ответу за "издержки культа личности"?

Как бы то ни было, а газета висела, материалы в ней обновлялись, хотя и с осторожностью. Нас не трогали. Найман ходил смутный, будто он что-то забыл,- худой, черный, под током сочинительства. Говорил, что ест мало, а пишет непрерывно. Немудрено, что при всем этом он в обмороке скатился на ходу с трамвая - ехал на подножке. Я в ЛИТО в "Промке" читал при партийном Всеволоде Азарове и другом неясном контингенте стихи "Венгрии", из которых помню только: "сестры дальние",

"вижу горем пропоротый город и огороды" да "сострадание стародавнее". Но само чтение вспоминает Додик Шраер-Петров в своей книге "Друзья и тени".

"Внезапно поднялся Бобышев. Он стоял бледный и замкнуто-решительный. Мы замерли. Так вызывают на дуэль. Он словно бы и не видел Азарова, встав передо мной, готовый бросить перчатку. "Как ты можешь писать бог знает о чем, когда пролилась кровь наших братьев - венгерских интеллигентов?! Я прочту стихи, посвященные памяти героев венгерского восстания". Бобышев читал. Помню, что там звучали ... горячие слова, вырывавшиеся и продолжающие вырываться из уст русских поэтов вот уже два века... Ни тени формальной работы. Ни одной реминисценции... Слезы и яростное проклятие душителям свободы".

Тексты этого стихотворения и другого, ему подобного, я уничтожил, возвратясь домой, так как был убежден, что Азаров донесет и меня в тот вечер схватят. Молодец, не донес-таки, а ведь как член партии должен был.

Конечно, я находился на нервном взводе, но это не была паника. Что-то такое, липко-холодное, струилось в воздухе. Как я узнал позднее несомненно и документально, "Литературка" (да, та самая якобы либеральная, а на самом деле провокаторская газета) поручила как раз в это время "тов. Л. Клецкому, аспиранту ин-та им. Герцена (Ленинград, Моховая, 26, кв. 50) работу по составлению справки закрытого характера о вышедших самочинно в некоторых ленинградских вузах студенческих журналах и стенгазетах". Там было достаточно и о нас. Зачем им понадобилась такая справка? Они ведь эти сведения никак не использовали для печати. Зато некто из КГБ в Большом доме на Литейном взял новую дерматиновую папку, вывел на ней "Дело газеты "Культура"", развязал ее нетронутые шнурки и поместил туда эту справку вместе с доносами Лернера и письмом парткома. А 4 декабря к ним присоединилась и статья А. Гребенщикова и Ю. Иващенко "Что же отстаивают товарищи из Технологического института?", напечатанная в "Комсомольской правде".

Название казалось задумчивым, нас называли "товарищами", и первой мыслью было: "Значит, брать не будут". Более того, в конце статьи доверительно сообщалось: "Сейчас в институте поговаривают, что долго газете "Культура" не выходить: скоро, мол, ее прикроют. Будем надеяться, что это не случится..."

- Тем лучше! - бодро воскликнул Боб Зеликсон.- Давайте повесим эту вырезку среди материалов нашей газеты. Она привлечет к ним еще больше внимания.

Повесили. Привлекла. Куда больше? Но желаемой дискуссии уже быть не могло - внутри мягко озаглавленной статьи шел политический мордобой. Расправа. Вот некоторые выдержки:

"Что же, по мнению авторов некоторых статей, представляется наиболее важным для определения путей развития искусства?

"Импрессионизм был колоссальным сдвигом в живописи,- пишет Е. Рейн в статье о Поле Сезанне,- одной из величайших революций в искусстве". И дальше метод импрессионизма рекомендуется советскому искусству как единственно верный. Едва ли можно предложить что-нибудь более нелепое!

Один из членов редколлегии газеты, Д. Бобышев, в пространной, неумеренно восторженной статье о начинающем поэте Уфлянде противопоставляет его творчество всей советской поэзии, причем делает сравнение не в ее пользу:

"Уфлянд придерживается очень верного и трезвого мнения о назначении поэта. Он не хватает своего читателя за шиворот и не тащит его, уставшего после работы, на борьбу и сражения".

Трудно сказать, чего больше в этой фразе - невежества или мальчишеского нигилизма! И не думает ли тов. Бобышев, что развитие советской поэзии определяют те риторические вирши, которые время от времени мелькали на страницах наших газет, особенно в юбилейные дни?

Рассуждая о стихах Уфлянда, Бобышев теряет всякое чувство меры. Уфлянд именуется в статье "явлением большого плана".

В результате долгих и горячих споров это странное сочинение не появилось в газете. Однако это не значит, что защитники статьи, большинство редколлегии, убедились в ее вздорности.

Но нашелся у стенной газеты и защитник - комитет ВЛКСМ института. В то время и секретарь комитета ВЛКСМ тов. Зеликсон (который, кстати, сам являлся членом редколлегии газеты), и

другие члены комитета не поскупились на громкие слова о свободе творческих дискуссий, о "травле" смелой мысли и т. д.

Почему в таком случае на страницах "Культуры" не нашлось места статьям, в которых авторы поспорили бы с предыдущими выступлениями?"

Это было бы ничего, споров мы не боялись, а нежелательный крен в политике, по идее, мог вот-вот смениться другим, благожелательным - на это же, помнится, рассчитывал и Пастернак... Увы, произошло обратное: "империалистическая англо-франко-американо-израильская агрессия на Суэцком канале", результатом чего были портреты плачущего (глаза красавицы, эффектно-белые височки) Абделя Насера, Героя Советского Союза, попавшие в вырезках из западных газет в наш оборот, да рев глушилок, смешанный

с ревом контрпропаганды...

То ли глушилки работали недостаточно плотно, то ли специально был отловлен нужный материал, но обсуждалось в парткоме - как до нас долетело - что-то в таком роде:

- Госсекретарь США Джон Фостер Даллес, этот жупел "холодной войны", изображаемый Борисом Ефимовым не иначе, как с сосулькой на носу, выступил в Турции на открытии ракетной базы, направленной на нашу страну. Он говорил о сопротивлении коммунизму внутри самих коммунистических стран. И приводил примеры - кружок Петёфи в Венгрии, газета "Культура" у нас. Хороший Уфлянд, плохой Бобышев, импрессионист Рейн, вероятно, еще и Найман, и, несомненно, Зеликсон...

"Голос Америки" сделал то, чего не доделали советские мастера несвободы: газету "Культура" закрыли.

Дар и одаренные

В солдатском письме Уфлянда был упомянут Дар. Это не роман Набокова, о котором мы тогда и не слыхали, а писательский псевдоним Давида Яковлевича Ривкина, состоящий из его инициалов: ДЯР, для благозвучия – Дар. Давид Дар. Его старший сын Володя, серьезный голубоглазый блондин, был среди нас студентом и на редкость беспримесно занимался учебным технологическим делом, да и в дальнейшем, кажется, в литературных поползновениях замечен не был. Видимо, пошел в мать. А его добродушная сестра Лора, рыжеватая и пухлолицая, явно напоминающая отца, водилась с филологами и битниками и была не чужда самиздату. Довольно рано, скорей всего не закончив университета, она стала работать в Книжной лавке писателя, ни перед кем не робела, знала прекрасно сама, кто чего стоит, и в охотку продавала дефицитные синемундирные книги – то Пастернака, то Заболоцкого, то Цветаевой – не членам Союза писателей, а нашей непривилегированной братии.

Их отец женился другим браком – и тут начинается его приметная особенность – на писательнице же Вере Пановой, лауреате Сталинской премии, что было не фунт изюму. Для многих этим его примечательность и ограничивалась, но Давид Яковлевич являл незаурядную личность и сам по себе. Маленький, круглый, рыже-всклокоченный и крупно-морщинистый, со шкиперской трубкой в прокуренных зубах, пыхающий клубами дыма и непрерывно кашляющий, – вряд ли своей почти карикатурной внешностью он прельстил Веру Федоровну, тоже, впрочем, уже белесо-рыхлую в те годы, но, судя по наружности и статям ее сына от предыдущего брака, Бориса Вахтина, опять же писателя и китаиста, умевшую выбрать себе породистого напарника.

Значит, в Даре была какая-то особая мужская косточка, очаровавшая не только крупнотиражную писательницу, но и литературную молодежь. Действительно, бывал он иногда смел до дерзости и раза два вцеплялся эдаким разъяренным фокстерьером в шкуру начальственного медведя. Впрочем, ему это сходило с рук, как и многое другое: сталинское лауреатство жены служило надежной защитой даже в пору десталинизации.

Для окружающего большинства его собственные литературные достижения считались мифическими, но – по случайности – не для меня: еще в школьные годы мне попался его “Господин Гориллиус”, по виду антифашистский памфлет,

написанный задорно и едко, причем не только о фашистах, а о любой вульгарной и похотливой власти. Да мы с Толей Кольцовым зачитывались этой бойкой книжкой, чуть ли не наизусть произнося ее страницы! То, что Дар писал позднее, не печаталось да и не очень-то было известно, что именно он писал (говорил, что “сказки для взрослых”), и, следовательно, были они, вместе с его нелюбимым пасынком, непечатаемы, как и мы. Однако оба, не иначе как “сын и муж лауреата”, состояли членами Союза писателей, держались в Союзе с вызовом и порой даже наводили на его главарей опаску. Дар все-таки был фронтовик из окопа под Пулковым, а Вахтин – независимый от них китаист.

На протяжении десятилетий оба соперника, отчим и пасынок, каждый по-своему, верховодили в неофициальной литературе города. Вахтин, рослый и статный, остался в моей памяти окруженным стройными женщинами и разнокалиберными собратьями по перу, признававшими его первенство как за ресторанным или банкетным, так и за письменным столом: Марамзин, Губин, Довлатов, успевший по молодости вскочить лишь в последний вагон отходящего в историю поезда. “Горожане” – так назывался их не вышедший ни в официальном издательстве, как они надеялись, ни даже в самиздате объединенный сборник рассказов; так же называли они и свою литературную группу. Их апогей пришелся на раннюю глушь брежневского правления, в пору, когда интеллигенция пыталась легализовать свои начинания, ловя власть на слове. Напрасный труд! – сборник был обречен уже в силу своей самостийности, а красивый, еще молодой – или по крайней мере еще моложавый – Борис Вахтин вдруг скончался.

Его литературное наследие оказалось невелико: писал он мало и тщательно, его рассказы и повести изредка забрасывались в самиздат, но циркулировали там по малому кругу. Его повесть “Дубленка” была совершенной классикой, вышедшей прямым ходом из гоголевской “Шинели”, и это из нее выкроил себе на ушанку Владимир Войнович. Запомнился также крепко и точно сработанный “Летчик Тютчев”, лишь название этого рассказа вызывало недоумение: зачем, ради какой неясной иронии тут впутано славное поэтическое имя? Но стиль вызывал уважение сделанностью, именно этот термин “сделанность” и был мерой его литературного качества, а обкатанные, как галька, слова создавали эффект объективности, даже эпичности. Сам этот способ письма находился под острым углом к торжествующему тогда жанру лирической повести и его рассаднику – журналу “Юность”. Трусливые стилистические потуги, начало которым

положила еще сталинская (даже – трижды!) лауреатка Панова и которым отдали дань все-все-все, были отвергнуты ее сыном, и очень решительно. Его “Самая счастливая деревня” была таким веским галечным камнем, который равно годился и для того, чтобы им придавить от сквозняка пачку свободолюбивых рукописей на столе и чтобы шваркнуть в витрину продажного литераторства. Я бы рискнул даже объявить, что камешек этот был сварен в том же тектоническом пекле, что и валун солженицынского “Архипелага”, ибо говорили они по существу об одном – о геноциде народа. Вахтин – о геноциде именно русского, деревенского народа, к которому “повивальная бабка истории” испытывала особое расположение.

Дар был, конечно, совсем другим: он не интересовался никаким народом – ни русским, ни еврейским, принадлежа, пожалуй, к обоим, а лишь экстравагантными стихами, хорошим табачком-коньячком да смазливыми и талантливыми ребятами. С восхищенным сочувствием отозвался о жизненном стиле одного чубатого и чубарого поэта:

– Глеба интересуют только три вещи: писать стихи, еть и пить. Нет, все-таки пить и потом еть. Но стихи все равно на первом месте.

В ту изначальную пору, которую я пустился описывать, по литераторским молодежным углам пролетел слух: Вера Панова собирает альманах “День поэзии”, наподобие знаменитого московского, и отбирать стихи для печати будет Дар. Поэты потянулись гуськом в писательские хоромы на углу Марсова поля и Мойки. Особняк братьев Адамини. Вековые ступени лестницы. Звонок. Удивившее меня знакомостью технологическое лицо, на миг показавшееся здесь не на месте. Впрочем, это же Володя, старший сын Дара:

– К Давиду Яковлевичу – сюда.

В комнате крепко накурено, а хозяин набивает новую трубку.

– Бобышев... “Пляж, песок. На песке – поясок...” “Двое в буковой роще”... Знаете, Вера Федоровна находит в вас определенное поэтическое дарование.

– Я никогда этого не говорила! – вдруг явственно прозвучал за стеной женский раздраженно-властный голос.

– Во всяком случае, – ничуть не смущаясь, продолжал Дар, – она собирается поддержать ваши стихи на обсуждении в редакции.

– И этого я не обещала, – вновь донеслось из-за стены.

– В общем, тексты можете оставить, а можете и забрать. Вам нужно сколько-нибудь денег?

– Спасибо, у меня есть.

Здесь легко подставляется на мое место кто-нибудь из многих “талантов” и даже “гениев”, выдвигаемых им – но куда? Холоденко, Лапенков, Любегин даже при даровитости дальше даровских миньонов в карьерах своих не пошли… Разве что Леша Емельянов, темный, как тундра, пэтэушник и производственник, был истинно взлелеян Даром и доведен им до ранга писателей, включая и членство в Союзе.

Тому способствовало назначение Дара руководителем ЛИТО в доме культуры “Трудовых резервов” – еще один маленький парадокс эпохи. Заведение, по замыслу своему дремучее, помещалось в двух шагах от Невского, поблизости от Дома книги. В одном из просторных интерьеров переделанного собора заседал изысканный кружок эстетов и честолюбцев. Курить имел привилегию только сам мастер, и помещение наполнялось запахами кают-компании. Несколько подлинных птенцов ремеслухи, или, как тогда уже стали говорить, профтехучилищ, жались в углу с раскрытыми ртами. Свободно развалясь на стуле и поигрывая браслетом часов, а заодно и показывая витой серебряный перстень на указательном пальце, Сергей Вольф читал свою новую прозу: “Благоустроенные поместья”. Бабель – не Бабель, Бунин – не Бунин, но чем-то – возможно, именно своей благоустроенностью, протяженной добротностью – его стиль отличался от советского, хотя реалии были современны и даже местны. Кажется, только на днях парк городских такси пополнился десятками новеньких “Волг”, и вот уже в его изложении волшебно зажигается в вечерней метели зеленый глазок свободного “мотора”. Герой, авантюрный прагматик, как-то по-западному элегантен.

– Сережа, это Хемингуэй?

– Не читаю из принципа.

– Может быть, Шервуд Андерсон?

– Даже не слышал.

Ну тогда, может быть, не американцы, а немцы – сам Эрих Мария Ремарк или один из его “Трех товарищей”, забредший случайно в наши вьюги и путаницы… Да еще герой повести “Хлеб ранних лет” – чувственной и честной прозы восходящего Генриха Белля. Засохшие крошки в кармане, химический запах помады на губах подруги – это мы чуяли сквозь перевод, понимали и чтили.

Дар настаивал на экспериментаторстве, форме, индивидуальном авторском почерке, для него Вольф был, пожалуй, манерен, если не чужд. В одно из бдений в кают-компании он дал себя уговорить почитать что-нибудь свое. Хорошо. Вот притча под названием “Пирог с капустой”. Все в обжещитии любят пирог с капустой, пусть бы повариха готовила

это блюдо каждый день! И она готовит. “Пирог с капустой”, повторяемый многократно в тексте, быстро приедается и едокам, и слушателям притчи. Смысл? Какой хотите – от сексуального до политического: а не попробовать ли чего-нибудь иного?

В следующий раз объявляется турнир поэтов или, вернее, конкурс на лучший экспромт на заданную тему. Ее задает Дар, он же является судьей и вручает “приз-сюрприз”. Тема несколько неожиданная и потому трудная: “Отдых”. Соревнователей много. Рядом хмурится над ритмической прозой Вольф, напротив кусает карандаш Найман; что-то вычеркивая, комкает и выбрасывает бумажку Рейн. Берет новый лист. А стимул подхлестывает, гонит рифму за рифмой – откуда что берется? У меня получается что-то курортное:

После лета, после Грузии
это – нечто вроде грусти...

К моему изумлению, я – победитель! Каков же приз? Библиографическая редкость – “Александрийские песни” Михаила Кузмина. В хорошем состоянии, пометок на шмуцтитуле нет – рублей на тридцать потянет у букинистов. Но Толя выхватывает томик и вкатывает туда мгновенно рожденную эпиграмму-пародию:

Дима – что-то вроде дыма...

Теперь уже к букинистам это не понесешь. И я вписываю туда для памяти свой экспромт. Где теперь тот экземпляр и какие загадки-отгадки он собой являет? Впрочем, “Александрийские песни” элегантны и прелестны, и “голубой” оттенок их более или менее спрятан, но все равно в них проступает какое-то ощущение нечистоты, словно след чего-то вчерашнего и ночного. Поздней, когда мне попала в руки “Форель, разбивающая лед”, где уже ничего не скрывалось, я совершенно “простил” Кузмина, и его поэма стала одной из моих любимых. Очарование большой поэзии действовало поверх половых ориентиров. Это были стихи о любви и, следовательно, о жизни и смерти. А то, что любовь эта – однополая, кому какое дело, не правда ли, Дар? В конце концов в ней столько же низкой пошлости и столько же высокой духовности, как и в любви разнополой! Главное же средоточие книги – в ее магическом задании, соединившем образность и ритм с содержанием, тоже магическим, в полном смысле этого слова. Поэма “Лазарь” дает прямой намек на то, что эта книга – о воскрешении, а в “Форели” каждый удар из двенадцати приближает утонувшего любовника к жизни. Ход мировых часов, круговращение времени поэт нагружает задачей преодоления смерти, в сущности, не выполнимой без помощи Спасителя, а где же там Он?

Я говорил о “Форели” с Геннадием Шмаковым, считавшимся единственным в тогдашнем Союзе специалистом по Кузмину. Мы сидели за круглым столом, пили, кажется, чай. Золотой ангелок летел, отталкиваясь от Петропавловского шпиля в моем окне на Петроградской стороне. Шмаков вписал в мой экземпляр книги вымаранные цензурой строфы, имеющие отношение к кронштадтскому мятежу. Но его толкование главного образа – форели и ее ударов о лед поразило меня своей плоскостью:

– Этот образ имеет чисто эротическое содержание.

– То есть?

– То есть удары пениса в анус растопляют лед нелюбви.

Бедный! Он все свел к способу совокупления... Эти “пенисы-анусы” свели его бесповоротно в могилу. Он уехал в Нью-Йорк и поселился в полуподвальной каморке, но не где-нибудь, а на Пятой авеню. Когда я побывал у него в 80-м, он был захвачен знакомствами с небожителями балетного и литературного миров, но мы обещали держать друг друга в поле своих общений. Через некоторое время на мой телефонный звонок отозвался незнакомый насмешливый голос:

– Who? Mr. Shmakov? Hah! Is this a name?

– Yes, it's the name. Is he around?

– No, Mr. Shmakov's gone. Hah-hah-hah!

“Шмак” – означает на нью-йоркском английском какое-то малоприличное, но популярное понятие – до сих пор не знаю, какое точно, а “уехал” и “умер” звучит одинаково. Я повесил трубку и вскоре узнал, что он умер от СПИДа.

А ведь катакомбные христиане означали Иисуса Христа тайным знаком рыбы, по сходству Его имени со словом “Ихтос”, и Кузмин это, несомненно, знал. Знал он и об “Общем деле” Николая Федорова и, несомненно или хотя бы возможно, чаял воскрешения мертвых. Во всяком случае, некоторые из его поэм представляли собой модели такого воскрешения, пусть не совсем удачного:

Живы мы? И все живые.

Мы мертвы? Завидный гроб!

Давид Яковлевич Дар не разделял массовых вероучений, но в Бога верил – своего, индивидуального. И – в самого себя, такого, каким Бог его создал, со всеми своими неблаговидностями. Он писал: “... Я уже не знаю, что такое похоть: то ли это дух, воплощенный в плоть, то ли плоть, проявляющая себя в духе. День и ночь гремит во мне оркестр моей похоти...” Мало кто способен на такую откровенность. Более того, Андрей Арьев напомнил мне однажды очаровательную фразу из “Дневника” Дара:

– Вот и старость пришла. А где же мудрость?

Кто знает, может быть, он был столь же искренен, щедро раздавая литературные комплименты своим любимцам, угощая их коньяком и давая им деньги взаймы?

В середине 70-х Веру Панову разбил паралич, и Дар окружил ее своей и наемной, конечно, заботой. Многие литературные бездельники, включая Довлатова, зарабатывали у него на хлеб и пиво, читая вслух для больной и полуслепой писательницы или записывая ее, как они говорили, “религиозные бредни”. Наконец она умерла, и ощипанный после тяжбы с другими ее наследниками Дар надумал уехать в Израиль. К тому времени тяготивший меня самого душевный осадок неодобрения Дара и его наставнической роли уже прошел, и я отправился к нему прощаться. У него находилась публика, отчасти знакомая мне. Я был к тому времени уже матерым изгоем, напечатавшим в периодике лишь несколько искаженных отрывков; он стал изгоем совсем недавно, решившись уехать, и я получил от него все долгожданные похвалы за независимость, а он – от меня. Мы выпили по рюмке коньяку, и вдруг зазвонил телефон. Выкрикнув несколько резких отрывистых фраз, Дар шваркнул трубкой об аппарат. Это, оказывается, звонил Глеб Семенов с осуждением его за предательство по отношению к родине, родной литературе и пишущей молодежи...

– Я рад буду умостить своим черепом священные площади Иерусалима! – продолжал кипятиться Дар. – Что он, заодно с тем желторотым кагебешником, который вчера оскорблял меня?

– А что, вас вызывали?

– Да, и уже не раз...

– Из-за отъезда?

– И из-за отъезда тоже. Но главным образом по поводу какого-то подпольного журнала, которого я в глаза не видел! – восклицал старик-конспиратор, закатывая глаза к потолку, а руками показывая на лежащие на его столе машинописные пачки. То были, конечно, последние выпуски запрещенного журнала “Евреи в СССР”.

Я начал жадно листать страницы самиздата, за которым как-то особенно свирепо гонялась охранка. Находящийся тут застенчивый и ироничный Сеня Рогинский, с которым меня уже знакомила Наталья Горбаневская, имел явное отношение к этим выпускам. Нервный, весь на винте поэт Миша Генделев – тоже, вот я как раз наткнулся на его поэму “Менора”, напечатанную там с фигурной симметрией. А о спокойно-веселой Эмме Сотниковой и говорить не приходилось: ее имя и домашний адрес были с дерзким вызовом напечатаны прямо в журнале!

Ощущение азартной игры охватило меня, но чуял я: мне везло. Я проводил Эмму, и в течение двух-трех недель до ее отъезда в Израиль эта красивая и смелая женщина дарила меня своей дружбой. Журнал “Евреи в СССР” оказался отчасти провокатором, проявляющим бюрократическую ситуацию для отъезжающих: о нем звенели “враждебные радиоголоса”, за ним не прекращалась слежка. Но результаты всех этих перипетий были непредсказуемы: уехал Дар, но был арестован Рогинский; уехал Генделев, но затаскали по допросам Эмму. Наконец уехала и она.

Первые сведения о Давиде Яковлевиче я получал через Эмму: пустыня и жара оказались целительны для его астмы; он чувствовал себя бойцовски. Далее: он вступил в борьбу с Союзом местных писателей. Битва шла за какую-то поэтессу, позволившую себе в стихах употребить слово “влагалище”. Союз писателей был, безусловно, против. Дар, несмотря на свою сексуальную ориентацию, исключающую это понятие, стоял намертво за свободу выражения и, таким образом, за чуждое ему “влагалище”. Битва была заведомо неравной...

Маленькая белая книжка, изданная по-русски в Израиле в 1980-м. На обложке в самом низу факсимильно изображена его подпись: Давид Дар. И – все. Внутри – мысли: бесстыдно-честные, безоглядно прямые. О любви и, следовательно, о жизни и смерти. И, конечно, о литературе. Мир праху твоему, наставник!

Кружки и стрелы

Наша дружба с Рейном и Найманом долго не могла найти литературного выражения, хотя налицо были общие принципы: нам одинаково казалось невозможным то, что слыло политической сервильностью в поведении и в текстах (а иначе как можно было бы, например, знакомиться с девушками или даже разговаривать друг с другом), нам всем нравились примерно одни и те же образцы высокой поэзии, будь то пренебрегаемые казенным толкованием метафизические стихи Державина, Боратынского или Тютчева, а то и даже неожиданные строки Пушкина, идущие вразрез с официальным оптимистическим идолом, установленным на площади Искусств и как бы приветствующим комсомол. Любить, читать, открывать для себя поэзию было необыкновенно увлекательным, трудным и захватывающим занятием: обнаруживались целые пласты,

злонамеренно заваленные всяким мусором. Этот сор вместе с ветшающими запретами мы отбрасывали узконосыми, по тогдашней моде, туфлями, “ботами от Швейгольца”, чем придется и делились друг с другом ослепительными находками – подпольными, подземными или же прямо тут, перед глазами находящимися. Каррарским мрамором засверкал Мандельштам, запульсировала вулканическая Цветаева, антрацитно заблестел Ходасевич и даже несчастный Павел Васильев, “омуль с Иртыша”, вдруг ударил по нервам:

Четверорогие, как вымя,
по-псиному разинув рты,
торчком, с глазами кровяными,
в горячечном, горчичном дыме
стояли поздние цветы.

Ясно, какие критерии мы старались прикладывать и к своим стихам, и к поэзии друг друга, и к литературной продукции современников. И, странное дело, что-то из написанного выдерживало и хотя строчкой или двумя, хотя бы метафорой или рифмой, но все же звучало в согласии с высокими камертонами. Манеры письма тоже – при известной похожести – были все-таки узнаваемы и различны, и нас, отличая каждого, воспринимали со стороны единой группой.

– Пора бы нам выдвинуть общий манифест, – предложил я однажды.

– За коллективку больше дают! – отверг мою идею Рейн.

– Больше – чего? – не понял я сразу.

– Большие срока, – пояснил он недвусмысленно-юридически.

Действительно, я на минуту забыл и про черные списки, и про незакрытое дело “Культуры”, и про находящихся в заключении Красильникова и Черткова.

А Найман расхолодил с другой стороны:

– Сэнди Конрад сейчас вообще пишет свои тексты в жанре литературных манифестов. Пародийно, конечно. Не хватало и нам попасть в его коллекцию.

Сэнди Конрад, он же Саша Кондратов, коренастый блондин с линзами на глазах, был эксцентрическая личность: йог, милиционер, мастер спорта по стометровке, будущий семиотик и кибернетик, умерший молодым от прободения язвы, был тогда абсурдистом и ерником – как в жизни, так и в литературе. Стиль его шуток чем-то напоминал каратэ.

Так не состоялся еще один поэтический “изм”. Но единство оставалось и крепло. Зависти друг к другу не водилось, да и не из чего было ей возникать, а вот особая литераторская ревность должна же была существовать: все-таки поэзия – дело сольное. А

как же дружба? Она явно конфликтовала с эгоцентризмом солистов, с темными солнышками их честолюбий. Здесь была болевая точка, противоречие... Об этом я написал, обратившись в стихах к Рейну по случаю его дня рождения. Он ответил тоже стихами, но написал их в строку, как обыкновенное письмо, и я воспроизвожу этот прием для обеих частей диалога:

– Ты, солнечный денек, блести почаще, а мы в тени побалуемся чаем. Ты, солнце, юбиляр жестянщик. Мы годовщину вечности твоей справляем. Тебе неплохо б латы для починку. А нам неплохо лето для начала. Мы самовар несем тебе в починку паять, лудить, поить горячим чаем. Когда ты в тучах – дыры в них сверли, заглядывай, играй через отверстия. На пальцы по кольцу бы, ювелир, ты подарил своим недолгим сверстникам. Мы все живем, покуда срок не вышел, – и Женя друг, и генерал Михеев. Гордясь образованьем высшим, стал Женя Рейн мороженщик-механик. И, дня не отработав в Пятигорске, себя покрыл он солнечной полудой. А для подруг и в сладость он, и в горесть: сто раз обманет, десять раз полюбит. Но вот – поди ж ты – полюбил однажды, на палец навинтил кольцо с нарезкой – и вот уже стоит, отважный, с прелестной Галею Наринской. Сподобился небесным расписаньям, но друга не забыл. И не забудь. Ведь, может быть, кого-то мы спасаем примером – о приятеле – забот. И кто-нибудь да будет благодарен, хотя и плачет в маленькие горсти, и на ромашке больше не гадает, горюя в мерзлой тундре мончегорской... Романтик, а теперь тебе – зарплата. Все правильно. Но как, скажи, ты сладил с твоей грудною клеткою фрегата, с душою, тренированной для славы? Она ж по голове тебя как шарнет! И, будто орден в карты проиграл, фуражку мнет и по мундиру шарит обставленный друзьями генерал. Он от крамолы страшно уморился, призывников своих оберегая. И, солнце, ты лечебным юмористом блеснешь у генерала на регалиях... Ты не эстрадам трафишь, а судам. Твой медный пест гремит в мое житье. Так долбани же в самое “сюда”: “Где правота? Где право – не мое?” Ах, парень, лучше брюки залатай, по-дворницки орудуй, по-сыновни. Ты, солнце, знаменитый золотарь. Так выгребай конюшни и слоновни... Кто бы помог? О, помоги, товарищ. Бездонно одиночество отвесное. Ты, солнце, в этот миг электросварщик: заваришь швы, определишь отверстия. Из тела ты сварганило котел. А что душа? Лишь пар. Но этим паром котел гудит. И мы не пропадем с такой душою работящей, парень.

Рейн прислал мне следующее:

– Дорогой друг! Напоминаю тебе, что на этих днях пройдет пятый год нашего “появления”. Стихи (или не стихи) к этому дню

готовы. Вот они. К тому же это и ответ, только несколько косвенный.

Какие нынче сумерки, дружок. Пойти пройтися, что ли, по каналу. Погоревать, что вот октябрь стрижет деревья; догола их, догола их. Пустынный пир, пустите и меня. Не жадничайте, я хмелею скоро, тогда танцую буги-вуги я и думаю особенно сурово. Про этот столик с алчущим стеклом и про букет осенний и тернистый, мои друзья, поежась над стихом, идут в умеренные очеркисты. Ах, Дима, Дима, как тебе сказать – среди твоих уколов и укоров, среди моих уроков и сугробов такое тесто трудно раскатать. Ты помнишь, Дима, твердый коридор и самогон среди молочных гор, замоскворецкий кисленький дымок. Ты мог, ну да – и я все это мог. Так сокрушительна, как первый паровоз, судьба стонала в боевой клаксон, асфальтовой гоняла полосой, как лис карпатский около колес. Та жизнь была, мы прожили ее, от медных драк до скверных похорон. Не делать же, как пленное жулье, роскошный вид, что ты не покорен. Мы прожили стипендии, пайки, бесстыдство женское, стыда иконостас, прекрасные простые сапоги; все то, что нынче растлевает нас. Как елочный подарок во хмелю, произойдет туманный поворот. Ах, Дима, Дима, я тебя молю не поступать тогда наоборот. Вторая жизнь уже уклон у ног, бесповоротная, мы рождены уже. Не сомневайся. Это точно. Но пока не будем думать о душе. Авось она пробьется и сюда, узнает каждого по родинкам и швам, пускай моей не разыскать следа, тогда твою разделим пополам. Я вижу, как в вольфрамовых носках, лелея наш пастушеский разврат, мы оба принимаемся ласкать пластической русалки аппарат. Мы музыку строчим на куполах, купаемся в нарзане поутру, на маскарадных уличных балах танцуем негритянскую бурду...

За вычетом взаимных “уколов и укоров” общее опасение или даже предчувствие чего-то неправильного, “наоборотного”, грозящего произойти, присутствует и в том, и в другом голосе. И оно произошло, но чуть позднее.

А пока мы с Рейном едем электричкой в Комарово. Он везет меня знакомиться с Мейлахами: у Мирры, его давнишней приятельницы, сегодня день рожденья. По пути на вокзал мы покупаем подарок: это – игрушка, забавная “самоходная” такса, которая, если ее тащить за поводок, смешно перебирает лапами. Я, стало быть, приложение к этому подарку, но главное везется в малом – на одну папку – портфеле: магнитофонная бобина с голосами московских поэтов, которую привезли с собой Рейн и Лившиц из поездки. Весь фокус состоит в том, что ее негде прослушать, а у Мейлахов наверняка есть магнитофон, и голоса

эти будут если не подарком, то особым аттракционом к семейному празднику.

Рейн возбужден, весел. Кубистическую собачку мы уже несколько раз “выгуливали” по линолеуму полупустого вагона. Теперь он стал расписывать ее желтые деревянные бока надписями. Вот, например, одна из них:

Таксеру четвертак суя,
я говорил, таксуя:
– Задам же Мирре таксу я,
и разгоню тоску я.

Пустился рассказывать о Мейлахах: отец, Борис Соломонович – столп пушкинистики, ястреб соцреализма и сталинский лауреат. Дача, куда мы едем – о, ты увидишь, что это за дача! – хоромы, “Мейлахов курган”, “Храм на цитатах”... Зачем же мы едем туда, к таким вельможным людям? Ну, ты поймешь зачем.

Электричка с волнующими стенаниями несет нас к неясной цели. На перегоне у Белоострова разразилась сильная гроза. Поезд остановился, дернулся, остановился опять, весь в электрических вспышках и ливневом шуме. Длинными ремнями влага потянулась из-под раздвижных дверей с площадки вдоль всего вагона.

– Как дела, молодые люди? – обернулось к нам знакомое лицо с цыганскими глазами и в тюбетейке. Критик и фольклорист Дмитрий Молдавский, сочувствующий молодежи завсегдатай Дома писателей. Да, Бронислав Кежун, например, не раз захлопывал перед носом дверь на писательские мероприятия: “Только для членов Союза”. А он наоборот: “Проходите”. Что-то его тянуло к нам, но что-то и останавливало. Порой даже предлагал деньги, но не так, как Дар. Однажды в жаркий день зазвал меня к себе, разъели мы с ним арбуз, он демонстрировал свою книжную коллекцию. Показывая на собрание Хлебникова, вдруг предложил:

– Хотите взять этот пятитомник? Берите.

Не веря своему счастью, я все же спросил:

– А как же томик “Неизданного”?

– С ним я не могу расстаться.

– Ну тогда зачем разрознивать собрание?

– Как хотите.

Неужели Молдавский тоже едет к Мейлахам? Нет, он—в Дом творчества. Когда мы вышли, грозы как не бывало, только в сосновых иглах искрились от закатного солнца брызги миновавшего ливня. Опавшая хвоя на дорожках пахла, как ей положено, муравьями, стволы оплывали скипидарной смолой. У калитки нас крепко обругал здоровенный барбос, его отозвала с

крыльца благообразная женщина.

– Вы к Мирре? Подождите в саду.

Обогнув кирпичный угол и веранду, мы обнаружили с южной стороны действительно немалого дома обыкновенные грядки с зеленью и среди них – отрока с пучком укропа. Он немедленно заговорил с нами о своих наблюдениях за сравнительным ростом различных огородных растений. Его увлеченная речь складывалась в грамматически правильные сложноподчиненные предложения с причастными и деепричастными оборотами, вводными словами, обстоятельствами места и времени. То был младший сын пушкиниста, Миша, посланный, видимо, домработницей Фросей в последний момент нарвать укропу к столу. Годами позже, когда он подрос, мы подружились.

Скоро подошла молодежная компания, успевшая после грозы прогуляться к заливу. Мирра, похожая на мать, представила своих друзей:

– Физик Миша Петров. Штерны – Витя и Люда, он инженер, его супруга, впрочем, тоже.

Люда немедленно дала понять, что еще неизвестно, кто из них “тоже”, а кто “впрочем”. С Петровым у нас оказался общий приятель – Толя Кольцов, мой бывший одноклассник, был теперь его однокурсником. Мы с Женей представили желтую таксу, она прогулялась по дорожке, составляя уморительный контраст с живым и уже подобревшим сенбернаром, затем гости стали изучать надписи. Витя углядел сходство одной из них с популярным стишком “Себя от холода страхуя”, и этот момент оказался самым подходящим для приглашения всех к столу.

Боже, какие закуски! Присутствие великого пушкиниста и две-три его суховатые остроты ничуть не убавили аппетит. Фаршированные яйца! Паштеты! Салаты! Теперь я осознал ту, за всеми другими целями, главную цель, которая привела нас сюда.

От стола, откланявшись хозяйке, – к магнитофону, слушать московские голоса. Запись оказалась ужасной: кто-то ритмически бурчит, ничего не разобрать. И вдруг – сквозь шумы и хрипы – летящий женский голос, само вдохновение:

Дитя, не будь умней Отца,
не трогай этого растенья.
Его лилового венца
мучительно прикосновенье.

Это читала стихи Белла Ахмадулина, о которой только и было известно, что на ней женился уже тогда прославившийся Евтушенко. Неизвестно, кто бывает несчастнее при таких союзах звезд. Их поприща слишком уж близки, чтобы избежать соревнования, и поклонники (какая же звезда без них обойдется?)

вольно или невольно, а натравливают один талант на другой. Вот и сейчас: зазвучала она, и стало ясно, что дар ее чище и выше, чем у него.

Она не сразу стала публиковаться, но и позднее я не видел этих стихов напечатанными. Однако возвышенная, торжественная интонация чтения, не теряя нежности, заставляла увидеть слово “отец” написанным с большой буквы, вопреки запретам цензуры. Конечно же, это был небесный Отец, воспринимаемый ею не совсем дочерне – скорее интимно и, увы, не без “прелести”.

О московских поэтах мы были уже много наслышаны. Приезжал Валентин Хромов, “Боженька” Хромов, как почему-то его прозывали москвичи, прокатился по компаниям неофициалов, держался уверенно, со столичной наглинкой, но отрабатывал ее, честно доводя роль до конца. Его стихи были хороши скорей безоглядностью, чем образностью или словарем, то есть тем, что написаны они были в полной уверенности, что, собственно, стихи и не могут быть – для печати. Изредко вплетавшийся в строку матерок казался естественным и лишь подтверждал это чувство. Читал он по просьбам и чужие стихи, например, Станислава Красовицкого, и они-то вызывали настоящий восторг. “Стась – это будущий гений!” – так отзывались о его стихах и творческом потенциале сверстники, но его дар или, лучше сказать, дух совершил неожиданное сальто-мортале под куполом – нет, не цирка, но церкви. Воистину – обращение, и к этому я должен буду вернуться чуть позже.

А пока, возвращаясь к “Боженьке” Хромову, вспоминаю, как он в тот приезд едва не сорвал парад поэзии в Горном институте, как сказали бы теперь – презентацию сборника поэтов-горняков, членов ЛИТО, подготовленную Глебом Семеновым. Вот он передо мной, этот ротапринтный сборник с пометкой “На правах рукописи”, значащей, что тиража хватило лишь на участников (всего-то – 15), их знакомых, а также парт-, проф- и, может быть, рай-“комых”... Итого – 300 экземпляров. В отличие от громко-столичных это скромное культурное событие не вызвало дискуссии в прессе, ведущей к запоминанию авторских имен, но, несомненно, ему предшествовала пыльная, потная подковерная борьба – запретить или разрешить. В этом и заключалась разница между Ленинградом и Москвой – местные результаты были почти никчемны. Имена, впрочем, помнились и так; актовый зал Горного был полон, бледный Глеб Сергеевич маячил на сцене, вызывая выступающих, – это после многих наветов, объяснений, увольнений и назначений вновь был его звездный оправдательный час: в трех первых рядах сидела администрация, местный партком, районная идеологическая команда и все, “кому

следовало”.

А со стороны глядя – перепуганным кукольником Глеб выдергивал своих марионеток, одетых в геологические тужурки, на сцену.

О берестяном ковшике ледяной воды в жаркий день, о солидарности пропотелых спин проскрежетал своим жестким от природы голосом Британишский.

– Хорошо, крепко сделано, а тематически – так совсем “в жилу”, – переговариваемся мы с Рейном.

Романтический, тоже в тужурке, Александр Городницкий читает о взрослой ревности и измене, и комсомольцы в его стихах уже готовы бодаться, как козлики или бычки (передние три ряда да и все последующие напрягаются: как он решит эту полузапретную тему), но “коду” выводит поэт инфантильную, пуская малышовые кораблики:

а что девчонки? Только плакать
да жаловаться мастера.

Шумно, как всегда перед выступлением, шмыгнув носом, Агеев прочитал тоже что-то любовное в народном, некрасовско-есенинском стиле. Называлось это снижающе, но прочувствованно: “Кобыла”.

Не совсем подходящее к его рыночно-площадному стилю, слишком филармоническое название “Зимняя сюита” выбрал для своего цикла стихов о замерзших ушах влюбленного, спешащего на свидание, Горбовский. И не горняк, но – свой! А прочитал – эффектно, переведя внимание зала на быт и на юмор.

В целом выступление проходило удачно, и Семенов, желая, видимо, подкрепить это чувство реакцией живого и дышащего собрания, предложил выступить слушателям с их оценкой.

Тут-то “Боженька” Хромов и вылез на сцену:

– Горняки! Геологоразведчики! Я не слышу стука геологических молотков в ваших стихах! Где в них – романтика труда? Где – находки и образцы редкоземельных элементов и руд? Где самородки?! – застучал он по кафедре кулаком. Перстень на его руке делал этот звук особенно резким.

– Лишаю вас слова! Если вам не нравится – уходите! – аж заверещал на него Глеб Семенов от неожиданности. Он, как наседка, защищал свой выводок, свое коллективное детище, но не от Хромова, конечно, а от идеологической комиссии, сидящей тут же. Зал загудел. Первые три ряда, наоборот, выжидательно замерли.

Скандалист удалился. При чем тут “геологические молотки”? Их как раз было достаточно в стихах горняков. Что-что, а тема труда, из числа дозволенных начальством и поощряемых, была

ими представлена, как требовалось, – и реалистически, и романтически... Более того – это была, собственно говоря, единственная тема, смыкающая их творчество с официальным, – и ничего не было ни про армию, ни про державу, ни про... Нет, про партию, впрочем, кое-что было – у Льва Куклина, но совсем уже криво-усмешно и самопародийно: мамаши на демонстрации вывозят в колясках своих малышей, а на них —

заботливо смотрит Большая Партия,
самый главный отец из отцов.

Нет, не только редкоземельные элементы , но даже самородок у них был – Глеб Горбовский: кудлат, самобытен, с сарказмом уже бывалого жителя этой планеты. Служил, во время учений двое суток прятался под избой, то ли симулируя военную хитрость, то ли нерассчитанно пустившись в бега... В его пьяном рассказе об этом упоминались какие-то танки, которые он в помрачении принял за истинно вражеские... До срока вернулся из армии без двух пальцев на левой руке; оттяпал их себе топором – то ли случайно, то ли намеренно, из протеста. Это подпадало под “самострел” и подлежало военному суду, но дело замяли, потому что несчастье произошло во время колки дров, когда его использовал офицер в своем личном хозяйстве.

Жил поэт в дремучих коммуналках сначала на Васильевском острове, затем на Пушкинской улице у Московского вокзала, и нагая неприглядность быта, выраженная с просторечивым сарказмом, стала стилем и сущностью его стихов, разумеется, не для печати. Именно это плюс хмельное буянство создавало о нем легенду наподобие есенинской. Но вот все-таки захотелось в люди и написал свою “Сю-сю-сюиту”.

Да, в чем был прав дерзкий москвич, – это общее жгучее желание напечататься, по-своему выраженное каждым из участников, и тут он оказался их выше. И – заявил о себе!

– Зачем заткнули Хромова? Верните его на сцену, дайте высказаться! – вдруг заревел Рейн, сидящий рядом со мной.

– Уходите и вы! Вам не удастся сорвать нам работу! – указал ему на дверь Семенов.

Вышел и я за ним в коридор. Хромова там уже не было.

– Ну куда пойдем? – спросил я, считая, что за мою поддержку с него причитается хотя бы пара пива.

– Знаешь, я тут... Мне надо кое к кому зайти, повидаться...

К кому тут можно зайти? Явно ведь, что все – в зале... Не хочет ли он вернуться? Возмутившись таким предположением, я двинулся к выходу. Ветер с залива накинулся, заткнул мне рот, закрутил и, подталкивая в спину тощего гэдээровского пальто, погнал меня вдоль набережной. До остановки 6-го автобуса было

еще пилить и пилить...

Рейн зачастил в Москву, и скоро причина его поездок объяснилась – не литературно, но романтически. Собрав у себя друзей, он представил их своей московской гостье Гале Наринской, а ее– им, как бы на одобрение:

– Знает множество стихов. Почти всю Цветаеву – наизусть! А умыться может в ложке воды, не хуже француженки.

Яркая, стройная, черноглазая и чернокудрявая, она заканчивала Нефтяной институт и по бесспорному праву признавалась там “Мисс Нефтью”. Попросили ее почитать из Цветаевой. Она мило отнекивалась, вполне искренне. И – тактично и вовремя согласилась, чтобы не выглядеть ломакой.

Я любовь узнаю по боли
всего тела вдоль...
Я любовь узнаю по трели...

В любви – все специалисты, а тут еще – все поэты. Заспорили, как ее верней распознать. Разгорячился даже всегда ироничный Илья Авербах:

– По трели? Это же – любовь филистеров. Конечно же, – по щели! По трещине! Именно – “всего тела вдоль”...

Он в это время ухаживал за Эйбой. Любовь, а верней – желание ее заполняло пространство вокруг и внутри нас, как пятая стихия, в которой мы плавали, ныряли, летали, кувыркаясь, как на батуте, своими помыслами и стихами.

Я вдруг зацепился взглядами в “Подписных изданиях” на Литейном с Вичкой А-ич и буквально заболел ею. Она в то время уже была сговорена с Мишей Б-млинским, и отступать от этого не собиралась. Но и своими взорами явно не управляла: впивалась зрачками в зрачки, закусив губу, и вибрировала. Толя Найман меня лечил, привозя к Мише в дом рядом с Мальцевским (имени поэта Некрасова) рынком, – туда, откуда, кажется, был увезен арестованный в августе 21 года Гумилев. Миша, непризнанный художник-карикатурист, не унывал и был готов обеспечивать будущую семью шитьем брюк. Мы застали его, когда он утюжил очередную пару. Я, исполнясь цинизма, захотел сделать ему заказ, но он заломил цену. Непонятно как, эта бытовая картина да два-три стихотворения, посвященные Вичке, исцелили меня на время.

Но мы еще зацепимся с ней взглядами позже, в компании за столом в писательском кафетерии, и она при всех, при муже, но, конечно, скрытно от глаз, вдруг полезет мне под штанину и станет гладить щиколотку и голень, и мне не останется ничего, как завибрировать самому. Потом в городе и ненадолго в ее жизни появится Галич, потом Нагибин. Потом... Потом она станет

писательницей и образцом добродетели.

А тогда – требовала своего и Техноложка, хоть и не любви, а внимания. Ей доставались остатки. Но – счастливый предлог! – образовалась возможность поехать в Москву на практику, и я, в восторге от неожиданных щедрот, хватал на лету билет на сидячий поезд.

Там же в это время был и Рейн по своим литературно-разветвленным и, в сущности, никуда не ведущим делам. Но разве этого мало – быть, где всегда что-то происходит, провозглашатся, превозносится, падает и перепадает? А к тому же и не на шутку разворачивающиеся отношения...

Я побывал у сестер Наринских в дружески задымленной клетушке на Кировской-Мясницкой, вход со двора, второй этаж, и оттуда мы тесной компанией отправлялись в другую, очень похожую клетушку, куда-то в пространства иных московских кривоколенных углов – и на верхотуру, к поэтессе Гале Андреевой (не связывать с Андреем Сергеевым, который был там же). Хозяйка крохотного салона, вмещавшего не менее дюжины избранных, держала в руке длинный мундштук с сигаретой, часто поворачивалась в профиль, была сероглаза и хороша: выпуклые губы, сексапильно приподнятый нос, открытая шея... Ее ни на минуту не оставлял без внимания красивый шатен с грузинской фамилией, к тому же и композиторской. Уверенный и умеренно-оживленный Леонид Чертков, суховатый и холодноватый Андрей Сергеев (не путать с Андреевой, хозяйкой), уже известный Хромов. Красовицкого не было, а жаль. Зато был некто неопрятный и мешковатый, одетый в толстый заношенный трикотаж. Вел он себя вольно, иногда даже почесывался в паху и улыбался невпопад, закидывая стриженную шаром голову назад, и это усугубляло своим контрастом чопорность всей компании. Чей-то, как видно, родственник...

Стали читать стихи. Хозяйку прослушали терпеливо и вежливо. Мои иронические полураешники, несмотря на их словесные фокусы, встречены были, увы, сдержанно. Рейн читал свое ударное “Яблоко”, написанное крупными мазками слов, – так, что неприятие его было бы равносильно отрицанию левой живописи, и это задело внимание компании.

– Оно было желто. Хорошо, кругло, – заметил и защитил неправильность Леня Чертков.

– Тогда уж – кругло, – повисло в воздухе чье-то замечание.

То свое, что Чертков прочитал затем, было как раз правильно, даже до жесткости в четко выверенных анапестах, которыми он воспевал заготовку и рубку дров. Тоже ведь – труд, но хотя б не “во благо чего-то там”, а ради себя и для собственной печки.

Ровные кругляши строф раскалывались на строки и укладывались в поленницу этого энергичного стихотворения, закончившегося “лошадиными дозами крепкого сна”. Акмеизм, но демократический, напоминающий Михаила Зенкевича, что ли? Или – Владимира Нарбута?

Андрей Сергеев был уже знаком по той бракованной ленте, прослушанной на даче у Мейлахов. Там он читал смутно доносящиеся стихи, в которых угадывался греческий миф о гермафродите, причудливый и пряный. Что-то в таком духе, как расслышалось и запомнилось: “Дымились горы, стыли реки, дрожали тени по углам, и Бог оставил человека, расколотого пополам. Души и тела половины протрепетали на весу. Мужчина поднялся в пустыне, очнулась женщина в лесу”. Части целого блуждают по свету, чтобы снова слиться в одно, а когда находят друг друга, слышат голос сверху:

Вы стерли души на пути,
теперь вы несоединимы.

Эстетизм, но трогательный и даже жизненный, особенно в пору любовных поисков, которыми все занимались наряду со стихами! Что же поэт написал с тех пор? Но Сергеев отказался читать “это старье” и взамен стал ошеломлять виртуозными переводами из Джойса: “Поминки по Финнегану”, “Поношение Хости”...

Сколько саркастических словесных трюков, веселого и лихого издевательства над противником! Неужели это еще и соответствует оригиналу? Кто читал, говорит – да:

Вы слыхали о скверном жирном,
о его злодеянии черном,
о падении подзаборном
и о том, как наказан порок?
Наказан порок:
нос между ног.
Балбаччо, балбуччо!

Чего там только не было: позорился некий “Псевдо-Дант”, происходили ирландско-британские выяснения по поводу самого

адмирала Нельсона, который, “на служанку наставив ружье, украл ее девственно-е!” Переводы, даже если это были “переложения из”, в тот вечер звучали мощней и ярче наших стихов. Моя память вынесла оттуда еще одно, и не худшее стихотворение, а был то перевод или оригинал, и чей, я установить не успел. Но и теперь люблю повторять его, прежде чем заснуть. Вот оно:

Патриции гордо спят на спине,
рабы спят, лежа на животе,
меняла спит на правом боку.
Гораций, вспомни, что ты поэт:
к жесткому ложу сердцем прижмись
в безумной надежде на страшный сон.

Если искать эстетическую формулу всему, услышанному в тот вечер, то она невзначай была высказана Чертковым в двух словах. Не без гордости он вдруг объявил: “Я придумал название для книжки Стася: “Дневник капитана”.

Да, мужественно и интимно. Двусмысленно-романтично. Картинно и фривольно. Поздней я увидел у Рейна машинописный, конечно, сборник Красовицкого. Это была одна из двадцати копий, снабженных его автопортретом: лапидарная линия рисунка, действительно, выглядела иронически и элегантно. Но название было другим.

Заговорили об абсурде как таковом и о том, что лишь ирония сообщает абсурду смысл. Конечно, вспомнили об обэриутах и Заболоцком, заспорили, кто из нас верней цитирует его “Торжество Земледелия”. Тут взгляды москвичей устремились на переминающегося в углу “чьего-то родственника”, которого я уже посчитал за слабоумного. И он пустился наизусть, страницу за страницей, шпарить цитатами из этой поэмы. Оказалось, что у него – невероятная, машинная память, приобретенная, увы, внезапно и драматически. Интеллектом он, правда, всегда был так себе, особенно если принять во внимание, что поехал кататься на мотоцикле без шапки, да еще в межсезонье. Пошел мокрый снег, и он вернулся домой с ледяной коркой на голове. Слег в горячке. Думали, помрет, а он выжил с фотографической памятью: запоминал тексты, даже не читая, а лишь взглянув на страницу.

Стали проверять его память по “Столбцам”, пока не выскочила из него строка: “Людоед у джентльмена неприличное

отгрыз”. Естественно, с удовольствием заговорили о неприличном. Конечно, академическим тоном, с видом знатоков и глубоких эрудитов. Провинциалы, то есть мы с Рейном, шокированы не были и вовсю забавлялись услышанным. Однако вмешалась хозяйка салона, да, кстати, и пришла пора расходиться.

Вскоре после этого вечера Чертков, по его выражению, “на вокзале был задержан за рукав”, и задержание это растянулось на пять лагерных лет. Освободившись, писать стихи он стал меньше и реже, переехал в Ленинград, женившись на филологине Тане Никольской, превратился в историка литературы и архивариуса, а в творчестве перешел на прозу, которая мне нравилась, пожалуй, больше, чем его стихи, – именно в ней было что-то от “дневника капитана”. Потом он эмигрировал, одним из первых из моих знакомых, объявив это в последний момент. Я заторопился на проводы, чтобы успеть спросить до прихода всей публики: “Зачем?” Он ответил, и мне его ответ пригодился позднее, когда пришлось самому объясняться перед непонятливыми: “Мне уже сорок, и сколько еще отпущено лет впереди, неизвестно. Но более или менее предсказуемо, какова будет моя жизнь здесь, и эта перспектива мне скушна. А там, на Западе – что-что, а новизна гарантирована”. Он поселился во Франции, преподавал литературу в Тулузе. Предложил показать мне “свой Париж”, когда мы оба оказались там, но тот вечер был у меня занят, а другого не случилось. Потом он жил в Кельне, издал книгу стихов “Огнепарк” и вдруг умер.

Сергеев, как известно, ушел в переводы с английского. Дружил с Бродским. Суховато и холодновато встретился со мной в иллинойской Урбане. Опубликовал в журналах очаровательные воспоминания о детстве и мемуарный очерк “Мансарда окнами на Запад”. И внезапно его жизнь прошла: он был сбит машиной на одной из московских улиц.

А Николая Шатрова, еще одного “капитана” дальнего поэтического плавания, я узнал только за пределами его жизни. Рецензию на первую книгу умершего поэта, вышедшую усилиями Феликса Гонеонского и Яна Пробштейна в Нью-Йорке, я назвал по его строке “Пригвожденный к стиху”. Странно, что Сергеев его помянул в очерке об их общем кружке лишь мельком, да и то с неприязнью. А ведь Шатрова признавал Пастернак, признавал Тарковский. Стихи его – просты, но выразить он мог всё, и прежде всего свой характер, не уступающий лжи ни на полшага. Говорил он с читателем “как власть имущий”, а в действительности читателей не было. Странная, нелепая судьба: на него наехал снегоочиститель, водитель которого заснул за рулем. Он был

тяжко покалечен, болел, зарабатывал гроши. Но, видимо, бывал счастлив в любви: у него немало нежных и чувственных стихов. И был он счастливо награжден волевой, требовательной верой в то, что будет наконец прочитан. Вера эта сбылась, а об остальном он рассудил так:

Кто мене даровит? Кто боле даровит?
В конце концов покажет время.

Не правда ли? На том памятном вечере его, как и Стася Красовицкого, не было.

У восходящей звезды

Домой из Москвы не тянуло, зато очень хотелось повидаться с обладательницей того заочного голоса с магнитофонной пленки, который очаровывал воображаемым обликом, как очаровал ведь однажды влюбчивого короля золотой волос Изольды. Используя уже испытанную технику, мы с Рейном остановились у киоска “Мосспрaвки”.

“ Ахмадулина Белла Ахатовна, год рождения 1937”, – уверенно написал он на бланке плавными завитками своего почерка.

Молодожены-знаменитости ютились в квартирке хрущевского образца в районе новостроек, уже, впрочем, обжитом. Когда она открыла нам дверь, ее облик, хотя и не Изольдин, совершенно слился с голосом и навсегда стал обозначать только ее, Беллу.

Наш приход был данью признания именно ей, и хорошо, что она оказалась одна: мы смогли это высказать. И мы застали ее, может быть, в последние “пять минут” ее литературной жизни, когда она еще была для нас “своей” – такой же, как мы. “Они”, то есть официальная, организованная и в сущности своей сервильная, а стало быть, бездарная литература, старались загнать нас в самодеятельность, помещая куда-то в один ряд с выпиливанием лобзиком и уроками игры на баяне. Мы возмущенно сопротивлялись, и Ахмадулина, казалось, была с нами, а Евтушенко, хоть и двусмысленно и с оговорками на талант и прогрессивность, все-таки с “ними”. Но эта граница иронически исчезала где-то там, в комканной пестроте одеял и

подушек супружеской комнаты.

– Там беспорядок. “Гибель Помпеи”. Посидим лучше на кухне, – предложила хозяйка.

Пуделек редкой шоколадной масти выбежал из постельных развалин и ткнулся мокрыми усами в ладонь. Повсюду в хаосе неубранной квартиры виднелись яркие пятна заграничных одежек, этикеток, журналов. Стены прихожей, приоткрытой спальни и даже кухни были завешены современной живописью, придававшей квартире карнавальный вид. “Это – Васильев”. Две руки тянулись по диагонали к двум другим, тянущимся навстречу. “А это – Целков”. Натюрморт, яркий и мощный, как если бы Машков или Кончаловский остановились в разбеге к Фернану Леже.

– Вы хотите вина или водки?

– Да собственно... Пожалуй, вина.

Нам была выдана бутылка “Напареули”, хозяйка налила себе водки.

– Мальчики, вы уже были в Сокольниках? Там в парке – интересная выставка. Сходите, не пожалеете...

Но не об этом же нам сейчас разговаривать. Заговорили, конечно, о стихах. О ее стихах, о “Боге-женихе”, о “девочке Настасье” и очевидной невозможности их где-либо напечатать. Она легко отмахнулась:

– Ну, те стихи уже дело свое сделали. Их планида была – стать по душе Павлу Григорьевичу Антокольскому, и он взял меня вне конкурса в свой семинар в Литинститут.

Это – словесная игра, но игра, ведомая виртуозно. Слова, после малой паузы, подыскиваются редкие, даже изысканные, однако точно поставленные на места во фразах, они нисколько не нарушают естественности речи.

– Планида этих стихов – вдохновлять. Вы уже вдохновили меня на подражание им. Послушайте:

Зачем ты трогала у ветра
его моторы и рули?..
.....
И месяц вдруг повис молоденький
средь бела дня, невесть откуда.

– Да, похоже... Я вижу, вы пользуетесь моим способом рифмовать: “мелодии – молоденький”.

– Я думал, это напомнит вам скорей евтушенковские рифмы

типа “Маша – мама”...

– Да, Женя вовсю пользуется моим открытием, и я никак не могу ему препятствовать. Между тем я эти принципы изложила в курсовой работе, которая так и называется “О рифме”. Там описан еще один, сверх остальных – “Принцип отдыха рифм”. Он заключается в том, что сложные и необычные рифмы должны чередоваться с банальными, потому что слух отдыхает, покоясь на обыкновенном.

Нет, они не ленивы, как можно подумать. Они любопытны в пушкинском смысле этого слова. Их семинар собирает одаренных людей отовсюду. Вот Иван Харабаров, сибирский самородок и богатырь. Или Валерий Тур, сын известного драматурга. Помните словосочетание “братья Тур”? Один из тех братьев – отец Валерия. Или – Юрий Панкратов, у которого самый свежий голос, когда-либо услышанный ею:

О, как торопко ты померкла,
сирень в блестящем целлофане!
О, эта робкая примерка
двух губ при первом целованьи...

И, кстати, он тоже рифмует “молоденький” и “молочницей”.

Тут щелкнул замок, вошел ее муж – усталый, раздраженный, подозрительный, но, черт возьми, знаменитый.

– Опять ты пьешь! А собаку ты выводила?!

– Женя, это поэты из Питера. Вот – Дима Бобышев, Женя Рейн...

Он, конечно, не нуждается в представлении. На нас якобы ноль внимания. Голубой глаз, как у снайпера, желтая челка падает на морщинки лба.

– И ты принимаешь их в таком бедламе? Немедленно убери квартиру!

Мы с Рейном дружелюбно галдим:

– Да что вы, ей-Богу! Да присоединяйтесь...

– Женя, тебе водки или вина? – игнорирует мужнины упреки Белла.

– Нет, только шампанского!

Странное дело, нашлось даже шампанское. Правда, из уже открытой полбутылки, но все же из холодильника и с намеком на игристость. В этот момент зазвонил телефон, и Белла схватила трубку:

– Да. Нет. Не сейчас. Нет, никак не могу. Да. Да. Перестань!

Ты же знаешь. Потом.

Муж опять взвился:

– Я тебе сказал: “Убери квартиру”! Вымой немедленно пол на кухне!

Мы с Рейном поднялись.

– Спасибо за угощение. Нам пора.

Белла:

– Ну что вы! Спасибо, что не обошли меня вниманием. Я сейчас отвезу вас в центр. Я обожаю водить мой “Москвич”!

Муж:

– Ты никуда не поедешь! Я отвезу их сам.

– Ты не сможешь.

– Посмотрим!

Действительно, внутренняя борьба с собой и сражения с автомобильным мотором потребовали какого-то времени. Наконец Евтушенко отвез нас до кольцевой станции метро, где мы расстались. Их брак с Беллой просуществовал недолго. Его я увижу еще, ее – тоже, но уже с новым мужем, коренастым, маститым рассказчиком-лауреатом, вышедшим на минуту взглянуть из гостиничного номера на литературную мелочь, поклонников его жены.

Велеречивая манера ее стихов бывала уместной, когда совпадала с возвышенностью темы – любовью или печалью. Но по несоответствию с темой случалось ей быть самопародийной и многословной, через силу отрабатывающей какое-то литературное задание. Знаменитой ей пришлось стать немедленно после нашей встречи – и на десятилетия вперед... На 200-летии Пушкина мы, уже сами чуть моложе юбиляра, встретились в банкетном кабинете дома Энгельгардта, или Малого зала Петербургской филармонии. Вернее, я познакомился сперва с ее новейшим мужем, живым широкоглазым художником, а он подвел ее ко мне.

– Белла, вы помните меня?

– Ну, конечно, я всегда говорила, что ленинградцы меня читают и ценят больше, чем москвичи...

Померкшая красота, сгоревший взгляд, усилившийся эгоцентризм. И почти тот же голос.

Вокруг Косцинского

То, что молодых литераторов тянуло к старшим, было

неудивительно: они искали покровительства. Удивительным было другое – то, что кое-кто из них его находил.

Например, кто такой Назым Хикмет? Без труда, хотя и не без гримасы, вспоминалось: сталинский лауреат, “прогрессивный” поэт, бежавший из турецкой тюрьмы, куда он был заключен за пламенную любовь к товарищу Сталину и к поэзии Владимира Маяковского.

А кто такой Лев Халиф? А вообще никто, квадратный корень из минус единицы, то есть мнимая величина, поясним это для тех. кто не кончал Техноложки... Но вот Хикмет написал о Халифе в “Литгазете” заметку “Счастливого пути!”, там же поместили портрет брюнетистого молодого человека, несколько неплохих стихов – и дело заиграло! Халиф стал знаменитостью (так и подмывает сказать “на час”), вошел победителем в ресторанный зал ЦДЛ да и остался там безвылазно на полжизни. Интереснее всего то, что и Хикмет от этого выиграл: вызвал любопытство к себе, оказавшись не только не ретроградом, но с помощью своей умной и хитрой переводчицы Музы Павловой перешедши со ступенек маяковской лестницы на шаткие верлибры, стал совсем даже наоборот – поэтом европейского кругозора... “Солома волос, глаз синева”, – это он о какой-то московской красавице. Не хуже, чем переводы из Элюара. Любит блондинок, как все черноморцы. Все-таки турок. А Халиф? Нет, он не турок, пышная его фамилия обманчива.

Но это – в Москве; в Питере знаменитостей поменьше, и они поскромней. Геннадий Гор. Прозаик-фантаст, пишет для юношества, с сочувствием относится к литературной молодежи. Отнюдь не какой-нибудь идеологический мракобес, но, конечно, советский писатель: долбаный, дрюченый, “проваренный в чистках, как соль”, – добавим из уже найденного нами тогда Мандельштама. И – что он может сделать для Вольфа, например? Или – для Наймана, начавшего пером любопытствовать в прозе? Рейн, кстати, тоже пустился повествовать и рассказывать о своих камчатских шатаниях не только в стихах. Да и я сочинил несколько безыдейных опусов в духе Олеши. Вряд ли этот робкоголосый Гор заступится за нас, загнанных в темный угол. Его и до “Литгазеты”-то не допустят. Он может лишь угостить нас чаем с печеньем, что он и делает.

Стены его квадратной гостиной увешены необычной, но и какой-то блеклой словно на сыромятину нанесенной живописью. Гор оживляется, говоря о ней: это произведения самодеятельных художников малых народов Севера, он написал о них книгу и организовал выставку в Этнографическом музее, что жизненно помогло некоторым из авторов там, у себя, утвердиться.

Картины эти, конечно, не профессиональные, но стильные, и стиль их скорей всего напоминает наскальные рисунки с их натуральными красками: то же отсутствие перспективы, такие же олени, глухарь на ветке, белочка вниз головой на стволе сосны, коротконогий охотник, целящийся в нее из ружья. Эта перевернутая белочка как-то особенно убеждает в подлинности. Кого или чего? Ее самой, охотника, живописи... Гор вглядывается в наши лица, как бы высматривая, нет ли среди нас представителей малых народов Севера. Нет, к сожалению.

Другое, совсем другое дело – Кирилл Косцинский, он же Кирилл Владимирович Успенский (от природы имея литературную фамилию, зачем-то выдумал себе польский псевдоним!). Помню его остроугольный нос, косую челку с проседью, серо-голубой, но пронзительно глядящий глаз, кадык, жилистость лица и фигуры. Говорил он не очень складно: сначала раздавалось эканье-меканье, переходящее порой в некоторое блеянье, а затем выпаливалась отрывистая фраза, из которой торчали и ирония, и намек, и параллельный смысл.

К нему шлялась молодежь не за помощью – он и обругать мог, а мог и выставить бутылку коньяку. Да, именно этот золотистый напиток я запомнил во время первого посещения квартиры Косцинского, находившейся в самом великолепном месте города, на канале Грибоедова у Банковского пешеходного моста с грифонами. Народу было много, и Косцинский щедро угощал: он праздновал выход книги рассказов “Труд войны”. Не Бог весть что, еще одна книга о войне, которую он прошел капитаном армейской разведки. Между прочим, своей капитанской властью остановил расстрел австрийского кабинета министров, захваченного в плен скорыми на расправу освободителями. Разумеется, этой истории в книге не было, и вообще его боевой опыт на качестве прозы не сказался, но на литературном поведении – несомненно: в правлении Союза писателей ежились от его неожиданных резкостей. Свою книгу он мне подарил с надписью: “Диме Бобышеву с пожеланием, чтобы его проза была не хуже его стихов. Кир. Косцинский, Лнгрд 11.3.57”. Легкий намек – не за свое дело не берись. Да я и сам так считал.

В его празднуемой книге (редактор Сергей Спасский – уже в траурной рамке, увы; одна повесть дипломатично посвящена Вере Федоровне Пановой) был все же рассказ, отличный от других фронтовых историй. Написан он был откровенно несамостоятельно, нарочито следуя всем особенностям стиля автора “Войны и мира”, но это оправдывалось предметом: описанием танковой атаки, в которой только военная техника

отличала бой от сражения под Аустерлицем. Подражание перу Толстого было настолько явным, что это сработало как литературный прием! Сработало и другое: он там был.

Силу этого обстоятельства я понял значительно позже, сам побывав в моравском городишке Славков. А это и был раньше Аустерлиц. Сверху, от так называемой Могилы Миру, то есть памятника, высившегося в обзорном месте у деревушки Праце (я моментально перевел название на русский как “село Работно” да так и запомнил), виднелись склоны холмов с полями угодий, рощицы в ложбинах, – всё как на ладони, хоть опять нагоняй туда конницу, ощетинивай штыками редуты, наполняй воздух облачками разрывов, поливай все это кровушкой. Стела Могилы с крестообразным завершением и четырьмя опорными фигурами как раз и отдавала военные почести на трех языках из четырех – французском, немецком и чешском – погибшим солдатам: своим, союзным и вражеским. А на русском языке – только своим. Вот вам и рыцарство!

Тогда у Кирилла собралось сразу три литературных компании: наша с Рейном и Найманом, ереминско-виноградовская и “взрослая”, собственно косцинская. Это был кругловато-заурядной внешности Валентин Пикуль, которому оставалось еще года два до того, как он станет самым читаемым романистом на Руси, да фантаст Север Гансовский с выражением задумчивой обиды на полнеющем, но еще тонком лице – это он впоследствии “сдаст” хлебосольного друга в КГБ. Поэты читали стихи, прозаикам оставалось лишь поджимать губы.

– Надо писать, как Кай Валерий Катулл, – вдруг заявил Пикуль.

– Как Валерий Тур? Москвич?

– Нет, не москвич, а римлянин. И даже весьма древний. – И он четко и с удовольствием прочитал наизусть стихотворение “К Лесбии”.

– У теперешнего народа кишка тонка так писать! – заключил Косцинский.

Во время венгерских событий его квартира напоминала штаб – если не сопротивления, то интенсивного сочувствия: звучали радиоголоса, на столе были разложены карты Европы. Кирилл был язвителен и азартен, видимо, и тут сказывался эффект былого присутствия: он видел не карту, а местность. Разворот Дуная, мост, подъем на Пешт, раскинувшаяся внизу Буда – и “наши”, то есть хрущевские, танки. В ту пору я к нему заходил, чтобы узнать, “что слышно из Будапешта”, либо же самому сообщить что-нибудь вроде: “Имре Надь арестован, конвоирован в Болгарию”.

Когда я все-таки повел к Косцинскому Генриха, перед самой дверью меня осенило: я, может быть, веду к нему стукача. Но дверь уже открывалась. Что ж теперь делать? На полках кричаще выделялись белогвардейские дневники и воспоминания, это была гордость его коллекции, бледным шрифтом на папиросной бумаге пучился явный самиздат, всюду пестрели корешки нелегальщины.

– Кирилл Владимирович, вот этот молодой человек, по-моему, точный Хемингуэй, – необычным образом представил я приятеля.

– Что же, он пишет, как Хемингуэй? Так после папаши Хэма – это ж не фонтан!

– Да он вовсе не пишет. Зато как выглядит, смотрите: вылитый Хемингуэй.

– Ну просто выглядеть – это и вовсе не фонтан!

– Не скажите, Кирилл Владимирович... А плечи? А мужественный вид?

Косцинский выстреливает в меня взглядом, и то, что он видит, ему не нравится: что-то вы, ребята, выкобениваетесь, уж не "голубые" ли вы, или пьяные, или чего еще? – и он мгновенно решает:

– Вот что, братцы, я очень занят. Прошу извинить. А вас, Дима, рад буду видеть как-нибудь после.

С Генрихом я больше не виделся. Да и к Косцинскому долго не заходил – было неудобно. А между тем над ним разразилась беда. Блистательный маэстро Леонард Бернстайн прилетел с гастролями в город на Неве. Музыка к "Вестсайдской истории", симфонические синкопы Гершвина, еще раз собственный фортепьянный концерт, – словом, "его дирижерское, композиторское и исполнительское обаяние покорило ленинградцев", и в Филармонию было не попасть.

А вот Косцинскому было попасть, он даже лично встретился с американской знаменитостью и более того: нарушив все поднадзорное расписание обедов, посещений и встреч, увез того, оторвавшись от наблюдения, на какую-то дачу и там, видимо, "хорошенько прочистил мозги этому розовому либералу".

Где-то в Смольном хряпнули кулаком по столу, в доме 4 по Литейному хлопнула дверь, и Косцинского арестовали. Шили ему "антисоветскую агитацию и пропаганду" – бывшую 58-ю статью, милостиво измененную Хрущевым на 70-ю, а заодно прочесывали с помощью допросов и обысков целый слой художественной интеллигенции. "Прочесанные" помалкивали, как говорили тогда, "в тряпочку", но не все. Художник Олег Целков, например, рассказывал, что следователь проигрывал ему записи, подслушанные за столом у Косцинского, и требовал их

подтвердить. Звучали витийствующие голоса Кирилла, Олега, других знакомых...

– Нет, не могу подтвердить! – упрямился Олег. – Мало ли что? Может, вы разыграли всё это с актерами. Стржельчика пригласили из БДТ, Копеляна...

Это было самое правильное поведение. Записи нельзя было привести в суде как доказательство, а подтвержденные показания свидетелей – можно. Мише Еремину при допросе демонстрировали подобную, а может быть, и ту же самую запись. Следователь замешкался ее вовремя выключить, наступила пауза, и вдруг ясно и громко, прямо в микрофон прозвучала фраза:

– Да здравствует ВЛКСМ! Это говорю я, Яша Виньковецкий.

То есть о прослушивании не только знали хозяева и гости, но еще и над этим пошучивали.

Вызвали и меня.

– По какому делу?

– Там узнаете.

Пришлось явиться. А этот вопрос нужно было задавать. “Дело” означало не повод для разговора, а папку, следственное дело. На кого и по какой статье? Без этого можно было и не являться. Следователь сказал:

– Уверяю вас, ни по какому конкретно. Но Технологический институт распределяет вас на предприятие почтовый ящик сорок пять, это – закрытое учреждение с режимом секретности. Нам нужен ряд дополнительных сведений о вас для Первого отдела.

Следователь, лица которого я не запомнил (в этом, должно быть, состояла одна из особенностей его профессии), уходил, приходил, куда-то звонил, долго писал, задавал множество мелких вопросов, записывал мои ответы на специальных бланках... Словом, не торопился. Между прочим, спросил:

– Как вы расцениваете свое участие в издании и распространении газеты “Культура”?

– Это же была стенгазета в одном экземпляре. Расцениваю как несерьезное занятие, забаву.

– А как вы отнеслись к критике парткома, к выступлению “Комсомольской правды”?

– К парткому – серьезно. А “Комсомолка” критиковала в обидных выражениях: например, “мальчишеское невежество”... Но с тем, что это было мальчишество, согласен.

– Какова роль Бориса Зеликсона в этом “мальчишестве”?

– Он все и начал.

– А вы сами собираетесь в дальнейшем заниматься подобной деятельностью?

– Нет.

– Подпишите.

Но что же это он за меня написал?

“Своего участия в издании и распространении антисоветского печатного органа, вызванного моей политической незрелостью, не отрицаю...

Справедливую критику партийного комитета воспринимаю со всей серьезностью...

Подстрекательскую роль Бориса Зеликсона осуждаю...

В дальнейшем антисоветской и антисоциалистической деятельностью обещаю не заниматься...”

Что я должен был сделать? Редактировать каждое слово? Да пропади она пропадом, эта бумажка! Раз отпускают, скорей надо уносить ноги.

Я вышел на Литейный проспект. Было ясное небо, но уже вечерело, свет казался померкшим, пыльным. Всеми порами я ощущал себя пропитанным этой невидимой пылью, потным. Хотелось отряхнуться, а еще больше – залезть с мочалкой в глубокую ванну.

Сколько лет отбыл Косцинский в Мордовии? По крайней мере года четыре, тогда это был стандартный срок. Но, едва он вернулся, я поспешил к нему. Проседи в голове прибавилось, шкиперская бородка совсем поседела, но был он так же прям и жилист; вид – боевой. Только на правой руке, видимо, повредил сухожилие: подавал он не раскрытую ладонь, а три пальца с поджатыми безымянным и мизинцем. Ну – как?

– Вы знаете, там, конечно, гадко. Но эти годы я не считаю бесполезно выброшенными. Наоборот. В сущности я даже рад, что оказался в лагере.

Позже я не раз слышал подобные похвалы заключению от бывших зеков. Но тогда это меня ошеломило:

– Что же вы делали хорошего – лес валили? Кирпичи обжигали?

– Нет, попросту был прорабом в пошивочных мастерских. А работал я над коллекцией для словаря ненормативной лексики, иначе говоря – “блатной музыки”, или “фени”. Подобного словаря пока не существует в природе, и где ж его собирать, как не в лагере? А коллекция – вот она.

Два фанерных чемодана, набитые картотекой.

– Зековской работы. Есть еще два, да лень их вытаскивать. А каждая карточка – это слово, его толкование и не менее двух примеров словоупотребления. Да что там! У меня же на днях выступление в Математическом институте Стеклова. Приходите.

Ай да Кирилл: из зоны – прямо на выступление! Никаких афиш, но довольно много любопытствующих. Тема уж больно

экстравагантная. Косцинский подает ее своим обычным слегка блеющим голосом, отрывистыми фразами, но весьма наукообразно. То и дело повторяются “Бодуэн де Куртенэ” да “Воровской словарь Одесского угрозыска (для служебного пользования)” – единственные его предшественники. Остальной материал – необозримая целина.

– Переходим к примерам. “Оголец” (форма множественного числа “огольцы”) – в обычной разговорной речи так называют мальчика-подростка. В жаргонном толковании – это мальчик-подросток, готовый оголять свой зад для гомосексуального соития. Пример употребления…

Из второго ряда шумно поднимается пунцовая дама и пробирается к выходу. Хлопает дверь. Другой пример… Другая ученая дама…

В середине 70-х Косцинский настроился на отъезд. Сначала куда-то в Канаду наметил путь его сын, молодой врач.

– Сексолог, – уважительно говорил о нем отец, едва лишь не добавляя: “Весь в меня”…

Уехал и он сам. Отчасти через общих знакомых, отчасти по радиоголосам я следил за его передвижениями. Остановка в Вене. Кабинет министров 1945 года не собирался покидать этот мир, и теперь они воздавали должное своему спасителю. После гастролей (вполне триумфальных) по немецким университетам – и можно представить себе, с какими рекомендациями – Косцинский перенесся через океан и осел в Бостоне при университете.

Счастливая посадка, но не конец всем испытаниям: у него обнаружился рак. Однако то, что считалось смертным приговором в Союзе, оказывалось излечимым в Америке.

В 80-м году я уже был там, и мы с моей американской женой проводили месяц в Новой Англии, в благоустроенной деревне Леверетт. Ее коллега, отсутствовавший по своим делам, оставил в наше распоряжение дом у подножия чьей-то частной горы и старую машину – “жучок” желтого цвета. Деревня находилась поблизости от Амхерста, где располагался огромный массачусетский университет и где жил Билл Чалсма, ученик Иваска, – пожалуй, мой единственный американский приятель. От этого места до Бостона – часа два-три езды, и “мы решили показать мне Бостон”.

Билочка как вцепился в баранку “битла”, символа и выразителя его молодости, так и вез нас в оба конца, не сменяясь. По пути остановились на пруду Уолден. Средних размеров озеро между лесистых холмов. По склонам легко прослеживались пунктиры индейских троп. На месте хижины Генри Торо была

асфальтированная стоянка, где мы и поставили желтого “жучка”. В моей голове бушевали читательские воспоминания: исступленный трансцендентализм, который стал мне люб в тот год, когда эта четырехколесная букашка сходила с конвейера, да образы американского опрощения с томом Гомера в руке… Я был поклонником и даже полупоследователем этого практического мудреца; был, а теперь восхищаюсь им с другой стороны, как вечным диссидентом: трактат “О гражданском неповиновении” до сих пор воспринимается официальными лицами как бестактность… Все, поехали! Вперед, в город Бостонского чаепития – Boston tea drinking!

– Boston tea party, – поправляет меня Билочка.

Я уговорил моих спутников нагрянуть к Косцинскому в русской манере, без звонка, и вот он, уже седой, с красноватым, но тем же худощаво-жилистым лицом, остро рассматривает и оценивает нашу пеструю компанию; запросто переходит на ухабисто-ржавый английский. Я уверяю его, что все – русскоязычны.

– Джоан предпочитает английский.

Это – чуть ли не вдвое моложе его американская жена-секретарша. “Молодец, зек!” – одобряю я в уме его точный прагматический выбор. Секретарша в условиях беспрерывной добычи грантов – это ж как повариха в голодное время! Она вдруг произносит:

– Я немного понимаю. Пожалуйста, говорите по-русски.

Тут уж я порасспрашивал его обо всем…

Во-первых, я облегчил себе душу, признавшись, что, кажется, привел в его дом стукача. Он подробно расспросил меня о Генрихе и успокоил, сказав, что в его следственном деле такое имя не упоминалось. Ну, может быть, это был от силы какой-нибудь мелкий наводчик. Вообще же на него стучало такое количество народу, что этот мой подозрительный малый не имеет какого-либо значения…

Во-вторых, он уже не писатель, а ученый-исследователь. Живет на хорошие гранты, возобновляемые каждые два года, то есть под тот же словарь. Когда он выйдет из печати, грант прекратится. А потому зачем торопиться?

А как же аналогичный словарь Козловского, вот-вот собирающийся выйти из печати, как насчет близкого по тематике словаря гомосексуалистов, который тоже уже объявили к изданию? Кстати, когда оный словарь вышел и, увидев, я раскрыл его страницы, меня аж отшатнуло от них горячим запахом зверинца: как тут не вспомнить было о пунцовых дамах, которым я невольно уподоблялся?

Но результат Косцинского не тревожил, его завораживал процесс. Гранта хватило еще на четыре года, до самой кончины Кирилла.

Чтобы проверить о нем основные сведения, я просмотрел несколько литературных справочников. Нашлись там его более молодые друзья – угощаемые им поэты, прозаики, литературоведы и художники, – нашел я там даже себя, а Кирилла не было. Увы, как-то прошла, проскользнула его жизнь между литературой, политикой и наукой.

Яркая жизнь!

Юный Бродский

Найман относит свое (и, стало быть, наше) знакомство с Бродским к 58-му году, но говорит о возможной ошибке в полгода; по моим прикидкам это и должен быть 59-й, никак не раньше, а может быть, и позже. Другое дело – Рейн, загодя перед этим оказавший внимание нервному, распираемому вдохновением и тщеславием юноше. Он забавно рассказывает, как того, не понимая, отвергали в компании Швейгольца-Мельца-Ентина-Славинского, из которых двое последних жили с молодыми женами, снимая квартиру где-то на Разъезжей. Или нет – в Ново-Благодатном переулке, это подтверждено. Рейн к нему расположился и поддержал, снискав себе отзыв в душе памятливого юноши. Видимо, тот внимал ему бурно, а Рейн мог выступать и перед единственным слушателем.

Так когда это было? Людмила Штерн для своих воспоминаний запросила Славинского и его ответ процитировала: “Познакомились мы с Иосифом летом 59-го на Благодатном...” Стоп-стоп! Так цитировать некорректно: взяла да и переправила дату внутри кавычек... Я запросил того же Славинского, и он, чтобы не возиться, прислал ксерокопию этого же письма со справкой для Штерн. Там было написано: “Познакомились мы с Иосифом летом 60-го...” Так, может быть, он путает? Я позвонил ему в Лондон, и как раз вовремя: у него гостил приехавший из Парижа Леня Ентин – два друга вспоминали минувшие дни. Оба подтвердили эту дату, а Ентин еще и добавил, что он-то и привел Иосифа на Благодатный, познакомившись с ним в литобъединении при газете “Смена”. Этим ЛИТО руководил тогда Юрий Верховский, человек из органов, – возможно, всего лишь печатных. Итак, лето и осень 1960-го...

В ту пору я там не был, иначе бы пересекся с Бродским

раньше, но людей этих знал хорошо. Швейгольц в то время был полон честолюбивых планов по части математики или/и музыки (этот дробный знак я заимствую из экономного английского), но планы его провалились. В своих способностях он был уверен и объяснял неудачу всеобщим антисемитизмом. Я бы добавил сюда и его максимализм: в ЛГУ его по математике не взяли, а в Педагогический он сам не захотел. Прежде, чем загреметь в армию, он познакомил меня со Славинским, с которым мы хорошо задружили с тех пор.

Горбоносый и смуглый, тот был похож на ворона, летающего над крупорушкой нашей жизни. Залетел он из Киева да и завис в Питере, для начала поступив в Холодилку, куда кондором спланировал и Рейн, вернувшийся из экспедиции на Камчатку.

Славинский занимался "холодильными делами" спустя рукава; они ему не нравились, и он бросил их совсем. Он женился, хотя и питался одним воздухом, на Гале Патраболовой (ее сокращенно звали все Болова), нежноликой и нежно лепечущей блондинке с фигурой Евы и, что было не лишне, с ленинградской пропиской. Тем не менее молодоженам жить было негде, и они в долю с Енотом и его Эллой Липпой сняли какую-то "хату" на Разъезжей. Нет, не на Разъезжей – на Благодатном! Многоспособный Славинский воспринимал, не уча, языки, в библиотеке погружался в мир польских журналов, откуда извлекал множество захватывающих сведений о жизни на Западе: литературные моды, культурные сенсации, стиль. В польских перспективах фигура Марека Хласко заслоняла весь свет, но в его тени все ж отнюдь не тонули, барахтаясь, Беккет с Камю, а движение битников, пожалуй, затмевало даже и Хласко. Тем более что сам Ефим Славинский, которого кликали не Фимой, а Славой, ходил у нас за битника №1. Он говорил исключительно на молодежном сленге, превозносил экзистенциализм, но вовремя останавливался, не доходя до "Тошноты" Сартра, и мы неожиданно сошлись, посчитав пробой и мерой нашего литературного вкуса стихи Наймана, или, как он выражался, "мы оба заторчали на Толиной "Пойме". Годами позже, в Москве, когда Найман познакомил нас по отдельности с образцами своей новой прозы под странным названием "Рукопись", мы со Славой опять оказались единодушны: она ближе всего стояла к нашему идеалу – "Четвертой прозе" Мандельштама. И потому мы нарекли ее в наших дальнейших беседах "Пятой прозой" (не путать с тогда еще не написанной "Пятой розой" Ахматовой).

Тогдашние стихи Иосифа не могли произвести большого впечатления на эту команду интеллектуальных бездельников, которые, хоть и не карабкались на Парнас, но в подобных делах

ведали толк и вкус. Ентин-Енот, Мельц и Хвост экзистенциально ловили кайф, и что-то им было не в жилу, не в масть в юном поэте, чтобы признать его гением. Аронзон с Волохонским сами наведывались к ним с малого Парнаса, а с большого – вот Рейн. Да и меня они звали Деметром (Ди-мэтром). Славинский был связью, даже внешне походя на латунного Меркурия: черен, худощав, двузнающ, он умел чуять в чуваках и потенциал, и слабинку. Покритиковал юношу: “Много воды и ложного пафоса”, но и Нобеля предсказал как достижимый им уровень качества, ежели тот постарается, конечно.

На Меркурия – да, но смахивал и на химеру, ту самую, что сидит на свинцовой крыше, на правой башне Парижской Богоматери и смотрит на Новый мост, по которому все мы многократно прошли: маленькая Наташа Горбаневская, толстая Кира Сапгир, мы с Кублановским под мухой. Енот с Хвостом, оба под кайфом, а вот и Жозеф, еще живой, но уже и не моложавый.

Его так стали называть с момента появления в этой компании, потому что тогда на слуху были у всех африканские страсти, которыми развлекались газеты: прогрессивный Патрис Лумумба, антигерой Жозеф Чомбе, полковник Менгисту Сесе Секу… Это ведь даже не кличка, а версия имени. Но прикладные эффекты его манеры, такие, как форсированное чтение, картавость, не скрывали в стихах общих мест и даже не то чтобы литературно-книжного, а просто никакого их языка – языка переводов с подстрочника. Так мог писать и Жора Прусов.

Бродского я увидел впервые в Промке на выступлении Наймана. Пришли, как всегда, члены ЛИТО и слушающая публика, довольно много против обычного. Решили перейти в соседний зал, и напрасно: во-первых, публика расселась, зияя, по всему залу и потеряла спайку, а во-вторых, там над сценой висели ни к селу, ни к городу пропагандистские кумачовые тряпки с лозунгами “Плюс химизация!” Это была хрущевская поправка к известной ленинской формуле коммунизма.

Зазвучали благородные стихи, исполняемые в благородной, чуть замороженной манере. Найман стоял прямо, глядел вполоборота. Оранжево поплыли образы осеннего Павловска, редеющего клена, остывающей любви, уже проколотой игольчатым холодом разлуки. Точно, тонко, четко, первоклассно!

Аплодисменты. Заслушавшись, с трудом возвращаешься мыслями в зал. Звучат довольно предсказуемые взвешенно-критические речения друзей. Рейн – о предметности. Авербах – об органичности. И я быстро ищу слова, подготавливаясь для высказывания. Меня увлекает параллель всего, только что прочитанного и услышанного, с “Козлиной песней” Константина

Вагинова. А именно – перевернутость нашей ситуации по отношению к той, из романа. Там – поэт, выпустивший несколько сборников, ищет укрытия в безвестности, даже в безумии. Здесь – звучащий, как классик, известный в своей среде поэт, наоборот, не напечатал ни строчки... Пока я приделываю коду этому еще не произнесенному суждению, кто-то уже высказывается, выйдя к сцене. Голос с картавинкой, говор быстрый, бессвязный. Трудно понять, – что-то про химизацию, словно бы реплики его оставались висеть со вчерашнего собрания в этом зале... Что он такое мелет? Химизации не хватает в стихах, недостаточно, мол, ее приплюсовано?!

Нет, не из комсомольских деятелей, – слишком юн, даже зелен и рыжевато рус, одет кое-как, но все-таки в тон... Значит, просто-напросто себя перед публикой кажет. Раскраснелся, жестикулирует. Но что это он опять, уже в другую сторону, – предлагает сорвать кумачи с поэзии?.. Сбился совсем, смешался, замолчал. Мне уже расхотелось выступать, прения закрылись. Но народ не расходится. Что мне напоминала эта сумбурная выходка, уж не Хромова ли на вечере в Горном? Точно, Боженьку Хромова с его геологическими молотками!

Эра Коробова просит меня:

– Пригласи этого юношу к нам после чтения. Его зовут Иосиф. Да, Иосиф Бродский.

– Как? Несмотря на всю чепуху, что он тут намолол после стихов твоего мужа?

—Что ж, он молод. Но зато – примечателен. Пригласи, я прошу.

– Ну а меня-то ты приглашаешь?

– О чем ты спрашиваешь? Ты ж к нам – всегда...

Подхожу к этому странному выходцу из молодежи, уже зная, как его зовут. Думаю, знает и он обо мне, так что знакомиться и не нужно.

– Простите, мне показались ваши демарши излишни. Найман – прекрасный поэт и мой друг, и вряд ли стоило перебивать настроение от его стихов замечаниями по поводу лозунгов. Мы оказались тут, в этой зале, непреднамеренно.

Видя его готовность возражать, я опережаю его:

– Впрочем, это уже неважно. Вы все-таки произвели впечатление. Наши дамы желают вас пригласить, чтобы вместе отметить сегодняшнее событие. Вы придете? Отлично! Адрес: улица “Правды”, двенадцать, квартира пятьдесят. На углу, извините, с Социалистической.

На вечере у Эры и Толи он был уже очень мил и, общаясь, просто светился от удовольствия. Я пригласил его заходить ко

мне на Тверскую.

И что же? Без телефонного звонка прикатил в промозглый холод, втащил велосипед на третий этаж нашего с Натальей тверского жилья, и – куда ж его, колесного, теперь деть? В комнату ведь негоже; в тесном коридорце будет не пройти, остается загромоздить лестницу – авось, не сопрут. Да кто сопрет? Не драматург же Рощин, живущий выше: чай, не сценичная фабула…

Ну, отвлеклись наконец от этой суеты, заговорили о стихах, о поэтах. О Цветаевой: какая мощь, сколько движения, страсти! И – ревнивой несправедливости в любовных стихах… Ну и что: поэт всегда прав! По крайней мере там, где неправота его ведет к шедевру. И ему, и мне такой оборот мыслей нравится, ведь мы оба – поэты. А может ли поэт быть дурным человеком? О! О! Примеров слишком много, чтоб их называть. А как же пушкинская формула о гении и злодействе? Да сам Александр Сергеевич разве не злодей был – по части дам хотя бы?

В разговоре он не так сумбурен, как при недавнем злосчастном выступлении, но про то и не вспоминаем. Он уже быстрей подыскивает слова, но все же экает, мекает, хватается за голову, наконец выпаливает словесную формулу – иногда совершенно нелепую, усмехается как-то внутрь себя, улыбается восхищенно-умильно на удачную реплику собеседника.

Иронизирует (надеюсь): вот приедет он из экспедиции – конечно, с кучей денег, – снимет комнату. Понапишет там столько стихов, что со стола рукописи будут соскальзывать вниз, заваливая пол. Потом будет лежать на тахте, исписывая и роняя новые листки, рассматривать на ноге желтый, как солнце, ноготь, в то время как литературоведы и критики будут ползать внизу на четвереньках и, схватив очередную бумажку с возгласами: “О, это – шедевр”! – станут, привстав на колени, зачитывать его вслух.

Однако! Но пока в том, что он читает из своего, настоящих удач, кроме авторской уверенности, в них не замечается. Даже редкие, с преувеличенным тактом произнесенные замечания он воспринимает, недоумевая.

Я читаю ему тоже: “Девочку-Наталью”, “Где ты бываешь”, “Вот солнца луч”, “Земли-планеты населенный глобус”, что-то еще… Некоторые стихи ему уже знакомы. Как? Самиздат уже действует…

Ему явно нравится у нас с Натальей, но пора уходить – верней, уезжать на велосипеде в холодный сумрак, в промозглость, а одет он легко. Я сую ему что-то из одежды, теплое, шерстяное. Нет, ни за что! Решительно отказывается то ли из гордости, то ли из эстетства: пуловер-то ярко-синий, а этот

цвет ему не подходит. Носил он хоть мятое и неновое, но в табачных, коричневых, желто-зеленых тонах.

Побывал и я у него на углу летейского Литейного и удавленного Пестеля: вход в коммунальный, но сравнительно опрятный коридор – и налево; там уже домашнее жилье, убранное и ухоженное, – просторный куб комнаты и темноватый закут. Комната служит гостиной, столовой и родительской спальней, о чем свидетельствуют обширная кровать чешского гарнитура, хранительница отгадок к некоторым неожиданным строкам молодого поэта, прочный дубовый стол и старинный буфет с горками тарелок и чашек, с сине-белыми блюдами и подносами, стоящими на ребре. С этого натюрморта начнется интерьер и ландшафт, упирающийся в бесконечность его “Большой элегии Джону Донну”, но до нее еще надо освоить немало. Позже литературоведы, которых Жозеф уже тогда презирал, приделают ему “царственную” родословную, и Пушкин в ней будет числиться еще не самым значительным среди “великих латинян”. Но осваивал он в те времена то, что было ему значительно ближе. Шероховатых Слуцкого и Горбовского, ни за что не желающих “говорить красиво”. Рейну следовал текстуально, повторяя в полтона его рефрен.

Примеры? Вот они.

Рейн: За четыре года / умирают люди, / умирают кони, / выживают люди, / пишутся законы. / За четыре года / на моих рубахах / до конца не выгорит / клетки знак оранжевый… / Приезжай обратно / за четыре года. (1956)

Бродский: Через два года / высохнут акации, упадут акции / поднимутся налоги. / Через два года / увеличится радиация, / истреплются костюмы… / износятся юноши… / Мы с тобой поженимся / через два года. (1959)

Преодолевал он и Наймана, поставив себе задачу написать не только не хуже, а и лучше лучшего, что было тогда у того, – “Поймы”. И написал “Сад”, на тот же примерно мотив, что и Найман, и тоже с библейским подъемом.

Найман: “Всем, что издревле поимела обильная дарами пойма…” (1957)

Бродский: “Великий сад! Даруй моим словам…” (1960)

Положим, тут у обоих наличествует и Боратынский, и Иосиф применяет его в качестве инструмента, чтобы одолеть Наймана. И он действительно перебарывает старшего друга и ментора в тот, уже отлетающий в прошлое момент, не учитывая, впрочем, что Найман и сам уже пишет иначе и лучше.

То же и тут: “Со мною девочка идет Наталья…” Он отвечает по-своему: “Девочка-память бредет по городу…”, посвящая эти

стихи мне и тем оправдывая опробывание меня, к его чести, без тогдашних моих никчемушных диминитивов. Что ж, это было щедро и мило, и я надолго оказался ему обязан, пока не написал ответное стихотворение сразу на два – его. Боюсь, мое посвящение дошло до него уже за пределом нашей дружбы. А вот в стихах: “Теперь все чаще чувствую усталость, / все реже говорю о ней теперь, / о, промыслов души моей кустарность, / веселая и теплая артель”, я вижу оперирование лучшим, чем я тогда оперировал, и в этом, опять же, была проба, – мол, могу ли я написать так, как он, и даже сверх? Мог. Да, но “он”, то есть в данном случае “я”, и сам менялся. А имело ли это какое-то значение для солипсических самооценок Иосифа, который вступал тогда на свою стезю и, несомненно, переживал осознание высокой миссии? Скорее всего я существовал лишь в моменты его интереса ко мне.

Его мать Мария Моисеевна приняла меня радушно, сразу же поставила на стол блинчики с творогом, – правда, я тогда отказался. А встречала всегда хорошо, как своего, улыбаясь даже после нашего разрыва с ее сыном. И рассказывала свои легенды из его детства, зная, что я их запомню.

Первый класс школы. Ранние уроки русского языка. Учат по букварю даже не “Мама мыла раму”, а самые начальные буквы. Ося заболел, пропустил много занятий. И вернулся как раз к контрольной: написать надо было слово “КОНЬ”. Конь! А - как?! Он собрался, напряг из последних усилий все мыслимые и немыслимые возможности – и все-таки написал. Но тут же сомлел, и случился с ним обморок.

– Все же оседлал он своего коня… – сказал я тогда его матери и вспомнил, конечно, стихотворение, которое написал Иосиф в период наших частых общений, странное, романтическое и даже демоническое. Он читал его, прямо заходясь голосом:

В тот вечер возле нашего огня
Увидели мы черного коня…

В стихотворении нагнетались мрачно повторяющиеся образы наружной и внутренней черноты и была зловещая, многозначительная концовка:

Он всадника искал себе средь нас.
Оседлал…

Александр Иванович, его отец, тоже воспринял меня хорошо, войдя с улицы в первый раз, когда я был у них, в морской шинели без погон, что напомнило мне не только об отчиме Василии Константиновиче, но и о месте, где все мы жили: ведь то был морской порт, Балтика. У него тоже, как у моего отчима, видимо, были какие-то утопические планы относительно “спасения” сына. Узнав, что я инженер (и, конечно, поэт), он горячо и сумбурно-тревожно заговорил:

– Вот, вы инженер, убедите его… Как можно так жить? Ведь не учится, не работает! А мы с его матерью…

– Отец, хватит! – оборвал его Жозеф и, уводя меня в свой закут, тихо, но внятно произнес:

Сед, как лунь.
И – глуп, как пень.

Этот афоризм дальнейшего хождения через меня не получил, но вспоминал я его не раз, когда приходилось иметь дело с поколением наших отцов и отчимов, которые всегда и в точности знали, как нам жить. Правда, и Жозеф не мог на “коней” своих жаловаться: блинчики с творогом у него всегда оказывались на столе, мать перед уходом рубашку в тон выдавала, воротничок поправляла, отец вот свою пишущую машинку ему в закут поставил. А мне мою тещеньку, между прочим, каждый раз приходилось просить о машинке. Конечно, он был от многого зависим, но свободен, в отличие от меня, тяготившегося обратной комбинацией. Школу бросил, когда надоела чушь, которую порет учитель. Работа? Последняя была в монтажной бригаде на Балтийском заводе. Ему нужно было лазать в трубы, проверять их после сварки. Однажды он сошел с трамвая: завод был в одной стороне, а солнце всходило с другой – огромный красный диск. И он пошел в сторону солнца.

Отец не оставлял своей идеи трудоустроить сына: нашел ему работу на маяке. Романтично, не правда ли? Нет, через день тот ушел.

Я изумился:

– Что ж может быть лучше? Сидишь один. Светишь. Пишешь стихи…

– Если бы так! А меня этот моржовый поц в отставке пытался

заставить лестницы драить...

– Кто-кто?

– Да отставной боцман, смотритель... А я ведь не поломойка.

А как же армия, военкомат? Как они упускают такого здорового парня? Оказалось, здорового, да не совсем. Белобилетчик. В дальнейшие вопросы я не вдавался, это считалось деликатной сферой, где каждый "косил" от армейской службы по-своему, я придумал лишь рифму на слово "белобилетчик" – "было бы легче"...

Выражение, пришедшее из будущего, – "невыносимая легкость бытия" наваливалась на каждого из нас. Нуждаясь друг в друге как слушателях и ценителях стихов, мы для того и встречались, и не только по своим домам, но и у пишущих друзей – Наймана, Рейна, Авербаха; стала прорезаться Люда Штерн, собирая порой общество у себя. Она предложила мне выпустить машинописный сборник стихов, и он, тиражом в пять экземпляров, вышел под названием "Партита", потому что в памяти у меня в ту пору непрерывно звучала баховская "Партита № 6" в исполнении Глена Гульда. А остальные экземпляры, недостающие до нормальных издательских десяти тысяч, я практически начитывал людям устно. Иосиф мечтал выступить в сопровождении джаза и ностальгически восклицал в стихах: "Играй, играй, Диззи Гиллеспи..." Мы, все четверо, а порой и в расширенном составе, стали читать полуофициально в разных местах и разных комбинациях друг с другом: математический факультет, кафе поэтов, преображенное из столовой, Институт высокомолекулярных соединений. Некоторые из комбинаций бывали забавны...

Так, однажды Толя меня зазвал выступить с ним в одной программе с укротителем крокодилов и клоуном. Появились приверженцы и поклонницы, "львы и гимнасты", – цитируя позднего Наймана. Минна Попенкова, приятельница Гали Наринской, распространяла мои стихи по Москве. Ее приезд внезапно изменил мои планы. Натаха моя жутко меня взревновала, и в нестерпимой обиде я уходил в бывший мой дом на Таврической, писал горький "Романс" о душе, которая "лежит и лечится бедой", а Наталья в слезах уводила меня обратно на Тверскую, куда Иосиф позднее привез стихи "Дорогому ДБ", первые же строчки которых резанули приговором: "Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе"... Ведь мы уже помирились, и союз мне казался навсегда восстановленным! И потом – она ему, оказывается, "пела", жалуясь на меня!

На этот счет Жозеф излагал мне отдельно свою живиальную философию:

– Настоящий мужчина должен быть брутальным,

Или:

– Настоящий мужчина должен переболеть триппером – хотя бы ради верного взгляда на женщин.

Или:

– В уборной человек отделяет Я от не-Я.

Или (возможно, цитируя кого-нибудь из великих джазистов):

– “Я и мой саксофон остались вдвоем. Так чем же мы не компания?”

И – зажигал спички об откуда-то перепавшие ему американские джинсы. Признаться, не все положения этой философии мне подходили, но спички зажигать о седло я у него научился.

Однажды после работы я задержался на приеме у зубного врача. Я следил за собой и, желая нравиться моей миловидной жене, не пренебрегал визитами к дантисту, хотя бы для профилактики. Вернувшись, я услышал почему-то не от Натальи, а от тещи:

– К вам заходил уж не знаю кто – ваш друг? Приятель? На письменном столе он оставил записку.

В пишущую машинку, выпрошенную накануне у тещи, был вставлен лист бумаги с таким знаменательным текстом:

“Деметр!

Пока ты там ковырялся в своих желтых вонючих зубах, я написал гениальные стихи. Вот они:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров...”

И т. д. И – подпись от руки: “И. Бродский”.

Первый мой вопрос был: “Где он нашел на Васильевском темно-синий фасад? Там – все серые и голубые”. Второй: “Сколько времени на глазах моих близких (и – близких врагов) красовалась его паршивая и плоская шутка?” Я скомкал листок и бросил его в корзину. Жозеф исчез надолго.

Московские знаменитости

Прошел слух, что в Ленинград приехали ну все-все новейшие московские знаменитости, полупризнанные властями: Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Окуджава, а с ними и ряд прославленно-признанных, что было куда менее интересно. Надо сказать, что первые своим половинным признанием дорожили и пользовались, даже его умело продлевая, ради своей растущей за мыслимые пределы популярности. Их уже баловали привилегиями системы, а они принимали их, естественно, как плату за талант и труды, очень, конечно, немалые, но перед выступлениями неизменно накладывали тень гонимости, как грим на лицо, и публика их за это еще крепче любила.

Приехав, они расселились по люкс-номерам привокзальных гостиниц и объявили смотрины местных талантов.

У Беллы было трезво и чопорно; она и сама этим тяготилась. Почитали. Послушали голосовые гирлянды и трели ее вдохновенной, велеречивой поэмы о предках (даже, на удивление, итальянских), чья миссия благополучно завершилась рождением Беллы. Из примыкающего покоя выглянул на минуту ее новый муж – коренастый, густо-седой, со сморщенным лицом и цепкими глазами: писатель Юрий Нагибин. За его раннюю повесть “Трубка” сам Сталин подарил ему свою... трубку? Нет, премию. Сталинскую притом. Это оставалось высокой маркой и в после-, и в анти-сталинские времена. Написал несколько свежих рассказов, чего от лауреатов и не требовалось. И – без счету киносценариев, которые ставились, шли в прокат и почти анонимно орошали из золотой лейки их с молодой женой вертоград. Исчез.

Евтушенко. Помещение поскромней, но народу побольше, чем у его бывшей жены. На столах накиданы листы черновиков с минимальной правкой: видно, что пишет единым духом сразу по несколько строф. А самого – нет. Угощаться тоже нечем. Наконец, является: высокий, в светлых брюках и ярко-красном пуловере.

– Какой интересный свитер на вас, Женя! – замечаю я на правах “старого знакомого”.

– Свитер? У меня их полно. Смотрите...

Вынимает из шкафа один пестро-шерстяной предмет, швыряет в мою сторону. Не в меня, но так, чтобы я мог поймать. А я не собираюсь ловить, и вещь падает на пол. Еще, еще и еще одна. Найман смотрит на меня одобрительно. Так эта куча и остается лежать на полу.

– Ну, почитайте лучшее!

Моложавый мастер слушает рассеянно, с сочувственным интересом смотрит лишь на старшего среди нас – Горбовского, читающего стишок про циркового ослика, у которого “кульками уши”:

Служит ослик, как я, искусству.

– Сколько уж лет этот “Ослик” остается его самым лучшим! – замечает мой язвительный друг.

Что ж, он в этот момент прав. Пора бы и грохнуть чем-нибудь поувесистей. Но “Фонарики” еще не написаны, а “Квартиру № 6” и “Мертвую деревню” Глеб читать не решается. Вот “Ослик” и вывозит...

Теперь уверенно выступает Сам: он знает, как здесь, в этом городе, тяжело пробиться в печать, и дело даже не в сталинистах, их время вышло. Но появляется новый тип бюрократа – молодой приспособленец, мальчик “чего изволите”. Вот они-то, эти “мальчики”, и задерживают прогрессивные преобразования в обществе. Он сам только что выпустил свою одиннадцатую книгу стихов, но не ради славы – зачем ему она? – а ради того, чтобы у нас вышли наши первые...

И он читает стихи, в которых “волком выгрызает” бюрократизм. До первых книг у нас еще годы и годы...

У Окуджавы номер – как театральные кулисы. Обстановка непринужденная. Стол с винами, диваны. Здесь хорошо, я чувствую, что хозяин меня как-то выделяет из прочих – быть может, в ответ на мою раннюю к нему приязнь. Впрочем, тут все – его поклонники, но мои стихи ему интересны, он то ли вслушивается, то ли вглядывается в их образы. Он обращается ко мне на “ты”, остается отвечать ему так же.

– Что ты сейчас пишешь, Дима?

– Я бьюсь над одной небольшой вещью – назовем ее условно “Портрет с учениками”. В центре – лицо седой дамы. Ты, вероятно, слышал о нашем знакомстве с Ахматовой?

– Да, слышал что-то...

– Так это – она. А вокруг нее – четверо, молодые лица. Вообще-то портрет – это статичный жанр, но тут все дело в том, кто куда глядит. Она-то смотрит вдаль, один глядит на нее, двое – друг на друга, а оставшийся – внутрь себя.

– Как у Генриха Бёлля: “Групповой портрет с дамой”?

– Да, но дело в этих разнонаправленных взглядах...

– Я это понял. Интересно.

– Правда, нравится? Если через месяц не пришлю тебе готовое стихотворение, бери этот образ себе.

– Договорились.

В большую, как сцена, гостиную заходят новые люди. За портьерами – еще одна комната, там растерянно стоит молодая женщина в шубке.

Я обращаюсь к ней:

– Вам, наверное, жарко? Давайте мы куда-нибудь эту шубу повесим.

Она вдруг выпаливает:

– Слушай, ты ведь Дима Бобышев, муж Наташки Камецевой?

– Ну да, предположим…

– Мы с ней вместе в школе учились, в соседних классах… Слушай, я не могу снять шубу, на мне ж ничего нет. Муж все мои платья в шкаф запер, а ключ взял с собой.

– Зачем?

– Чтоб я к Булату не сбежала. А я уже здесь. Шуба-то на вешалке висела. Дим, позови мне сюда Булата, а?

В это время в гостиной раздаются гитарные аккорды. Булат пытается из посетителей организовать хор:

– Не бродяги, не пропойцы
за столом семи морей…

Ну, все вместе:

вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Оперетта, настоящая оперетта! Даже забавно…

– Булат, тебя там спрашивают…

– Подождут.

Пока я был “за кулисами”, появился еще один гость – Андрей Вознесенский, который теперь сидит на диване, гордясь собой и… пришедшей с ним девушкой. И есть чем гордиться! У нее матовое лицо, спокойные черные “оки”, чуть сонный вид. В общем, если она не Джекки Кеннеди, то, значит, это существо – ее филологическое совершенство Ася Пекуровская.

В расстроенных чувствах любящий Наташкин муж отправился домой на Тверскую…

На следующий вечер гигантская толпа осаждала Дом актера на Невском. Редкое явление – конная милиция усмиряла страсти. Бочком, бочком, но в своем ведь праве, с контрамарками, мы с Натальей пробрались в зал, разумеется, переполненный. В соседнем ряду я увидел вчерашнюю “опереточную” знакомую, уже не в шубе на голое тело, а в платье с огромным вырезом. Она сделала мне страшные глаза, чтоб я ее не узнавал. Рядом сидел какой-то мрачный амбал – видимо, муж.

На сцене лысеющий брюнет с усиками, в джинсах и свитере под пиджаком, взял гитару, поставил ногу на стул и, чуть наклонясь, запел.

Полетели ошалелые птицы, загрохотали сапоги, зазвучали причитания: “Ах война, что ты сделала, подлая?”, затем покатил по ночной Москве синий троллейбус. И уже утренний автобус остановился, чтобы подобрать городского певца у пекарни, у занавешенных окон, за которыми мелькали руки работниц и откуда несло духовито запахом поджаристой корочки свежеиспеченного хлеба.

Сколько раз его концерты отменялись, вновь назначались и опять разгонялись, и вот, наконец, своим малым, но на оттенки исключительно богатым тенорком он заговорил по душам с каждым из этой несусветной толпы, все разрастающейся, попутанной своими бобинами и кассетами, – по существу, со всем говорящим по-русски населением, со всеми, чьи глаза не потеряли способность увлажняться от песенной красоты или поющей правды. Так началась его слава.

Я с ним уже и не виделся – зачем? Песни, конечно, долетали; среди них и та, с разнонаправленными взглядами:

> … я опять гляжу на вас.
> а вы глядите на него,
> а он глядит в пространство.

И вот я гляжу на него опять, а он на меня, на мою американскую жену, которая его уже обожает. Мы – в Мюнхене, году в девяностом. Он – по пути в Париж, а мы с Ольгой, прилетев из Чикаго, собираемся во взятой напрокат машине проехать через Югославию и Восточную Европу в Чехословакию.

– Ты поправился, Дима, – замечает он. – Был такой тоненький юноша…

– Так что ж, Булат, питание хорошее, жизнь спокойная. Да и возраст располагает… Впрочем, ты, кажется, худеешь с годами.

– Да, это так. А ты ведь вроде бы раньше курил? Курил. А теперь бросил, вот и поправился.

Неужели нам не о чем больше поговорить? Мы прощаемся – его жена, тоже Ольга, следит за расписанием.

А еще через два года я получаю от него письмо:

“Здравствуй, дорогой Дима!

Подарили мне в Москве твою петербургскую книжку “Полнота всего”. Прочитал ее с большим удовольствием и очень порадовался за тебя. Хотел написать тебе, да было лень, да и адреса не знал.

А тут под впечатлением твоих стихов получилось о тебе маленькое стихотвореньице. Ну, тут я, конечно, сообразил позвонить Толе, и взял у него твой адрес, и пишу.

Надеюсь, ты здоров, и все у тебя хорошо.

Я зарылся на даче. Понемногу пишу. В основном, прозу. В Москве бываю редко и в крайнем случае.

На всякий случай – мои координаты...

...Кланяйся дома. Обнимаю. Булат.

Дима Бобышев пишет фантазии
по заморскому календарю,
и они долетают до Азии —
о Европе и не говорю.

Дима Бобышев то ли в компьютере,
то ли в ручке находит резон...
То, что наши года перепутали,
навострился распутывать он.

Дима Бобышев славно старается,
без амбиций, светло, не спеша.
И меж нами граница стирается,
и сливаются боль и душа.

Б.Окуджава
9.11.92,Москва”.

Вот теперь бы и поговорить, да уже – когда? Стихами я ему ответил, написав “Университетскую богиню” с эпиграфом из знаменитой “Комсомольской богини”... В поздние годы массовая популярность его несколько обесцветилась, выцвела, как флаг на ветру. Отошла к старшим. А молодежь увлеклась Хрипатым до

самозабвенья, до мстительных уколов и нападок на Булата. Бродский вообще поместил всю итээровскую интеллигенцию (читай: “образованщину”) “меж Булатом и торшером”.

И вот вдруг Окуджава умер, оказавшись в очередной раз в Париже. Вдова жаловалась на непонимание в больнице, на отсутствие переводчика. Это страшное, малопонятное и всем нам, живым, предстоящее действо совершилось 12 июня 1997 года.

Я оказался в тот день в Нью-Йорке, по пути из нашего под-Чикажья в Россию, на “Ахматовские чтения”, куда я вез доклад “Преодолевшие акмеизм”. В Бруклине, в газетном киоске, мне бросился в глаза заголовок: “Умер Булат Окуджава”. Я купил газету – то был “Вечерний Нью-Йорк”, тамошняя эмигрантская “Вечерка”. Главный редактор в своей передовице грустил о потере знаменитого барда, автора столь любимых народом песен, таких, как “Из окон КУРОЧКОЙ несет поджаристой...” Что это – опечатка? Шутка? Эх, Бруклин, Бруклин...

Друзья-соперники

Как-то придя ко мне с ослепительной Асей Пекуровской, Иосиф, конечно, похвалялся ею передо мной на бессловесном языке, понятном зверюшкам и птицам, и я испытал укол платонической ревности. Это сообщало нашему приятельству соревновательный оттенок, который, впрочем, и без того присутствовал.

Именно так, соревновательно, но весело, он втравил меня в одну трудоемкую затею: переводить вместе с испанского, которого не знали ни он, ни я, но зато дело было верное и публикация, по его словам, была гарантирована. Поэт-то был кубинский – Мануэль Наварро Луна, в трескучих стихах воспевающий шхуну “Гранма”, на который бородатый Команданте прибыл на Кубу наводить свой порядок, ну и, конечно, себя самого.

Меня смущал пропагандистский характер стихов, но Жозеф убеждал, что “барбудос” – это ничего, даже забавно и вполне приемлемо для двух джентльменов, находящихся в поисках дополнительных заработков. Готовясь к экспедиции, он сам стал запускать бороду, рыжина которой оказалась заметней, чем в волосах на голове. Эдаким барбароссой он укатил в Якутию, а я стал за двоих переводить романтическую чепуху нашего кубинца.

Оттуда (из Якутии, конечно, а не с Кубы) стали приходить

письма. Листки были исписаны самым немыслимым почерком: палки и крючки, палки и крючки, которые лишь изредка, да и то случайно, складывались в слова. Смысл их состоял в том, что я могу поступать с нашими переводами, как хочу, а он, Иосиф, посылает этого Командante подальше.

В досаде на него за потраченные попусту усилия и время я весь ворох бумаг, включая письма, вышвырнул на помойку под аркой во дворе дома № 16 по Тверской улице.

По его возвращении (“Забудем, Деметр, этого проклятого Командante”) мы довольно часто виделись с Жозефом: он тогда писал “Шествие” и, обрушив на меня сначала значительную порцию ритмически насыщенного текста, затем знакомил с ходом дела (довольно бурным) поглавно. Замысел предполагал бесконечное течение поэмы, ведь это была, по существу, улица с незатихающим шествием прохожих – та самая, видимая с балкона их гостино-спально-столовой, где почти вровень с окнами висел уличный знак для автомобилистов: круговое движение по периметру площади, в центре которой стоял собор Преображенского полка. Три стрелки на знаке жалили в хвост одна другую, замыкая круг и рождая мысли о бесконечном. Я заговорил с Жозефом о мистике, предполагая в нем способность вырваться за пределы повторяющейся реальности, и этот ход я угадывал в той тьме, откуда уже появился однажды его черный конь. Он слушал, надо признаться, скептически, однако при следующей встрече прочел мне кусок, значительно отличающийся от прочих. В стихах появился любовник-оборотень, получеловек-полуптица, весьма странное существо, но до мистического откровения, на которое я надеялся, все-таки не дотягивающее. Правда, его появление преломило ход бесконечной поэмы, перевело ее на коду, где, удачно перефразировав цветаевского “Крысолова”, поэт закончил, увы, довольно банальным чертом и не менее банальным признанием, что “существует что-то выше человека”. Оставалось только во вступительном слове назвать поэму “гимном баналу”, что автор и сделал.

Позднее мне пришлось защищать эту поэму перед Даниилом Граниным, и обстоятельства разговора с ним стоят изложения. Лавры Государственной (бывшей Сталинской) премии украшали седеющие виски и жесткие волосы этого осторожного либерала. Научная интеллигенция видела в нем свой общественный образец, и он старался ему соответствовать. Разумеется, по мере возможности и насколько позволяла обстановка… В то довольно паршивое время он был председателем Комиссии по работе с молодыми авторами при Союзе писателей.

Однажды он попросил у меня рукописи, чтобы ознакомиться

с тем, что я делаю, а затем пригласил домой для разговора – жил он напротив “Ленфильма”, на улице братьев Васильевых (теперь, кажется, Малая Монетная), а я тогда – на Максима Горького (Кронверкский проспект), в двух минутах ходьбы проходными дворами. Еще в прихожей он начал расспрашивать о здоровье как старика или инвалида. Я удивился такому необычному участию, сослался на легкую простуду, обычное дело для жителей Северной Пальмиры, но он продолжал расспрашивать, и мне пришлось рассказать о тяжелом ранении, об операции, и, увидев, что его интерес ко мне катастрофически падает, я смолк, недоумевая.

Боязнь гриппа? Нет. Сочувствие? Нет. Холодное писательское любопытство? И это – нет. Впоследствии Довлатов, которого он таким же образом приглашал и так же расспрашивал, мне все объяснил. Оказывается, у Гранина было твердое убеждение, что писательство может быть успешным только при крепком здоровье как условии № 1. Что ж, это нелишне и при любом занятии!

Все же его расспросы расположили к доверительному разговору: ведь и у него – научно-техническое образование, и он из него как-то вырвался в литературу...

– У меня только один рецепт: делайте, как я. После ЛЭТИ я работал в “Ленэнерго”, и там кое-что написал и наметил свои письменные планы. Потом поступил в аспирантуру и за два года вместо диссертации сочинил книгу. Публикация. Союз писателей. Пока жил на гонорары от первой книги, написал вторую. Премия.

В моей поэме “Опыты” его заинтересовал сбой синтаксиса в строфах о взгляде на пространство извне – “Снаружи, да. Снаружи, нет”.

– Что это?

– Это – прием. Голоса в диалоге раздваиваются, получается зеркальная полифония.

– А похоже на теперешние научные идеи. Амбивалентность пространства...

– Все ж это – результат формального приема. Что не исключает появления второго и третьего смысла...

Помолчал. Потом спросил:

– А что вы думаете о Бродском?

– Очень одаренный автор. Поэт!

– Но ведь его “Шествие” – это неудача. Бесформенность...

– Композиция – да, не организована. Но есть и очень сильные стороны.

– Какие?

– Замысел: уличная толпа – как шествие персонажей. Некоторые куски отменны. Потом: ритмы и общий разгон

показывают его потенциал как поэта.

Мы попрощались. Ни он, ни его Комиссия “по борьбе с молодыми”, как ее называли, никогда и ничего не сделали для меня. И — ни для Бродского. Ни хорошего, ни плохого.

Колючие глаза, тонкие губы пассатижами, раздвоенный на конце нос.

Помимо нашей компании Иосиф находил авторитетные мнения где-то на стороне. Прежде всего, среди геологов, но не “Глеб-гвардии-семеновцев”, а других, тех, с кем он связан был по двум с половиной или полутора экспедициям, в которых участвовал. Однажды он пригласил меня на чтение в общежитие “к ребятам из Горного”. Долго трамвай наш скрежетал по насквозь пролитературенному городу: сначала по Литейному, затем сворачивая на Белинско-Симеоновскую и с моста через Фонтанку, где когда-то привиделся Блоку припорошенный белым Антихрист (не Андреем ли Белым?), мимо цирка, где у боковых ворот топтались еще не написанные поздним Найманом львы и гимнасты, и – по Садовой мимо Публички с халатно облаченным Крыловым в окне, мимо Гостиного и Апраксина дворов со всегдашними модными лавками, где Натали Гончарова “случайно” встречала царя, а муж ее, возможно, рылся в это время в книгах у Смирдина, и, разгоняясь через Сенную, где секли погулявшую налево сестру некрасовской музы, трамвай замедлял ход у решетки Юсуповского сада, чтобы свернуть на Майорово-Вознесенский проспект и выкатить со скрипучим разворотом к Николе Морскому, где будут отпевать Ахматову (а мы с ней еще и не познакомились), где и мне суждено увидеть золотое кладбище на крыше подворья... У школы, где была “Зеленая лампа” братьев Всеволожских, – поворот на наше Жозефо-Деметрово перекрестье-противоборье, что настанет еще не сейчас, но уже очень скоро, а пока – мимо Консерватории с Мариинкой, через Поцелуев мост с его Морским караулом, за площадь с воткнутым в нее Конногвардейским бульваром, на Николаевский, он же – мост лейтенанта Шмидта и, следовательно, имени пастернаковской поэмы, через черно-чугунную, свинцово-серую с мелкой цинковой рябью Неву – на Васильевский остров.

Кто-то туда собрался уже умирать, но пока мы едем читать стихи, – так я по крайней мере считаю, составляя в уме программу, подходящую для этих крутых, наделенных своей пайкой правды “ребят из Горного”. Жозеф тоже сосредоточен, молчит и как будто волнуется перед встречей. Обогнув портик Горного института со скульптурными группами, мы скрежещем еще куда-то внутрь не столь жилого, сколь индустриального района. Вот и приехали. Общага. Но вместо ожидаемого подвала

со стульями нас ведут наверх, в одну из комнат вдоль коридора. Четыре койки и стол. Четверо-пятеро слушателей, кто на табуретке, кто прямо на койке. С нами – всего шесть или семь человек, не больше. Иосиф читает, читает, читает... Я все это уже слышал. Зачем я здесь?

За столом сидит парень, вбирает все хватко. Такие, бывает, пока не возьмутся за ум, водят шайки уличных подростков. Всегда назначаются старшими в любой общественной клетке. А в проектных конторах поздней идут по профсоюзной части.

– Ну что ж, толково. Только вот это, как у тебя там? – "Возьми себе на ужин?.."

– "Какого-нибудь слабого вина"...

– Вот-вот... "Слабого" – это нехорошо. Точно говорю. Надо покрепче.

Не прощаясь, я покинул компанию. В следующий раз мы с Жозефом увиделись не скоро. Но в стихотворении "Воротишься на родину..." появилась поправка: "... Какого-нибудь сладкого вина".

Чего-то Жозеф набрался существенного в своих геологических партиях: думаю, дзен-буддизма, убедительного, как это всегда и бывает, на месте. Но из очередной экспедиции вдруг "отвалил" в самом ее начале и задолго до срока вернулся в Питер. Мы снова стали видаться-водиться. Его писания изменились, хотя и не в восточную сторону, а на Запад – туда его вырулил Дос Пассос, чей "1919" я давал ему незадолго до отъезда. Мне также на прочет были вручены листки его прозы, написанные в сугубо американской манере и плотно, без интервала, напечатанные на отцовском "Ундервуде". По объему – два коротких рассказа: один – внутренний монолог похитителя самолета на аэродроме перед самым угоном, а второй – написанный от третьего лица эпизод ожидания рокового рейса: Дос Пассос почти один к одному, только герой мочится не на трухлявый пень, а на стенку оранжереи...

Я мог заметить вслух лишь: "Уж очень – Дос Пассос", – и все, об этой прозе я ни от него, да и ни от кого другого более не слыхал, осталось лишь на запятках сознания чувство опасной раскрутки каких-то событий, намек на рискованные действия, на которые, впрочем, я считал своего молодого друга совсем не способным. Уж больно нервен он был, порой даже со срывами в истерику.

Но в иных случаях показывал недюжинную выдержку.

(А ту книгу я видел позднее в музейной экспозиции "Домашняя библиотека И. Бродского", – видно, он ее зачитал. Но оттуда уже не вернешь.)

Вдруг звонит:

– Болова приглашает нас послушать Галчинского.

– Константы Ильдефонса? Какими судьбами?

– У ее знакомой польки есть его записи; а вернее – пластинки. Едем?

– Едем, конечно!

По дороге выжимаем досуха, до последней капли юмора все шутки из пушкинского “Годунова” – и гордую полячку, и сцену у фонтана, благо что и Димитрий… Я здесь! На щеке бородавка, на лбу другая…

А вот и Зофья, Зошка Капушчинска, – русые славянские волосы, блеклые глаза, ломаные движения – и очаровательный акцент:

– Бовова! Дзима, Ошя…

И, переспрашивая:

– Пожавуста?

Муж Юра тут же посылается за портвейном: поэты ведь ходят в гости с пустыми руками, зато читают стихи.

Но сейчас мы слушаем: великолепный голос, великолепные стихи, великолепный тон. Это Галчинский читает поэму “Зачарованная дорожка” – элегантно, магически и артикулированно. Вот как надо читать! Нет, вот как надо писать! Это же – колдовство:

Зачарована дорожка,
Зачарованы дрожкарж,
Зачарованы кон.

Так, кажется, звучало с польской пластинки… Как это перевести? Именно близость языков становится главным препятствием. “Зачарованная”? – не то ударение. “Заколдованная”? Тоже. “Заговоренные дрожки”, – так перевел Иосиф. Ближе… Но с авторской интонацией все же некоторый несовпадеж.

Теперь читаем мы, подражая невольно звучанию мастера. Юра опять отправляется за портвейном.

– Дзима, еще! Ошя…

Когда мы вываливаемся в парк, разбитый на площади перед Кировско-Троицким мостом, стоит “зачарованная” белая ночь с розово-серебряными разводами по воздуху, пахнет персидской сиренью, из-за кустов которой блестит неподвижно Нева и чеканится скраденная расстоянием решетка Летнего сада. Гвязд

нет, но небо пенкне. Поэты перекрещивают руки и садят Болову на образовавшееся из их запястий сиденье. Счастливая вакханка запрокидывает голову и машет белыми ногами, сбрасывая легкие туфли. Поэты подносят ее к центральной клумбе, засаженной каннами, и она босиком хрустит по сочным стеблям. Всеобщая эйфория!

В этот момент из кустов появляется страж:

– Безобразничаете? Ваши документы!

Что делать? Бежать? Нет! Защищаться? Как?! Бродский невозмутимо протягивает стражу… читательский билет в Публичку, причем на чужое имя. И это – о удивление! – срабатывает:

– Что ж вы? Казалось бы, работники культуры, а сами…

В еще пущей эйфории мы пересекаем Неву, вторгаемся, перебравшись по угловой решетке, в запертый Летний сад, там получаем по восторженному поцелую от нашей подвыпившей Евы и решаем, кому ее провожать. Она вовсе не протестует, а с интересом смотрит на наши торги. Длинная спичка достается мне, и с Иосифом мы прощаемся. Его молчаливый взгляд говорит: “Счастливец!” Я провожаю до Невского усталую Болову, читаю на ее изможденном личике крупными буквами: “Полезет ли целоваться?” – не лезу и возвращаюсь к моей Натахе домой на Тверскую.

Увлекшись Зошкой (бедный инженер Юра!), Иосиф перевел на русский все, что звучало по-польски на пластинке Галчинского, и много более того, разгрохал и длинную поэму “Зофья”, в которой, если исходить из прежней критической оценки Славинского, “ложного пафоса” поубавилось, но “воды” все еще было много. Он стремительно рос, на глазах превращаясь в большого Бродского. Пропадал, появлялся с новыми стихами, звук которых все же казался мне литературным, но уже по-другому: он не был отработанным материалом чьих-то писаний, а сам становился письменностью высокой пробы.

Кроме переводов, да и то эпизодически добываемых в Москве через Булата (поэзия народов союзных республик) или Давида Самойлова (поэзия славянских народов), печататься нашей компашке нигде не дозволялось. К старым поклепам все время что-то добавлялось. Вот в “Вечерке” появился очередной мутный фельетон, на этот раз с упоминанием Иосифа, хоть и вскользь, но в очень уж паршивой связи с “делом Шахматова-Уманского” об угоне самолета, верней, не об угоне, а попытке угона, а еще точней – о намерении. Напутано было сознательно так, чтоб ничего не понять.

– Это опасно. Могут и взять, – предупредил я Жозефа.

И тут он мне выложил:

– А меня уже и так брали.

– Как?!

– Так. Продержали примерно пятеро суток во внутрянке Большого дома.

– И что?

– Писал стихи, как Аполлинер, чтоб не спятить. В день по стишку.

И он действительно прочитал мне несколько необычно для него коротких, с необычно обедненной лексикой стихотворений.

– Ты стал писать лаконичней…

– Чтобы легче запомнить: полдня сочиняешь, полдня повторяешь на память.

Это уже был сигнальный звонок от советской Фортуны, знак, воспринимаемый подданными ее даже не на слух, а на нюх: сей малый опасен. Каким-то подобным ферментом и я был невидимо опрыскан, и Найман, и Рейн, отчуждение испытывали и мы, но “обе заинтересованные стороны” вели себя так, что до арестов дело не доходило. Более того – все чаще мы выступали на публике определенным тараном, чему способствовал и алфавит.

Мы с Жозефом оба на “Б”, но по вторым буквам я выхожу вперед и потому выступал всегда первым. Если удавалось одолеть начальную скованность и не обращать внимания на опаздывающих, мне случалось сорвать свой аплодисмент даже в этой невыгодной позиции. Но – не в тот раз, когда мы читали в Доме писателя на так называемом “открытом ринге” перед писательской и другой сочувствующей публикой. Людмила Штерн называет эту дату: 10 мая 1962 года года, – пусть так. “Открытый ринг” предполагал бойцовское соревнование участников, но вместо этого во время чтения я услышал совсем не спортивные кряканья, кваканья, блеянья и почти что даже хрюканья – так выражал свое неприятие моих стихов “собрат по перу” Лев Куклин, тот самый горняк, в чьих стихах, как запомнилось, партия обладала детородно-осеменяющей функцией… Этого поведения председательствующий Николай Браун как будто не замечал. Игнорировал и я эти выпады, довел выступление до конца. Сидел после этого и злился.

Стал читать Бродский – хрюканья возобновились. Жозеф благородно и негодующе остановился, и тут уже возмутился весь зал. Я рвался растерзать обидчика, меня удерживали. Наконец вспомнил свои обязанности и председатель. Куклин ушел через боковой выход, чтение возобновилось. Иосиф получил разгоряченный успех, Найман был скован и оказался в тени, Рейн докрикивал свои стихи уже уставшему залу…

Имя Бродского стало возникать даже в его отсутствие. Однажды наша былая “технологическая” троица выступала в Театральном институте на Моховой – и без него: так уж нас пригласила тамошняя преподавательница литературы. Слушали нас хорошо, мы читали уверенно, на ходу вставляя в программу более рискованные вещи, чем обычно. Закончили.

Звучат аплодисменты. Литераторша поднимается из первого ряда с тремя букетами. В этот момент на эстраду вылазит молодой неизвестный нахал:

– Я прочту свое…

Как это, как это – свое? Кто его звал сюда, если мы уже званы? А он читает рифмованную околесицу с сатирическим уклоном – и против Бродского: мол, сидеть тому за одним столиком в кафе “Голубой огонек” с Евтушенкой… Я свищу в два пальца, прерывая самозванца. Выкрикиваю:

– Откуда такое взялось? Евтушенко – официоз и халтура, а Бродский – поэт настоящий!

Хватаю пальто, на ходу одеваюсь на лестнице. Толя следом, за ним – литераторша:

– Простите нас, умоляю!

Сует нам букеты, мы не берем. За нами спускается Рейн.

Однако та литераторша все же расстаралась и поздней устроила нам, всем четверым, отдельный вечер. В большом зале с подмостками, с которых странно было выступать перед актерами, режиссерами и другими постояльцами и профессионалами сцены. Значит, о манере, о поведении – забудь. Сосредоточься лишь на том, что читаешь. Только это и есть – твоя мысль, художество, жизнь. Одно стихотворение, другое, третье… Еще, еще. Зал – твой. Аплодисменты!

Я спускаюсь со сцены, сажусь рядом с Рейном. Теперь (по праву второй буквы) должен выступать Жозеф. Он медлит и медлит. Выходит, смотрит в зал, схватившись ладонью за подбородок. Отворачивается. Трясется, давится – то ли от истерического волнения, то ли от смеха. Опять поворачивается в зал, со взрыдом хватается руками за лицо, сдавленно хохочет, замирает с ладонью на темени.

– Перестань! Давай читай! – выкрикиваю я с места.

– Не мешай ему! – обрывает меня Рейн. Его глаза горят, он завороженно и преданно смотрит на сцену, где – теперь уже можно сказать точно – его любимец, его пожизненная ставка, справляется с залом, подчиняет его, еще и не начав читать, заставляет всех забыть о предыдущем. Остается с толпой наедине. И когда наконец готовится начать, зал облегченно разражается аплодисментами.

Дальше – форсированное чтение, возрастающие периоды картавого и носового звука, утомительный строфический разгон по ступеням – и дальше: второе дыхание, незнакомый ландшафт, убийство непонятно кого, непонятно за что, жизнь, смерть, цветы, “Холмы”...

Я написал в некрологе, напечатанном в нью-йоркском “Новом журнале” за номером 97: “Ему свойственно было изощренное чувство формы, законы которой он сам же нарушал неостановимым, завораживающим потоком слов, дважды, трижды, четырежды перехлестывающим через ожидаемый конец, раздвигая таким образом пределы стихотворения и превращая его в поэму. Неизбежная инфляция слов при таком изобилии не только не охлаждала читателей и слушателей, но, наоборот, их привлекала. При живом авторском чтении напор повышающихся интонаций голоса затоплял формы стихотворений и создавал иллюзию невероятного, нечеловеческого вдохновения”.

И тут были бурные, несмолкающие... Потом – Найман, который, конечно, не разыгрывал предваряющих сцен, и ему было нелегко. Затем – Рейн, как уже бывало, докрикивающий стихи уставшему залу.

И – недоуменный осадок: если ты так талантлив, зачем тебе эти сценические уловки, спецэффекты? И ответ: а затем, чтобы отъединиться от компании, дело-то ведь не хоровое, а сольное. А как же тогда акмеисты-футуристы, разве все были там шушваль и фуфло, прилипающие к талантам? Нет ведь! А поэтические дружбы, не все ж это сказки? Да и по делу – совместные выступления, манифесты, сборники, серийные выпуски книг и рецензии? История литературы наконец? Энциклопедии и словари?

Нет, дело было в постоянной честолюбивой наметке, в нацеленности на золотой и единственный шанс, который компаниям не выдается; на – выигрыш: тройка, семерка, туз...

А пиковую даму не хотите ль?

Поздняя Ахматова

“Это я и прекрасная старая дама”, – написал Найман о своем (и – нашем) длительном и благом опыте знакомства, то есть о встречах, разговорах, обмене телеграммами, звонками, стихами и взаимными посвящениями с Анной Андреевной Ахматовой, не совсем галантно поставив себя в этой строке впереди дамы. Но

предположим, что они спускаются по ступеням крыльца комаровской литфондовской “Будки” или выходят из лифта, который по аналогии можно приравнять к вертикально передвигающейся карете, и тогда все будет по правилам благородного обращения: кавалер впереди дамы. Он и в самом деле познакомился с ней первым из нас – как-то через Эру и Зою Томашевскую, произведя, видимо, на нее впечатление и стихами, и наружностью, напоминавшей облик Модильяни, да и собственным обаянием, которого ему было не занимать.

Его тогдашние рассказы о встречах с Анной Андреевной были немногословны, не касались содержания их разговоров и сводились к восхищенным признаниям, “как они много ему дают”. Это сильно отличалось от нередких в нашем кругу рассказов о знаменитостях, коллекции которых насобирали мои друзья, да и у меня кой-какие громкие имена числились уже в загашнике. Наоборот, Ахматова представлялась тогда анахронизмом да и была овеяна дымом официальной опалы, но как раз в этом угадывалась возможность встать нам, неизвестным, на одну доску с ней, слишком даже известной – и не без картинной бравады по отношению “к ним ко всем”. Рейн предпринял свои шаги и вскоре позвал меня пойти познакомиться с ней.

Я был убежден, что встреча произойдет по испытанному сценарию “студентов из Ленинграда”, как это бывало не раз в Москве, но из студенческого возраста мы уже выросли. К тому же Рейн, очевидно, заранее сговорился и знал обстоятельства: мы зашли в канцелярский магазин, и он купил шпагату и оберточной бумаги. Он уверенно позвонил в дверь второго этажа дома, мимо которого я тысячу раз уже проходил, никак не ожидая на этой улице вообще ничего примечательного: наша Федосья ходила “на Красную Конницу” за продуктами.

Открыла сама Ахматова, полная, благообразно седая и, повернув свой неопровержимый профиль, бросила в глубь квартиры (властный голос, нежные модуляции):

– Ханна, здесь молодые люди к нам пришли…

Случай, по которому мы здесь пригодились, был переезд: Ахматова с остатками семьи Пуниных получила квартиру в писательском доме на Петроградской стороне, и по предложению Рейна мы были призваны в помощь для упаковки книг.

Все это, впрочем, он уже описал; добавлю лишь детали. Помощь от нас была невелика, да и Ахматова не торопила, чуть ли не каждая книга, снимаемая с полок, сопровождалась каким-либо комментарием: многие были с автографами, пастернаковские – с обширными надписями. Два этнографических

оттиска, сброшюрованные в простой картон, вызвали у нее особые, даже горделивые пояснения: то были научные статьи ее сына Льва Николаевича Гумилева.

Наша работа по упаковке совсем замедлилась, а короткие замечания переросли в разговор о литературе. Ахматова не удивилась, узнав, что мы оба пишем стихи, и предложила перейти в смежную малую комнату – видимо, ее обиталище, которое она собиралась сменить на другое.

– Читайте.

Мы прочитали по стихотворению.

– Еще.

Это уже звучало косвенным признанием, и действительно, после прослушивания она объявила, что “стихи состоялись”, но “надо писать короче”.

– А Блок считал, что идеальный объем стихотворения – от двадцати четырех до двадцати восьми строчек, – выпалил вдруг я и заметил на себе предостерегающий взгляд Рейна. От него-то я и узнал о таком мнении Блока, но, вероятно, как многое другое, это было одним из вымыслов моего друга. Что теперь скажет Ахматова?

– Блок... Хотите я расскажу вам, как у меня НЕ БЫЛО романа с Блоком?..

И она рассказала сначала о том, как после их общего выступления перед студентами молодой распорядитель, вместо того чтобы просто отпустить их вдвоем на извозчике, оказывал им почести и развозил в авто по домам. А затем – о случайной встрече на железнодорожной станции и его быстром вопросе: “Вы едете одна?”

– Бог знает, что было у него в уме. А сам он ехал тогда с матерью, я узнала об этом из его “Дневника”. Вот и все. Эти догадки о нашем романе – не что иное, как “народные чаяния”.

Два малых эпизода, многим теперь известные благодаря мемуарной книге Наймана, создавали интересный многослойный эффект, в особенности вместе с ее стихотворением “Я пришла к поэту в гости...” Иронически отрицая роман, всем контекстом тем не менее она давала понять, что роман был возможен: направляла воображение на живую игру взглядов, движений губ и дыхания двух молодых знаменитостей. Я был в восхищении от ее рассказа, будто сам побывал там, ну хотя бы в роли того незадачливого студенческого распорядителя. Кроме того, шутки шутками, а тема “Ахматова и народ” возникала сама собой, как ремарка из “Бориса Годунова”: “Входит Пушкин, окруженный народом”, и с той же, якобы иронической, целью. Слова ее мерялись не размерами разговорного почерка (никаких пустяков), а

крупностью самого мышления.

– Как маршал Гинденбург говорил: “Я знаю моих русских”, так и я скажу: “Я знаю моих читателей”.

Это она пояснила свою догадку о том, что мы оказались не читателями, а поэтами… Узнав, что я живу поблизости на Тверской, а вырос и жил на Таврической, она опять заговорила:

– Рядом с Вячеслав-Ивановской башней? А ведь именно там Николай Степанович познакомил меня с Осипом Эмильевичем…

– А как это было?

– На балконе или скорее на смотровой площадке в уровень с крышей. На нее можно было пройти через лестницу, что Осип и сделал. Он стоял, вцепившись в перила так, что косточки пальцев его побелели.

– А вы?

– А мы с Николаем Степановичем гордились своей спортивностью и вскарабкались туда из окна.

Как обитатель Тавриги, я это представил живо до головокружения. Но пора было и по домам. На прощанье мы оба галантно поцеловали ей руку.

– Заходите еще.

Так началось наше знакомство. Ближе к концу лета позвонил Толя, весело произнес:

– Анна Андреевна тебя ждет сегодня вечером. Косвенный повод – новоселье.

Писательский дом на Петроградской, сталинской постройки. Открыла Аня Каминская, тогда казалось – вылитая Ахматова в молодости…

– Акума вас ждет.

В прихожей мелькнула Ирина Николаевна, из двери высунулся, как бы слегка кривляясь, ее муж Роман Альбертович, актер и чтец. Кто есть кто в этой мгновенной мизансцене, мне в двух словах объяснил Найман, он уже здесь был свой. Да и я мигом почувствовал себя запросто, увидев с Ахматовой светящегося от удовольствия Бродского и Рейна, отпускающего по своему обыкновению остроты, – гулко и довольно дерзко. Ахматова была оживлена и довольна, мы ей определенно нравились.

Ее вытянутая комната, в сущности, была немногим больше, чем на Коннице, и от тесноты ее спасало лишь почти полное отсутствие мебели: высокая кровать с рисунком Модильяни над ней, столик, несколько стульев да итальянский резной поставец-креденца у дальней стенки, – вот и все, что в ней находилось.

– Анатолий Генрихович, там, в креденце, есть “Тысяча и одна ночь”. Передайте ее мне.

Арабские сказки?! Как это понимать? Через минуту разъяснилось: издательский макет книги с пустыми страницами – чей-то подарок и идеальная записная книжка! Оттуда было прочитано краткое воспоминание о знакомстве с Модильяни, рассказ явно не полный, но с запоминающимися деталями: например, с раскиданными по полу мастерской розами. “Как хорошо, что я принес ей именно эти цветы!” – мелькнуло в уме.

О рисунке было замечено отдельно, что их еще была целая серия – числом до двадцати. Хранились они в Царском Селе, но пропали.

– Как? Когда?

– Не знаю… Должно быть, их скурили красноармейцы на папиросы.

Мне еще тогда показалось странным: уж наверняка солдаты предпочли бы для самокруток что-нибудь помягче, чем рисовальная бумага, – газету, например. Лишь много, много лет позже, целую вечность спустя, я узнал о сенсационном обнаружении коллекции доктора Поля Александра, врача, лечившего Модильяни. Не хотелось верить в подлинность рисунков, глаза отказывались их признать, ум искал уловок: не может профессиональный художник использовать, например, пунктирную линию для изображения нагой женской груди. Нет, оказывается, может! И – да, это все-таки она. И, несомненно, у нее был роман с Амедео – даже в отрывке из воспоминаний такое предположение естественно возникает. “Ходила ль ты к нему иль не ходила?” – как вопрошает в пародийном стихотворении Владимир Соловьев. Она сама и отвечает: “Ходила!”

Что тут скажешь: было от чего ее мужу сбежать в Африку и разряжать ружья в невинных носорогов! Было от чего ему лишать девственности своих учениц в сугробах Летнего сада. Но более того – сенсация плодит другую, рождает в смелых умах новые предположения. Наталья Лянда, например, в “Ангеле с печальным лицом”, которого она мне преподнесла в Нью-Йорке “с благодарностью за желание прочесть эту книгу”, прослеживает развитие женского образа с лицом Ахматовой в рисунках и даже скульптурах Моди. Сперва она, одетая, возлежит на диване, подобно той на изначальном рисунке у нее над кроватью, затем, обнаженная, лежит ничком, прижимаясь к бумажному листу грудью и животом, но потом принимает более свободные “модильяниевские” позы, садится, воздев руки – пусть для того лишь, чтобы груди приподнялись, но эта поза нравится молодому мастеру, который просит ее встать кариатидой, и тут уже она сама, отбросив робость, показывает свои излюбленные “цирковые трюки” – танцует… Сгибаясь, кладет ладони на пальцы прямых

ног и, наоборот, выгнувшись, касается ступнями затылка... Обнаженной перед изображающим ее и, конечно же, влюбленным художником – впоследствии признанным знатоком женского тела! Скандал – мировой, литературно-художественный и притом какой дерзкий! Что по сравнению с ним последующие выходки имажинистов или футуристов: есенинские цилиндры и маяковские желтые кофты? Детский лепет!

Когда я листал эту плохо сброшюрованную книгу, листы из нее выпали, и иллюстрации задвигались, образуя эффект единого действия, как в мультфильме. Нос – то с горбиной, то без, но всегда удлиненный, глаза с восточным разрезом, это понятно, это "от бабушки-татарки", плюс макияж, грудь – широкими пиалами, легкие в предплечьях руки, удлиненная талия и, может быть, чуть коротковатые ноги: иногда художник льстит ей, иногда и утрирует. И везде челка, но ведь это – парижская мода тех времен и, возможно, не более того...

А – вот что более: африканская скульптура, в которую превращается наша нагая своевольница, и тоже с парижской челкой. Но и это еще не все, – кой-чего необычного "надыбал" издатель филадельфийского альманаха "Побережье" Игорь (Иза) Михалевич-Каплан и рассказал об этом, естественно, на страницах своего издания. Ахматова, может быть, позировала натурщицей и для другого парижского скульптора русско-еврейско-литовского происхождения, Жака Липшица, и тоже – обнаженной! Во всяком случае, кубистическая фигура, представляющая оголенную девушку-рыбачку, в профиль являет несомненное сходство с Ахматовой. Техника кубизма, конечно, не способствует портретному узнаванию, но зато стимулирует воображение. Исследователь и его консультант смогли увидеть даже зашифрованный автопортрет ваятеля в торсе этой фигуры: таким необычным (или ироническим) намеком Липшиц вписывает свою скульптуру в традиционную тему "Художник и его модель".

И – еще одно совпадение: как раз теперь, когда я пишу эти страницы, в нашем Шампанском (ну хорошо, Шампейнском) Художественном музее, который был основан богачом Краннертом, открылась выставка Жака Липшица. Среди его до-кубистических работ бросается в глаза средних размеров, но монументальное бронзовое изваяние женщины с двумя газелями. Вытянутые пропорции тела, разведенные в стороны руки, гордая посадка головы, профиль... нет, не с горбиной, а без, но удлиненный, разрез глаз и даже челка, – все повторяет тот же образ. Газели воспринимаются как комплименты ее красе. Тут – не кубизм, натура хорошо проработана, с чувственным

вниманием вылеплены груди, сосцы и выпуклый лобок восточной пастушки – это особенно заметно в гипсовой модели. Да что мне – примстилось?

Как это ни странно звучит, на выставке оказалось возможным поговорить с самим скульптором, давно умершим. Я набирал на компьютерной клавиатуре вопрос, а в мониторе возникал седой мастер и проигрывалась та часть его давнишнего телеинтервью, которая соответствовала ключевым словам моего вопроса.

Я спросил: кто позировал для его “Женщины с газелями”? Усмехнувшись, он ответил, что, главным образом, газель из парижского зоопарка. И – “одна знакомая натурщица”.

Была ли ему знакома русская поэтесса Анна Ахматова? Он уклонился от ответа, сказав, что в их семье русские стихи писала его жена Берта Липшиц, урожденная Китроссер. И, как ему кажется, довольно прилично...

Тогда я поставил вопрос иначе: где он познакомился с Ахматовой – в Петербурге или Париже? И тут он с увлечением заговорил о Петербурге, куда ездил хлопотать о наследстве в начале десятых годов, с восторгом – об Эрмитаже, где он проводил все свободное время, о встречах с тогдашней художественной молодежью... То есть теоретически они могли встретиться уже там, но и в Париже – тоже.

На этой выставке молчаливо присутствовал еще один мертвец, имевший прямое отношение к вопросу, Амедео Модильяни, – в виде посмертной маски, снятой с него Липшицем. Вернее, так: маску пытались снять двое неумелых поклонников бедного Моди. Забыли, наверное, смазать, маска не отделялась от лица. Все-таки отодрали со всем, что к ней прилипло; она раскрошилась. Плача от всего этого трагического безобразия, Липшиц восстановил, реконструировал гипсовый облик погибшего друга с истовой нежностью: покатый и успокоенный лоб; глаза под смеженными веками как будто бодрствуют, рот приоткрыт. Но когда смотришь на него в профиль, губы смыкаются, как бы заканчивая трудную фразу. Какую? Мертвые молчат крепко.

Роман в стихах

А живые тогда, у Ахматовой, читали стихи. И не по алфавиту, а: Бродский, я, Рейн. Найман, оказывается, чуть ранее знакомил ее с отрывками из своей поэмы “Исчезновение”, о которой я и не

слышал. Ахматова молча, кивками, одобряла и уже не советовала “писать короче” даже после протяженных полупоэм Иосифа.

Зато в ответ читала она сама, и притом наряду с былым, но не очень еще отдаленным самое недавнее. Это было внезапно-мощно, могуче... Время, и не только личное, а и собирательно-историческое, казалось у нее выгнутым напряженной дугою, светящейся разноцветно, как радуга. Полюса его не вмещались в пределы одной жизни, а ее поэзия их вмещала. Несмотря на свежесть, лапидарность и пристальность ее ранней лирики в ней все ж попадались и пажи, и “сероглазые короли”, и если не пастушки, то по крайней мере рыбачки, то есть атрибуты времени, отступившего на две, на три эпохи от нас. А в последних стихах были мы сами, еще и взятые на вырост, с опережением стиля, с забегом, может быть, в будущее тысячелетие. Наполненность смыслом создавала какую-то неподъемность, плотность ее языка, делала его похожим на “звездное вещество”, состоящее из спрессованных ядер. “В Кремле не надо жить. Преображенец прав...” – кто может так крупно высказываться – Ахматова? Царица Авдотья? Вот именно – “Анна всея Руси”, как ее назвала Цветаева.

Заговорили о Марине Ивановне: “Поэма горы”, “Поэма конца”, “Крысолов” – это вершины. А читали ли мы “Поэму воздуха” о полете Линдберга над океаном? Вот, возьмите и почитайте, верните с комментариями. Мой комментарий вернулся к ней на следующей неделе вместе с машинописью: стиль разреженный, верхний, с легко разлетающимся на частицы смыслом, противоположный ахматовскому, но и не ставший абсурдом Хлебникова или обэриутов.

– Что ж... И Мандельштам говорил о себе: “Я антицветаевец”.

К теме она возвращалась потом многократно.

В дверь заглянула Аня:

– Акума! Там все готово.

Перешли в кухню, которая служила и столовой. Стол был сервирован тарелками, рюмками, стояли цветы, хлеб, винегрет. По чьему-то хотению появилась и водка. Выпили по рюмке на новом месте. И так стало благодарно-хорошо, как никогда ни до, ни после. Казалось: вся жизнь впереди, вся дружба, – и у нас четверых, и у седой председательницы нашей скромной оргии. Да что там жизнь – вечность!

Как написал Найман в своей “Палинодии” (что, собственно, и означает возврат к прошлому):

Все будет хорошо,

все будет хорошо...

Да, “все будет хорошо” – в былом! Вот бы магически заткать, окуклить и замумифицировать эти мгновения, но они, увы, тикают, такают и утекают... Но что нам делать “с ужасом, который”?.. А, пустить его на самотек!

И – что ж? Еще несколько лет все казалось, что ничего в нашей жизни, кроме новых стихов и разговоров о них, не происходит. Пусть их не публикуют, но вот ведь Ахматова, которую саму не очень-то печатают, стихи эти одобряет. Веселила мысль, что в стране, где уровень привилегий измеряется тем, “кто с кем пьет”, я вот пью водку с Ахматовой. Тешил и контраст: “все вы” (подразумевалось идеологическое начальство) пошло и подло издевались над ней, лишали даже продовольственных карточек, а мы ей дарим розы, признательность и любовь. Да, именно любовь, да, к ней самой, но и к неким “трем апельсинам”, то есть к тому проявлению ее естества, которое делало, можно сказать, гениальные стихи и толстую большую старуху, улыбающуюся полумесяцем губ, нераздельными.

Нет, ни Ахматова в роли “старика Державина”, ни мы в роли коллективного Пушкина не подошли б идеально друг другу, но я думаю, что как мы – в ней, так и она нуждалась в нас; и ей по-своему нужно было точить о молодой слух или хотя бы поверять им свой новый стиль, преодолевающий на этот раз акмеизм. Вдобавок она испытывала на нас воздействие большой формы, поэмы, над которой работала, и вынужденно бросала вызов прежде всего себе самой как мастерице фрагментов, деталей и психологических миниатюр, так же как и другим поэтам, мастерам жанра: горы, конца, воздуха, моста лейтенанта Шмидта, 905-го года и даже – бывалого и неунывающего солдата Теркина.

Однажды я приехал к ней в Комарово на день рождения раньше других гостей: время, впрочем, не назначалось, да и гостям приглашенья не высылались – приезжали кто помнил и когда хотел; и она вдруг спросила, не читал ли я последний вариант ее Поэмы. Выяснив, что я не читал ни одного, она решила:

– Так я прочитаю ее вам сама.

– Единственному слушателю?! За эту честь буду вам исключительно благодарен...

– Это я должна вас благодарить. Все уже прочитали ее в ранних списках и отмечают теперь лишь отличие от предыдущего. А мне нужно цельное впечатление.

И на меня обвалились все шереметевские дворцы, – не думаю, чтобы эту поэму кто-либо был способен воспринять разом на слух... Я был ошеломлен крупностью образов, угадываемых не сразу и лишь частями, к тому же произнесенных ее “urbi et orbi” голосом, да не все я и слышал, отвлекаясь и думая, не повредит ли ей эта громадность физически, онемел после чтения, смог высказать лишь что-то наподобие следующего:

– Это же – Страшный суд! Я, конечно, имею в виду не сам Судный день, а его изображения...

В этот момент извне зазвучали голоса, заглянул Толя, который, оказывается, все это время был на даче, сообщил, что приехал Илья Авербах с тортом, они этот торт уже делят, и не хотим ли мы присоединиться? Мы захотели.

Акмеизм, можно сказать, скроенный по контурам ранней Ахматовой, никак не годился для нее поздней. Музыка – и блоковская, и та, которую она слышала сама, требовала широкой ритмической поступи, так удачно найденной и усовершенствованной ею для поэмы. То же и образы, и смыслы – их крупность раскрошилась бы по акмеистическим фрагментам, а в поэме авторская воля собирала их в пучок, сжимала в символы, даже эмблемы, наподобие герба на шереметевском доме.

Поздней я спорил с Кушнером: он считал “Поэму без героя” отречением от – чуть ли не предательством акмеизма. Я бурно возражал против законсервированности внутри каких-либо художественных принципов, приводил в пример воронежского Мандельштама, семимильно шагавшего к футуризму, но дело было не в том, что поэт, в общем-то, иных измерений не принимал новую, позднюю Ахматову, со временем раздражаясь все больше и больше. Дело в том, что она не приняла его, поставив крепкую четверку по любимому предмету, а он метил в отличники.

Кружок наш не разрастался, и это придавало ему свойство избранности. Порой меня охватывала эйфория; хотелось дерзить. Хотелось добавить еще трех и всемером (намек на великолепие нашей четверки), паля в воздух из пистолетов, угнать в честь Ахматовой электропоезд, нагруженный печатным серебром. Хотелось роскошно отягчить корзиной роз неизвестно откуда взявшийся мотороллер и привезти их в литфондовскую “Будку”. Хотелось объясниться в любви и получить от нее в ответ стихотворное посвящение, причем не только себе, но и каждому из поэтов.

Я преподнес ей стихи, и они справедливо были расценены как мадригал. Были и розы, за которыми я поехал на Кузнечный рынок и выбрал у эстонки пять свежайших раскрытых бутонов

разных форм и разной степени алости, смочил платок водой из их родного ведра и, укутав стебли, отвез букет в Комарово. Это был ее день рождения 1963 года, на даче находился с ней кто-то из пунинских домочадцев. Барон Аренс, обтертый шершавыми жерновами ГУЛага, обучил меня неожиданно элегантному умению ставить розы:

– Ножницами обрежьте им стебли – непременно под водой, как в этом тазу, например… Подержите немного – и в вазу!

Розы заалели на письменном столе четко и свежо, как манифест акмеизма. Но одна из них уже тогда предательски вознамерилась перецвесть остальных и стать символической “Пятой розой”, стихотворением, открывшим короткий цикл ахматовских посвящений, написанных в манере, как я считаю, маньеризма (разумеется, ничего общего не имеющего с манерностью), в трудном, обманном, как сам этот цветок, стиле!

Стал слышаться диалог. Некоторые из ее стихов или по крайней мере отдельные образы начали казаться обращенными напрямую ко мне, даже смущали прямотой, но зато следующие строки уводили от этой уверенности прочь, заставляли усомниться, а какие-нибудь детали – например, дата или включение стихотворения в цикл с явно иным адресатом – отрицали уже все.

Нет, не приближение и отталкивание, не игра в отношения, а полифонический прием, объединяющий “тогда” и “сейчас”, предлагающий им зазвучать вместе! При таком гармоническом условии посетитель из настоящего, войдя в перспективы тогдашнего, становился сам ничуть не менее, чем “гостем из будущего”. То же и с чужим голосом в виде цитаты или эпиграфа, вводимых в текст, то есть своего рода обручением, даже контрактом, который подписуется сторонами, – разве это не многоголосие, не Бах, не Вивальди, не Ахматова “Поэмы без героя”?

Я подписал такой контракт, когда она вынула черную тетрадь с уже имеющейся там “Пятой розой”, в которой между названием и первой строчкой было оставлено ровно столько пространства, чтобы поместить туда строчки из моего мадригала:

Бог – это Бах, а царь под ним – Моцарт,
А вам– улыбкой ангельской мерцать.

И – подписаться.

Не желая пересластить эту фугу, я выбрал для нее другой

эпиграф, который, впрочем, не устроил обе стороны. И он исчез в последующих переделках. А имя осталось, верней – инициалы.

Впрочем, на время исчезли и они. Академик Жирмунский, с которым я лишь однажды бегло увиделся, когда он выходил от Ахматовой, выкинул мое имя при публикации 1971 года в “Литературке”. Я долго колебался, прежде чем убедил себя следовать простейшей формуле: “Что было – то было”, и написал письмо в газету, которое было передано публикатору. И вовремя! В результате мои инициалы были восстановлены в выходившем тогда “синемундирном” томе Ахматовой, а в комментариях того же Жирмунского они расшифровывались полностью, и я удовлетворился: “Ленинградский поэт, работает на телевидении, преподнес А. А. пять роз”. Правда, поблизости зияла кошмарнейшая ошибка благородного академика: комментируя строчку “А в Оптиной мне больше не бывать”, он объявил вдруг, что там Достоевский встречался со святым Серафимом Саровским, что было полнейшей и позорной чушью. Но зато моя тогдашняя телевизионность проскальзывала вполне сносно-реалистически, а портрет руки в белом манжете и с пятью розами для Ахматовой выглядел весьма элегантно.

Помимо ее символизма “Пятая роза” несла еще одну примету многоголосой реальности, а именно - запись обстоятельств ее написания: “Нач. 3 августа (полдень), под “Венгерский дивертисмент” Шуберта. Оконч. 30 сентября 1963. Будка”. Я долго упускал это из внимания, наверное, потому, что дивертисмент Шуберта, хоть и слыхал прежде, но не помнил, а саму ссылку на него считал тут излишней. И - напрасно!

Жизнь, две жизни спустя его вдруг заиграли по радио, которое у меня настроено на университетскую станцию, передающую беспрерывно классическую музыку. Прозрачная и счастливая тема зазвучала в моем арендуемом Скворешнике, выходящем окнами в кроны орехов и кленов,– переливалась, длилась, заканчивалась и тут же возрождалась в новой, столь же чистой, опять и опять возникающей музыкальной фразе.

Пятая роза!

Я бывал у Ахматовой и виделся с ней значительно реже, чем мог бы, чем хотел и, вероятно, чем она этого хотела, – меня захлестывали чувства. Целая их свора, лишь оттенками отличавшихся от восхищения, мешала мне ступить прямо, держаться просто, не говорить глупостей наконец... Я налагал на себя требования и не мог явиться к ней просто так, а явившись, обсуждать пустяки или слухи, да и ее манера выдерживать паузы плюс, увы, некоторая глуховатость давали собеседнику задачу говорить чеканно и звучно, а это, в свою очередь, требовало афористического мышления. Иными словами, получалось, что с неоконченным стихотворением к ней не придешь, а когда его кончишь, она оказывалась либо на даче, либо в Москве, а то и в больнице.

Что ж, в Комарово съездить несложно, да и в Москве я, случалось, оказывался одновременно с ней. Останавливался я обычно на Соколе у своей "двоюродной мамы" Тали, когда-то научившей меня грамоте, и я припоминаю, как, явившись однажды, услышал трепет в ее вопросе:

– Тебе могла звонить Анна Ахматова?

– Да, конечно. А что она говорила?

– Оставила номер, просила звонить.

И я звонил, и, услышав "Приезжайте сейчас", ехал, и шел на Большую Ордынку, 17, кв. 13, где сначала сидел в гостевой клетушке (кровать, стол, стул) и с глазу на глаз переговаривался с Государыней слов на равных, как фаворит или заговорщик, курил в форточку, читал свое привезенное, слушал ее вспомненное или заново сочиненное. Затем "высокие договаривающиеся стороны" переходили в гостино-столовую, и там мелькали известные персонажи.

Там она представила меня Марии Сергеевне Петровых, "мастерице виноватых взоров", предварительно рассказав о ней как о тайной любви Мандельштама, как о равно духовной поэтессе и трагическом существе, скомканном и сломанном в обстоятельствах мандельштамовского ареста. Ну а стихотворение Петровых "Назначь мне свидание на этом свете" я и так уже годами твердил наизусть – по еще тому, празднично запомнившемуся "Дню поэзии" 1956 года.

Виделись мы с А.А. и на Беговой, где Ахматова, по ее рассказу, позвонила в дверь Марии Сергеевны, но отказывалась войти, пока не заставила ту отыскать прятанный-перепрятанный

архив со стихами и письмами.

В тот раз архив уже не пришлось разыскивать, и Мария Сергеевна прочитала легким и как бы шарящим по памяти голосом стихи об осине, трепещущей и без ветра:

Там сходит дерево с ума
при полной тишине.
Не более, чем я сама,
оно понятно мне.

Заключительная строфа делала их автопортретом, проступающим сквозь черты дерева, и это наводило на мысль о лиственных и ветвистых самохарактеристиках поэтов. Я написал стихотворный портрет ольхи и задумывался: кто же Ахматова – ива? Шиповник? Нет, она была рощей, парком, Царским Селом.

В ее отсутствие желание видеться с ней становилось сильнее. Можно было написать ей письмо, но до смешного малая причина долго удерживала меня: как правильно – “я скучаю по Вам” или “по Вас”? И почему-то, по какой-то суеверной догадке, никак нельзя было написать “без Вас”. Наконец я додумался обойти это препятствие: “Никакие “соскучился” и “скучаю” не выражают и доли Вашего отсутствия”. Дальнейшее в том письме – все чувства, целая их толпа: желание и невозможность ее видеть; чувство чего-то чрезмерного, громадного или же бесконечного, ею вызываемое; неизбежного, может быть, даже фатального; чувство благодарности за “Пятую розу” и в особенности за ту строку, где “дело вовсе не в любви”. И, наконец, чувство “живой тишины” в ее отношении ко мне. Даже странно: на четырех страницах – ни единой мысли, а они, кажется, водились в моей голове... Отметила это и адресатка, сделав запись, скорее всего ироническую, где-то в своем дневнике: “Поблагодарить Дмитрия Васильевича за телеграмму и чувства”. Была еще и телеграмма.

Она сама и ввела телеграф в обиход наших общений: встретиться, вспомнить о ком-то третьем с приязнью, например, о Марии Сергеевне Петровых, и отправить ей из-под “комаровских сосен” (на соснах она настаивала) привет без точек и запятых, но с единою подписью “Ахматова Бобышев”. Вот и я к новому – кажется, 1964-му – году послал на Ордынку “Ардовым для Анны Андреевны” следующее:

ДОРОГАЯ АННА АНДРЕЕВНА ЖЕЛАЮ ВАМ В НОВОМ ГОДУ РАДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ЖДУ ВАШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ЖИВУ ПОД КОМАРОВСКИМИ СОСНАМИ ПОМНЯ О ВАС С ЛЮБОВЬЮ ВАШ

БОБЫШЕВ.

И еще одно письмо, которое я послал ей при известии о болезни, было, наверное, одним из последних, ею полученных, и я никак не думал, что оно сохранится. Нет, оно нашлось в ее бумагах:

“Дорогая Анна Андреевна!

Эти слова и привет, конечно, не смогут помочь Вашему здоровью, но я шлю их, чтобы дать Вам знать, что люблю Вас и сочувствую в Вашей болезни. Пусть у Вас хватит сил справиться с ней поскорее.

Я достал “Бег времени” и очень был обрадован тем, что под обложкой книги оказались изображены знаки Зодиака: хорошо, что они начинаются до стихов и продолжаются после. Это совпадает с тем, как я представляю Вашу поэзию, проходящую в ряду тех же высоких образов: Рыбы, Стрелец, Anno Domini, Реквием, Поэма, Пролог, Телец, Козерог...

Надеюсь, что Вам придутся по душе стихи, которые я посылаю в этом письме.

С нетерпением жду Вас в Ленинграде.

Дмитрий Бобышев”.

Во всех трех посланиях повторяется слово “любовь”, есть оно и в моем мадригале, и в ее “Пятой розе”... Как тут не встрепенуться и не насторожиться чуткому слуху? Что ж, я не скрываю и признаю это чувство: оно было искренним и, безусловно, платоническим. Вот какой разговор получился у меня много, много поздней с Ольгой Кучкиной, напечатавшей его запись сначала в “Комсомольской правде” (частично), а затем и в своей книге “Время Ч”:

– ... А Мандельштам был в нее влюблен?

– Она говорила, что, кажется, да. Во всяком случае, одно время они встречались очень часто, ходили на концерты, и однажды Ахматову это озаботило: не слишком ли часто? Мандельштам почувствовал, обиделся и пропал на долгое время. Они встретились опять, когда он был женат, и она подружилась с Надеждой Яковлевной. Они обе оказались в Ташкенте во время эвакуации и особенно сблизились. Когда я расспрашивал Ахматову о Мандельштаме, она в конце концов сказала: надо мне познакомить вас с его вдовой, вы не подумайте, что это какая-то старуха, это настоящая вдова поэта. И по ее рекомендации я поехал к Надежде Яковлевне, которая жила тогда в Пскове.

– Послушайте, но вот она на фотографиях очень некрасивая – а в жизни какая?

– Она была страшна и в жизни, особенно когда злилась, а злилась она часто, ее реакции были острые, слова – колючие,

едкие. Она мрачно смотрела на жизнь, на литературу: конечно, она думала, что вряд ли явится дар, равный дару погибшего мужа.

– А все-таки мелькало что-то прежнее, что привлекло к ней Мандельштама?

– Я видел фотографию того времени, где изображена худенькая и действительно прелестная женщина. Не красавица, но в эту женщину можно было влюбиться.

– Я такую фотографию видела тоже. Одну-единственную. Она, бесспорно, была умна и одаренна, потому что написать книгу, как она написала о Мандельштаме...

—Ее первая книга воспоминаний – это по темпераменту да и по жанру – книга пощечин. Она и начинается с пощечины Алексею Толстому. А дальше раздается по мордам всем преуспевающим чиновникам от литературы. И – справедливо, поскольку эти хлесткие характеристики имели отсчетом гибель Мандельштама, трагическую и мученическую...

– Она имела право.

– Первая книга вызывает именно это чувство: да, она была вправе... Но вторая, которая так и называется “Вторая книга”, имеет несколько смещенный отсчет. В ней Надежда Яковлевна раздает пощечины уже от своего имени. И тут хочется протестовать.

– А Анна Андреевна? Вы говорите, та женщина была злая. А эта женщина какая была по характеру? Величественная, простая, какая?

– Она была и величественная, и простая, но никогда не мелочная. Добрая, и в то же время могла быть очень насмешливой. Ее остроумие – великолепное, блестящее, в некоторых случаях убийственное. Вот она рассказывала, как лежала после третьего инфаркта в больнице на Васильевском острове в тяжелом состоянии, к ней не было доступа. Но правдами и неправдами к ней пробился молодой московский поэт с претенциозным псевдонимом – можно его называть, можно нет, поскольку как поэт он никому не известен. Он пробрался с единственной целью – узнать мнение Ахматовой, кто первый поэт: Цветаева, Мандельштам или Пастернак? Заметим в скобках бестактность молодого человека, который не включил в этот список ее саму. Ахматова нашла в себе силы ответить следующее: все они звезды первой величины, и не нужно превращать их в чучела, наподобие диванных валиков, чтобы этими валиками избивать друг друга. Впоследствии я не раз вспоминал эти “диванные валики” и как они используются для литературных репутаций...

– А в ней было то, что поймал Модильяни, или это уже был другой человек?

– В ней была определенная грация, но неподвижная, медленная. А ведь именно это передает тот единственный оставшийся у нее модильяниевский рисунок... Она была красива и в семьдесят лет.

– Вы это как молодой человек чувствовали?

– Чувствовал. После ее смерти об этом же меня расспрашивала Надежда Яковлевна Мандельштам. Она говорила, что после семидесяти лет женщины часто теряют реальное представление о себе и что такова была Анна Андреевна. И когда я спросил, в чем же это проявлялось, заявив, что сам я замечал только ее могучий ум, остроумие и все возраставшую поэтическую силу, она сказала: ну, например, Анна Андреевна считала, что в нее влюбляются и после семидесяти. Я возразил: но это правда! Она спросила: вот вы были влюблены в нее? Я сказал: да, я был влюблен в нее. Тогда она “сразила” меня вопросом: а вы желали ее как женщину, ведь именно к этому все и сводится? Я ответил: но это же не единственное проявление любви, взять описание влюбленности у греческой Сапфо – она говорит о волнении, расширении зрачков, о холодном дрожании пальцев – это все было... Но, естественно, дистанция, включая и возрастную, была такова, что о подобном нецеломудренном отношении не стоило и фантазировать. Конец у разговора тоже был знаменательный. Надежда Яковлевна сказала: я думала, что после семидесяти пяти все без исключения впадают в маразм. А ей самой было уже больше. И я, вместо того чтобы возразить любезно, мстительно промолчал.

Иные чувства

А что же моя Наталья? Действительно, как-то мало я помню ее рядом с собой в дружеских коловращениях, именуемых теперь емким, хоть, увы, приблатненным словечком “тусовка”. В доме Толи и Эры на улице “Правды”, в доме Жени и Гали на Рубинштейна, вполне отчетливо воспринимавшихся как литературные дома (слово “салоны” ругательно использовал только Горбовский), Натальей не восхищались, как мне хотелось, а в “нашем” доме на Тверской сборища были редкостью – топорщилась теща, в особенности после выступления Бродского, когда он впервые опробовал свою силовую, агрессивно-роковую

манеру читать. Приходилось иметь в виду и то, что технически наша квартира была коммунальной: третью комнату в ней занимала машинистка из Смольного, молчаливая, из пухлых шаров состоящая тетушка, которую навещал седоусый, но еще добрый молодец, на ком когда-то, должно быть, ладно сидела бескозырка со словом “Варягъ”.

Два-три гостя максимум, беседа за крепким кофе из джезвы или за бутылкой именно “слабого”, а не “сладкого” вина была идеальной формой общения у нас, но все же часто я уходил из дому один.

Физически я хранил ей опрятную верность, но эмоционально порой возвращался опустошенным, и она ревновала, пробовала меня проверять. Должно быть, обсуждала все с матерью. Вдруг, когда я собрался к Ахматовой, стала настаивать на поездке к ней вместе, а прежде – никогда. Пришлось мне звонить снова, уточнять. Телефон ответил неожиданно весело: “С женой? Вот и прекрасно!”, то есть с той стороны ситуация прочиталась совершенно узнаваемо: “С ревнивой женой? Вот и прекрасно!”

Я записал эту дату – 18 марта 1962 года, в этот день к Ахматовой должна была приехать из Тарусы Надежда Яковлевна, и я с моей стихотворной вариацией на тему манделыптамовского “Волка” намеревался быть ей представленным. Но она не приехала, предупредив телеграммой о болезни и операции.

Наталья молчала, а мы говорили, конечно, о Мандельштаме, о, как мы думали, скором издании его в Большой серии Библиотеки поэта. Этот многострадальный “синемундирный” том в действительности еще годы и годы претерпевал отлагательства и отмены, внутреннюю борьбу составителя Н. И. Харджиева и правонаследницы Н. Я. Мандельштам, да что там борьбу – войну, в которой потеряли все стороны, но тогда казалось, что издание вот-вот состоится.

– По-видимому, это получится хорошая книга. Выйдет и полный Мандельштам, – уверяла Ахматова. – Когда он умер, я сказала: “Теперь с Осипом все будет благополучно”.

Этот мрачный парадокс напоминал мне о существе литературного дела, в которое я уже настолько глубоко ввязался, что сам рассуждал в накануне прочитанном ей стихотворении памяти Мандельштама:

Ты еще жив. И я когда-то думал,
любовь не понимая, не щадя:
– Я жив еще. В груди моей угрюмой
свисает ветвь осеннего дождя.

Крыловский журнал так ведь и назывался: “Почта духов”, а мы тогда говорили о призраках, как о живых, да чуть ли не с ними самими, существовала даже переписка с их миром, о ней я и заговорил:

– Рейн мне сообщил, что письма, вам обещанные, находятся у одного букиниста. Но лицо, которое их передало, поставило два условия. Первое: никому не открывать его имени…

– Так. “Пожелало остаться неизвестным”…

– Да. И второе: ни в коем случае не допускать делать фотокопии. Мне кажется, эта таинственность имеет какой-то оттенок уголовщины.

– Так оно и есть. Я знаю это лицо. Это лицо – вор. В. О. Р. А письма написаны Николаем Степановичем ко мне. Они остались на хранении у одного казавшегося надежным молодого человека, который был потом убит на войне. А бумаги присвоила его жена, то есть попросту украла, так как они принадлежат мне. Цена им – миллион. Там все, все… Все письма мне от Николая с фронта… Его африканский дневник. Портрет в военной форме с Георгием.

Это был рассказ об и теперь еще скандально известном рудаковском архиве, якобы или действительно пропавшем, причем размеры пропаж и вновь найденных документов так и остаются во многом неясными и по сей день. Даже в мемуарах Э. Г. Герштейн, которая была доверенным лицом обеих сторон: как Ахматовой и Мандельштамов, так и Л.С. Финкельштейн-Рудаковой, вдовы того самого “офицера, убитого на войне”, существуют на этот счет затуманенные тупики. Вырисовывается отчетливо лишь одна общая черта всех посредников и временных держателей этого собрания литературных документов: держали они их не столько бережно, сколько крепко и цепко, как держат банковские купюры. И в точности, как это бывает с деньгами, что-то прилипало к рукам.

– Но это же возмутительно! Можно, наконец, явиться туда, на эту самую Колокольную улицу, и потребовать все вернуть. Если вы нас уполномочите…

– И не думайте затевать ничего подобного. Она все сожжет. Уже что-то сгорело…

– А много ли там материалов?

– Уйма. И к ним я, можно сказать, сама отвезла еще целые санки.

Что сгорело, того не вернуть – рукописи могут отлично гореть, искуриваться на цигарки, выкидываться на помойку, но и

отлично умеют разыскиваться впоследствии, скорей всего в ожидаемых, чем в неожиданных местах. Вор или нет, скупщик краденого или коллекционер, разница невелика, даже между наследниками не разобрать, кто законный, а кто узурпатор, – все тащат к себе, утаивают, выжидают и в конце концов получают их разменный эквивалент. И только их авторы, наподобие пастернаковской рябины из “Доктора”, дают, и дают, и дают свои красновато-ржавые гроздья произведений. А самим – кому пуля, кому лагерь, а кому-то достаточно и Постановления...

Приведу краткую справку Нины Ивановны Поповой, директора Ахматовского музея в Фонтанном доме (2 декабря 2001 г.):

“О рудаковском архиве знаю немногое: в этом году от Н. Г. Князевой, вдовы М. С. Лесмана, приобрели рукописи Н. С. Гумилева, видимо, те самые, которые ему продала вдова Рудакова (сама или через посредников, но это только мое предположение). Сам Лесман никогда об этом не говорил”.

А вот выдержки из справки Натальи Ивановны Крайневой, хранительницы Рукописного отдела Русской национальной библиотеки, бывшей “Публички” (18 декабря того же года):

“На сегодняшний день многое в истории рудаковского архива остается неизвестным... Я думаю, “гумилевско-ахматовская” часть архива Рудакова либо действительно пропала (во время войны или же во время недолгосрочного ареста Л. С. Финкельштейн), либо в 1950-е – 60-е годы была ею продана, причем не целиком, а по частям. Об архиве Харджиева – не знаю... Вот, в общих чертах, что мне известно об интересующем Вас архиве, то есть – ничего не известно!”

Харджиева я видел лишь однажды, когда был у Ахматовой в Комарове. Не лис, но еж даже внешне, он вошел и сразу же заговорил прямо с ней, но глядя на меня, явно так, чтобы я не понял:

– Те материалы, о которых шла речь при встрече с известным вам лицом, могут быть разысканы через некоторое время...

Я вопросительно взглянул на нее, она меня отпустила.

– Возвращайтесь через полчаса.

Я побродил по сосняку, подумывая, не уехать ли вовсе. Неожиданно натолкнулся на красивую Лену Кумпан, теперь уже Глеб-Семеновскую жену, зашел к ним в соседнюю дачу и заговорился на час. Когда я вернулся к Ахматовой, Харджиева не было. Но клубление мелких корыстей вокруг архива продолжало ее беспокоить.

Был у меня случай познакомиться и с М. С. Лесманом – фигурой, неизбежно возникающей за всеми этими тайнами, но

это было уже поздней. Он тогда, хотя и частично, отбросил конспирацию собирателя и решился познакомить публику с некоторыми из своих сокровищ. В Доме писателя была устроена выставка редкостей из его коллекции, и на открытии он сделал доклад. Редкости впечатляли, доклад был продуманно обесцвеченным: ни одного указания на источники и способы приобретений; не было и никаких точных оценок.

Он был смуглый, пожилой, ухоженный, но как-то не броско, а добротно, как настоящий богач. Спросил, нет ли у меня каких-либо ахматовских материалов для него. Нет, ничего сенсационного, просто несколько самых простых надписей, дорогих мне как память. Право же, и показывать нечего. Кажется, тонкое разочарование пробежало по его лицу: он ведь выражал интерес и предлагал познакомиться поближе, а я уклонялся...

Но настоящие сокровища (и то – все ли?) оказались описаны в вышедшем уже после его смерти толсто набитом томе “Книг и рукописей в собрании М. С. Лесмана”, среди них и большая порция рудаковского архива, который терялся в самоцветах автографов, раритетов и рукописей. Если ему и была, действительно, “цена – миллион” (неизвестно, в каком исчислении),то цена всей коллекции возрастала, наверное, до миллиарда, выраженного в условных тяжелозвонких единицах.

А в тот раз, когда мы были у Ахматовой с Натальей, она прочитала “Комаровские кроки”, действительно набросок, но конец бил прямо в сердце и наповал – кистью бузины от Марины... Набросок был мощно оснащен эпиграфами, и это делало его монументальным, как манифест: “Нас четверо”. Их имена мне виделись написанными на облаках, на истории литературы, на каталожных карточках библиотек. Мучаясь даже не своим, а кружковым тщеславием, я помещал воображаемый прожектор позади наших спин и видел так же воздушно и нашу четверку, гипотетически возникающую “где-то там”. То, что роднило нас с ними, – это кривая начинающаяся слава при полном отсутствии публикаций. Имена изредка появлялись в газетах только в клеветническом контексте; в последний раз упомянут был Бродский.

Ахматова попросила передать ему, чтобы тот был осторожен и устроился на работу.

– Молодежь сейчас рассматривают под увеличительным стеклом.

Но она не скрывала, что общность у тех четверых не была безусловной при их жизни. “Нас четверо”, – ведь это было сказано ею только что, сейчас, может быть, даже при взгляде на нас.

– Пастернак, например, совершенно не читал Мандельштама.

Осип Эмильевич говорил мне, что Пастернак не знает из него ни строчки. И это было так. Сам Осип Эмильевич утверждал, что он – антицветаевец. А я впервые увидела Марину только после ее возвращения. Это сейчас все можно объединять.

Она показала и подарила мне листки – два письма ей от Цветаевой, перепечатанные на машинке с пропусками французских вкраплений. Услышанные лишь однажды, вкрапления улетели из моей головы. Так, с пропусками, эти тексты у меня и оставались...

Заговорили о последних днях Цветаевой.

– Приезд ее сюда был ужасен и противоестествен. Она же знала, что не напишет здесь ни строчки. Мне показывали ее последние, написанные перед приездом стихи. Я не понимаю, как может женщина, которая знала страдание, написать такое... А страдания она по-настоящему узнала только здесь.

– Самоубийцей, должно быть, становятся гораздо раньше, задолго до совершения...

– Ее дочь Ариадна Сергеевна винит во всем Асеева. Она считает его чуть ли не убийцей. Конечно, и он хорош... Как бы вам понравилось, если бы вам написали: “Угрозами самоубийства Вы меня не запугаете”? Но Асеев был не один. Ведь в Чистополе был и Пастернак.

– Почему ж он ничего для нее не мог сделать?

– Почему? Ну Борис – поэт, лирик... Он капризен. Он говорил мне: “Я не могу видеть Марину. У нее глаза – как у Андрея Белого”... А еще раньше он говорил: “Я вижу вас чаще, чем Марину, хотя вы – петербурженка, а она живет в Москве”. Я знала сына Марины, я его видела позднее в Ташкенте и даже устраивала ему прописку у нас в домохозяйстве. Это был красивый юноша, синеглазый, с отличным цветом лица, но обычный парижский панельный мальчишка. Это он погубил Марину. Она его страшно любила, а к дочери была равнодушна, хотя та, видит Бог, порядочная женщина. В Елабуге он выпрашивал у Марины костюмы. Наверное, на продажу: носить тогда было жарко – август... Я помню, как в Ташкенте он исчез вместе с домовой книгой, был пойман и арестован.

– Но потом он был взят на войну и убит!

– Да, что-то ужасное с ним случилось под Сталинградом. Я говорю “что-то”, потому что он был расстрелян, но не знаю – у нас или у немцев...

Заговорили о Гумилеве.

– Это – непрочитанный поэт. Поэт, которого еще предстоит открыть России. Многие его стихи остаются современны, а экзотика – это только оболочка.

– У него сейчас множество поклонников – и, как ни странно, среди литературного начальства, но не только. Я знаю, например, бешеного почитателя Гумилева.

– Если бы они раньше прислали ему хоть одно письмо! Ведь он писал в полнейшем молчании критиков. Он не дожил до своей славы двух дней. Потом оказалось, что у него уже была школа – вся южная Россия писала под Гумилева...

Ахматова показала сборник И. Анненского “Кипарисовый ларец”, собранный и изданный Гумилевым в Париже в 1908 году. Экземпляр был специально отпечатан для нее; на заглавном листе – нежнейший автограф издателя и жениха.

– Как он у меня уцелел после трех обысков?

– А могу я узнать, когда был последний?

– В 1949 году.

К моменту разговора прошло уже два года со дня смерти Пастернака, но его роман, премия, травля, пересуды и споры обо всем этом продолжали существовать как сегодняшняя новость. Я только что прочитал два мелко напечатанных томика на тонкой и прочной бумаге, идеально карманного размера. Тамиздат. Впечатления еще не устоялись, однако то, что критиковали другие, мне казалось достоинствами романа. Но Ахматова заговорила на этот раз не о литературе, а о самой судьбе автора, причем очень резко:

– Борис сошел с ума со своим романом, он от всего отрекся. Он говорил мне: “Какая чушь, что я писал стихи!”

– Да, когда мы были у него с Рейном, он называл свои ранние стихи “алхимией”, а роман – главным и настоящим делом.

– Вот видите! Я поняла тогда, что этот роман его погубит. Так и случилось.

– Но он получил признание на Западе, премию...

– Там с этим романом потешились и бросили, как они всегда делают. Когда Борис умирал, он уже впал в то состояние, откуда не возвращаются, но его как-то оживили. Он упрекнул: “Зачем вы это делаете? Мне было так хорошо...” А потом, перед самой смертью, он сказал: “Я всю жизнь боролся с пошлостью. Но пошлость победила – и здесь, и там...”

Неожиданно Ахматова добавила:

– А пошлость не победила. Она не может победить гения. Как и ее, впрочем, победить невозможно. Она существовала во все времена, так же, как и будет существовать всегда. Я бы сравнила “Доктора Живаго” с гоголевскими “Выбранными местами из переписки”. Когда Гоголь написал “Мертвые души”, от него ждали, что он скажет всю правду. И он решил: если они хотят правды, так лучше я скажу ее прямиком. Это его и погубило. То

же и с Пастернаком.

– Я нахожу, что это связано с зависимостью от читателя. Как-то вы говорили, что знаете своих читателей, наподобие маршала Гинденбурга, знающего “своих русских”...

– Да, когда я пишу, я помню о читателе.

– Но стоит ли его искать?

– Конечно, нет. Он сам найдет вас.

Заговорили о пастернаковской “Вакханалии”, я ею восхищался, особенно финалом. Но Ахматовой активно не нравились “печи перегрева” и вообще “все это”. Она рассказала, как была однажды на таком банкете.

– Я была после первого инфаркта и из всего обилия на столе могла есть только лук, а пить только “Боржоми”. Я пришла поздно и села в конце стола. Слева от меня был мальчик Андрюша, архитектор, обожающий мастера, а справа еще один молодой человек. Когда я съела весь лук со стола и выпила весь “Боржоми”, я поднялась. А мальчишки, которые после третьей рюмки шатались, как тростник под ветром, взялись меня провожать. Уже на лестнице не они меня, а я их держала. Впереди была Ордынка, освещенная огнями, и поодаль – милиционер. Ну, думаю, спросит у меня документы. Ага. Ахматова. С пьяными мальчиками. “Чему она может научить нашу молодежь?” – вспомнились слова из известного доклада. Но в этот момент у меня нашелся спаситель. Чья-то сильная рука отшвырнула мальчишек так, что они покатились на тротуар и остались лежать там до Страшного суда. А спаситель проводил меня до дому, любезно и остроумно беседуя , как мы сегодня, о Гоголе. Это был Святослав Рихтер.

В сущности, мы занимались литературными сплетнями, вовлекая в них и таким образом оживляя, мертвых, наряду с живыми. Кроме любви, ничего интереснее, чем это занятие, на свете не существует. Не потому ли дело было не в любви?

Анна Андреевна вышла проводить нас в прихожую.

– Вы ведь живете на Песках? На Коннице?

– Нет, рядом. На Тверской.

– Я очень люблю Пески. Я хожу гулять к Смольному собору. Вы замечали, что он от вас убегает? Вы к нему подходите, а он удаляется...

– Да, он уплывает вбок. Там действительно есть какой-то фокус с расположением улиц.

Довольные этим общим для всех городским наблюдением, мы с Натальей возвращались – если не на ахматовские Пески, то в свой Смольнинский район.

Любовь накладывалась на влюбленности, те – на литературу, а она, как избалованное чудовище, кидалась на жизнь самое. Красота сверстниц, блеск их глаз, грандиозность собственных планов и сопутствующая им эксцентричность выходок, – все это опьяняло, кружило голову и, лишь слегка помучив, поколобродив в крови или сознании, находило простой и уже налаженный путь – прямым ходом в стихи. Не всегда это было последним результатом: строфы воздействовали на тех, кому были адресованы, внушали им грусть или трепет, и весь цикл начинался опять. Я писал “песенку про то, /как жена моя Наталия/ одна сидит в пальто”, и Наталья меркла и зябла, хотя в доме было тепло, и моей сердечной приверженности она не теряла, а я, исповедуясь, наказывал себя сам:

За ее улыбку слабую,
за пальцы у лица
я вот этими силлабами
себя же, подлеца...

Или, игнорируя никчемность глагольной рифмы (единственный порок моего тогдашнего поведения), я вдруг объявлял прилюдно:

Тебя, красавица, не запретить,
когда тебе самой запретом быть...

Мой мадригал вызывал мимолетную нежность да несколько записок, выбросить которые из кармана пиджака у меня не хватило духу. И напрасно! Это еще не было поступком, тем более – никак не супружеской изменой, но все, должно быть, тещинско-материнские наущения восприняв, полезла Натаха-таки лапой своей по моим карманам, обнаружила нежные письма – и:

– Что это?!!

– Да как ты смела залезть в мои карманы?!

– Так! Прочь из моего дома!

– “Твоего”, не нашего? Ну это все! Ноги моей...

Ушел… Благо есть куда, хоть с завязанными глазами: обогнув Вячеслав-Ивановский угол, поверни налево и, поднявшись на четвертый этаж, звони в Таврическую обитель. Звоню… Субботний вечер, никто не открывает. Лето. Все на даче. Тут только я понял, что натворил… Только что был дом, даже два – и ни одного. Ни семьи. Ну и что, есть ведь друзья. Конечно, не те, чтоб в одном окопе… Но переночевать-то пустят. Мелочь какая-то в кармане бренчит, надо позвонить из автомата. Только вот кому? Найманы живут в одной комнате, в другой – Эрины родители, у них негде. О Бродском нечего и вспоминать, – он сам живет в закуте. Рейны? У них тоже одна комната, но, может быть, свободна половина Марины Александровны, – она вроде бы собиралась на юг? Звоню туда, двухкопеечная монетка (единственная!) проваливается, звучат долгие гудки, и никакого ответа, хотя уже двенадцатый час, и, если они сегодня в гостях, могли бы и вернуться… Остается еще гривенник, он тоже подойдет, только надо звонить наверняка. Перебираю все варианты, и выходят Штейны! Большая профессорская квартира, живут в центре. В столовой явно никто не ночует, могут мне постелить на полу. Или в кабинете у Яков-Иваныча, там, по-моему, есть даже кушетка. Звоню. Отвечает Людмила. Объясняю. Слышу – кислое, но положительное:

– Ну приезжай…

Пока еду, оцениваю наши отношения. Знакомы-то мы давно, хотя лишь в последнее время стали видаться чаще. Люда и Витя похожи друг на друга, малая дочь Катя – вылитые оба. Витек – кандидат технических наук, но шутит он не как интеллектуал, а как детдомовец. У Людки это получается лучше. Ее отец, военный историк, тоже, случалось, высказывался эпохально. Например, в компании циркулировал его отзыв о Рейне: “Старик знает все, но не точно”. Сам же он знал, вероятно, многое и довольно точно: опознал портрет Лермонтова по пуговице Тенгинского полка. А его жена, мать Людмилы и, следовательно, тещенька Виктора, танцевала когда-то в кабаре, что уже остроумно. Имелся кот – серый, как половая тряпка, по кличке Пасик. От – Паасикиви, предпоследнего финского президента, это тоже был юмор.

Пасика мусолили-мызгали на коленях все приходящие в Людмилин салон, – она изредка стала собирать у себя литературную публику, порой очень даже всерьез. Выступал у них (видимо, по приглашению отца) историк Лев Раков, чья комедия “Опаснее врага”, написанная в соавторстве (Д. Аль и Л. Раков), шла в Акимовском Театре комедии, но выступал не в качестве комедиографа или историка, а как рассказчик. Рассказать ему было что. Лев Львович, по ком вздыхал еще Михаил Кузмин в 30-е годы, красу свою поутратил, но был все еще дядькой видным. Он

занимал посты, был директором Публички, а затем стал заведовать Музеем обороны Ленинграда, чья стеклянная крыша виднелась с набережной Фонтанки. Под ней внутри зала висели вражеские самолеты, из черных рупоров стучал метроном, взвывала сирена, а среди экспонатов минималистски выделялась паечка блокадного хлеба. В конце 40-х из Смольного явилась туда идеологическая комиссия в виде двух тучных пиджаков и трех кителей, прошла по диагонали через весь зал, и один из пиджаков произнес: “Голода в Ленинграде не было. Были временные продовольственные затруднения, преодоленные защитниками города под руководством Коммунистической партии и Верховного командования”. Музей был закрыт, директор отправлен на дальние рубежи.

Прозвучала серия таких рассказов, в которых ужас и глупость эпохи возгонялись до крепости и чистоты абсурда, то есть становились художеством, даже своего рода комедией.

Порой Людмила устраивала встречи в подчеркнуто узком кругу, вызывая у гостей чувство избранности и ожидание какой-то шутливой удачи. Тогда овал дубового стола расцветал не столько яствами, сколько безрассудной раскованностью собравшихся, их почти искренней игрой в собственную исключительность – каждого, кто составлял это овальное очертание. А вот и сюрприз: вносится граммофон с трубой, из которой звучит ретроспективно входящий в моду чарльстон. И – смотрите – сюрприз в сюрпризе! Людка взбирается на стол и танцует этот самый чарльстон, да так ловко! Ножки у очкарика ничего, манеры не робкие, но – никакого разгула, а лишь эксцентрическая и даже вполне элегантная выходка…

То же и с Пасиком – не просто стала упрашивать, чтобы написали что-то забавное о нем (кто бы тогда поддался на эту ерунду?), а возбудила соревнование, привлекла “лучшие литературные силы эпохи” – Рейна, Наймана, Бродского… критику… кинематограф… кибернетику, не говоря уж о ветеранах кабаре… Пришлось и мне напрячься, написать хотя бы акростих “Коту Пасику”. Нет, этого мало. Надо еще и сонет:

… Единственно твоей хозяйки ради,
кастрат любезный, я тебя пою.

Так я себя развлекал в позднем автобусе по пути к Штейнам – скорее отвлекал от жгучей досады, обиды, от сознания непоправимости, несправедливости, невезения, а на душе

отчаянно скребли мерзко-паршивые помойные кошки: ведь сам виноват. Но ничего. Надо успокоиться в дружественном доме, прийти в себя. А выход из тупика найдется.

Звоню в дверь. Людкин осторожный голос:

– Кто там?

– Я. Вот, приехал...

– Ты знаешь, у нас переменились обстоятельства. Мои родители внезапно вернулись из-за города, и они – категорически против. Они уже спят, просили не беспокоить.

– Что же мне, на вокзале ночевать?

– По-моему, это не такая уж плохая идея.

Ночевал я на вокзалах и до, и после этого – ничего ужасного, кроме неудобств, не было. Ну ходит мент, сбрасывает ноги с дубинного "МПС" дивана, ну уборщица гоняет из одного грязного угла зала в другой, мокрый, – не в этом же дело! Просто три раза за вечер оказаться перед закрытой дверью было уж слишком... Слишком – что? Много? Мало? Слишком уж трижды. Подло, бесчувственно, оскорбительно. Мир казался полным зла. Пустой автобус, везший меня на Московский вокзал, почему-то долго не трогался с места на углу Невского и Рубинштейна. Видимо, ждал, войдет ли одинокий пассажир, стоящий на остановке. Тот все медлил, что-то высматривая вдали. Но лицо его я запомнил: немигающий взгляд без ресниц, полусъеденные ожогом ноздри и губы, заостренный нос. Довольно-таки адская физия смотрела, к счастью, не на меня, а куда-то вбок, но и этого было достаточно, чтобы врезаться в память на всю жизнь. К Наталье я больше не вернулся.

Впрочем, Людмила скоро пожаловала с повинной на мое новое, как Старый новый год, жилье на Таврической...

В 70-е годы добрая половина моих персонажей, включая меня, перебрались на другую сторону планеты, и Штейны – немного раньше большинства других. От Людмилы пришла лишь одна открытка из Вены с жалобой на дороговизну почты, и вообще, мол, все тут совсем другое, не объяснить. Возникло затяжное многоточие... Переселясь, чуть ли не на третий день в Нью-Йорке, я отправился на вернисаж в русскую галерею Нахамкина, которая располагалась тогда на Мэдисон Аве. Манхэттен опьянял, возбуждал, запрокидывал мою голову кверху. Посетителей выставки поили белым вином, Целков был представлен новыми работами, Тюльпанов – самим собой. Рома Каплан и Людмила, как выяснилось, работали там же агентами по продаже. Вечером Рома угощал меня морскими ракушками, с Людмилой мы сговорились встретиться на следующий день за ланчем. При встрече она меня ошарашила:

– Для начала – две новости. Обе, впрочем, не так уж новы. Во-первых, я стала писательницей. А во-вторых, Бродский – гений.

Я встал в позу обличающего пророка и произнес:

– Людмила, имя твое – толпа!

Она остановила для себя такси, я спустился в сабвэй.

Горбаневская: о ней и немного вокруг

Идеологическая установка по части Бродского, высказанная Людмилой на углу Пятой авеню и 42-й улицы (а это именно установочно и подавалось), начала складываться как постулат гораздо раньше, в Ленинграде. Правда, и Иосиф начал писать тогда широко и уверенно. Он сочинил “Рождественский романс”, посвятив его Рейну, и не то что читая, а скорей исполняя его, почти пел. Авербах дал мне свое заключение:

– Это лучшее стихотворение года.

– Погоди, Илья, год только начинается! А, кстати, какие стихи были лучшими в прошлом году?

Он не знал, что назвать (Ахматова? Пастернак?), – его премиальное мнение выдавалось без конкурса и жюри. Рейн в ответном стихотворении, которое, право же, ничуть не уступало “Роману”, писал об Иосифе восторженно – “рыжий и святой”, почему-то упиваясь его весьма условной рыжиной, как особенным знаком небес, повторяя еще и еще в тех же стихах: “Орга2н до неба. Рыжий органист...” И уверять его, что клавесин не хуже органа или что, кроме Баха, есть еще и Вивальди, и Гайдн, было бесполезно: на то уже делалась установка.

Между тем наши отношения с Жозефом оставались прежними, то есть приятельски-уважительными: он бывал со стихами в моей старо-новой клетушке, вдруг утешил подарком – загрунтованным квадратиком картона с желтым яблоком на нем. Мило надписал его с тылу. Я и не знал, что он рисует и даже пишет маслом. Эта картинка мне нравилась, я ее то выставлял на стол, то прятал в ящик. А потом она исчезла, и я подозреваю одну не очень чистую на руку, хотя и дорогую мне особу. Ну а я заходил к Иосифу в каменную кулебяку на улице Пестеля... Он, напирая, гнал огромную поэму и уверял, что поддерживает постоянное музыкальное звучание в себе – причем определенного тона: ре-минор.

– Ре – это хорошо. Но, может быть, лучше мажор?

Он чуть помычал сомкнутыми губами и ответил убежденно:

– Нет, именно ре-минор.

Отправляясь в Москву, он неожиданно попросил у меня рекомендательное письмо к Давиду Самойлову. Я не был особенно знаком с Дэзиком, как его все за глаза называли, но мы втроем с Рейном и Найманом у него ранее побывали и даже получили из его рук кое-какую работу: он был не только блестящим переводчиком с польского и чешского, но и одним из крупных воротил этой индустрии. Бродский, очевидно, хотел продвинуть своего Константы Ильдефонса Галчиньского, которого напереводил порядочно. В жанре деловых рекомендаций я еще не выступал, но записку, конечно, вручил ему самую положительную, хотя и с бессознательной ошибкой: фамилию своего протеже написал по аналогии с Троцким. Кажется, это не помешало “Броцкому” познакомиться с “Дэзиком Кауфманом” и произвести на того впечатление.

Еще находясь в Москве, Жозеф сделал мне новый подарок: прислал с дневным поездом девицу. Небольшого росточка, русо-рыжеватую, как он, но кудрявую и с еще более крутой картавинкой, чем у него... Она явилась на ночь глядя, девать ее было некуда. Я предоставил ей мою раскладушку, а себе постелил в комнате брата, потревожив няньку, у которой была там выгородка.

После короткого завтрака я увел девицу от недовольных домочадцев, мы с ней, наконец, разговорились и стали друзьями, крепко и хорошо, на всю жизнь. То была Наталья Горбаневская, впоследствии, без преувеличения сказать, героическая женщина, великая гражданка своей родной страны и еще – Франции, и еще – города Праги, честь которого она защитила 25 августа 1968 года на Красной площади.

Начав читать стихи, она стала существовать для меня как сильная и упорная поэтесса, чья словесная работа тогда, да и всегда после, воспринималась как идущая рядом, бок о бок с тем, что делаешь или пытаешься сделать сам. Она читала:

> Стрелок из лука, стрелок из лука,
> стрелок, развернутый вперед плечом...

Мгновенно узнавалась скульптура Криштофа Штробля, чья выставка незадолго до этого прошлась по двум столицам. Романтический бронзовый лучник с торсом, напряженным не менее, чем оружие в его руках, впечатлил и меня, но у Натальи он взял и превратился в столь же бестетивно разящие строки.

Начиная с “Медного всадника”, скульптуре, как видно, суждено гораздо естественней превращаться в стихи – сравнительно, например, с живописью, и результат при этом не выглядит вторичным или заимствованным.

Впоследствии я вспоминал не раз эти стихи и эту бронзу, пока не обнаружил ее вдруг из окна Эрмитажа во внутреннем саду Зимнего дворца: как-то без лишнего шума “Стрелок из лука” там обосновался. Но к тому времени я уже знал не то чтобы первоисточник, но более раннее, гораздо более свежее и могучее воплощение этой же темы у другого скульптора. В альбоме Эмиля Антуана Бурделя я увидел “Стреляющего Геркулеса”, и он стал для меня образцом ваяния, а Штробль отодвинулся и затих, но не затихли Натальины строчки.

Однажды тема захватила и меня, гораздо позднее и совсем в другом месте. Один из курсов, которые я преподавал в кампусе Иллинойского университета, собирался в аудитории, из окон которой был виден садовый дворик с фонтаном. Фигура, венчающая фонтан, представляла Диану скульптора Карла Миллеса: нагая девчонка с плоским лицом стреляла из лука без тетивы и без стрел. Она целилась в студентов, играющих на лугу, а попала в преподавателя русской литературы. Как-то быстро и легко написалось стихотворение “Университетская богиня”, и это – не о другом, а о том же. Помимо еще многого, университету принадлежали земли в соседнем графстве, по существу, целая латифундия с полями, лесом, участком дикой прерии, прудом, регулярным парком и, конечно, усадьбой. Это был подарок университету от богачей по фамилии Аллертон: такая необычная щедрость объяснялась тем, что их семья вырождалась и голубела, а земли были отягощены налогами и долгами, и меценатство оказалось лучшим от них избавлением. Я отправился туда. Во французской части парка были расставлены скульптуры того же Миллеса, авторская копия Родена, почему-то еще группа комических китайских изваяний, а в орехово-буково-дубовом лесу на пересечении дорожек бронзово высился “Умирающий кентавр” Бурделя. Человеческая голова была запрокинута назад и вбок, большие руки еще удерживали на хребте лиру, а копыта и круп уже, оскальзываясь, оседали. Невидимо раненный геркулесовой стрелой, он силился и не мог умереть.

Примерно так же кончается сюжет и у Горбаневской, но она помещает его в раму северо-западного фольклора:

А в чистом поле,
а под ракитой,

а сокол в поле улетел.

Она жаловалась на непонимание в Москве, браталась, единясь с питерцами, и, шутя, ратовала за создание новой Озерной школы поэтов – Ладожской, с отделениями для консерваторов и либералов в Старой и Новой Ладоге.

Поехали представлять ее Ахматовой, но той не оказалось в Комарове, она как раз была в Москве.

Наталья – моя сверстница, но в то время она еще не закончила образования. Училась она филологии и истории литературы, но что-то у нее не заладилось в Москве – скорей всего из-за прямоты характера, – она перевелась на заочный в Пединститут имени Герцена и ездила в Питер сдавать зачеты и курсовые профессору Дмитрию Евгеньевичу Максимову. Он считался специалистом по Блоку, но, поскольку Блок был одно время под запретом, прикрывался Лермонтовым. Седой, бледно-морщинистый, с косящим в сторону глазом, он был тогда старше, чем я сейчас, но собирал на свои лекции поклонниц, приходивших из публики. Он платил осторожные дани Серебряному веку, с сочувствием интересовался современной (даже неофициальной!) литературой и слыл за либерала. Но, с одной стороны, реликт былой культуры, с другой – продукт своего времени, он был, видимо, то ли бит, то ли пуган и очень уж осторожничал. А поговорить красно о Блоке с любого места – что ж, это милое дело, это мы и сами теперь умеем.

Как бы то ни было, но Максимов влепил нашей Наталье трояк, и она мне жаловалась. Я, в свое время перебивавшийся в Техноложке с троечек на четверочки, не мог особенно сочувствовать ей, а она восприняла оценку драматически. Как раз тогда вернулся из Москвы Бродский и взялся за мщенье. Он сочинил эпиграмму на Максимова, отпечатал ее по девять экземпляров на лист (умножим это на четыре копии) и, пробравшись в комаровский Дом творчества, подсовывал разрезанные листки под двери писателей. Эпиграмма была обидная, хоть и не очень ладно сляпанная, и я ее не запомнил.

Не в Комарове, не в Питере, так в Москве Наталья все-таки была представлена Ахматовой, и та оценила ее подлинность. Вот ахматовский отзыв о ней, обращенный прямо ко мне: “Берегите ее, она – настоящая”, – весьма прозорливо замечено в предвидении Натальиных гражданских подвигов. Ее автопортрет в стихах имеет полное сходство с оригиналом:

Как андерсовской армии солдат,
как андерсеновский солдатик,
я не при деле. Я стихослагатель,
печально не умеющий солгать.

Начиная с “Послушай, Барток, что ж ты сочинил...”, ее стихи полны музыки. Сначала это были отрывки симфонических потоков – действительно наподобие Бартока, некоторое время звучали ирмосы, ноктюрны и побудки, а затем отчетливее стала угадываться песня. А петь она стала, как и ее давние предшественники, русские парижане первой волны, о самом насущном: одиночестве, любви и смерти, наследуя принцип “Парижской ноты” – аскетизм и сдержанность слога, намеренно приглушенный тон и полное неприятие всего пышного, преувеличенного, велеречивого. “Не говори красно, не говори прекрасно”, – заклинает поэтесса свою Музу, и та говорит емко и умно.

Сдержанность и трезвость, присущие Горбаневской, сказываются еще на одной стороне ее литературного образа – на публичной позе, которая в ее случае никогда не превращается в статуарность памятника, не возносится выше пирамид, но, напротив, остается в человеческих пропорциях, что не мешает жить ее сознанию на просторе вечных и мировых тем – пусть даже это будет “Exegi monumentum”. Дерзновенно, не правда ли? Но здесь нет особенного противоречия: ее памятник не “тверже меди”, как у Горация, а, наоборот, мягче воска. По существу, он и есть воск, а точнее, свеча, горящая, пока светят разум и вдохновение. Но почему это заметно лишь мне, да еще, может быть, нескольким людям? Куда смотрит и чем занята современная критика? Разуйте ваши глаза и уши, перестаньте хоть на минуту делить ваши “букеры” и “пальмиры” – перед вами великая гражданка и соразмерная ей поэтесса. Всмотритесь, вслушайтесь в то, что она произносит!

Однажды на Петроградской стороне в погожий весенний день встретились два поэта. Один из них вспомнил, что в этот день родилась их московская сверстница и поэтесса. Другой привел подходящие для нее строчки из Жуковского: “По-еллински филомела, а по-русски соловей”. Они чокнулись за ее здоровье, пошли на почту и отправили телеграмму: “ПОЙ ФИЛОМЕЛА ПЕВЧЕЕ ДЕЛО НЕ ПРОМЕНЯЕМ ПЬЕМ ВСПОМИНАЕМ БОБЫШЕВ НАЙМАН”.

Жизнь стремительно паршивела на всех уровнях: Хрущев изматерил художников, – его идеологические воеводы только радовались. И кто-то еще называл это оттепелью? Происходило типичное закручивание гаек, появились даже явные признаки культа “нашего дорогого Никиты Сергеевича”, как масляный блин, улыбавшегося с разворотов газет и настенных плакатов. Народная молва отвешивала по его поводу анекдот за анекдотом, но и он не оставался в долгу. Кукуруза – вот был один из самых дорогостоящих и нелепых правительственных анекдотов. Что же касается шутников из народа, то для них в Казахстане, как поговаривали, открылись новые лагеря. Или это тоже была шутка?

Вход в литературу сузился до игольного ушка. Рид Грачев сошел с ума, биясь головою о стенку, но Андрей Битов продавился-таки сквозь тесные врата, выпустил книжку торопливых рассказов, почему-то назвав ее “Большой шар”: в ней не было такой уж крупной законченности, как обещало заглавие. Подарил мне, надписав дружески, я и не стал придираться. Лишь ответил стихотворением открыточного размера, которое заканчивалось строчками: “Пускай еще понежится рассказ, / пока твердеет соль мировоззренья”, то есть содержало намек на незрелость книги. Почему-то ее взахлеб расхвалила “Литгазета”, причем опять-таки почему-то – за юмор. Что ж, повезло... Талант, труд и удача – что еще нужно писателю? Все есть, и даже чувство юмора имеется... Еще здоровье, – подсказывает Даниил Гранин. Конечно. А что сверх того? А вот если наличествует брат Олег, и он заведует отделом в “Литгазете”, то это очень многому способствует: и появлению похвальной рецензии, подписанной главным редактором, и изначальным связям с издательствами и писательской организацией... Постойте, постойте, а не тот ли это Олег Битов, который позднее, в самом конце холодной войны, взял да и сбежал в Англию? Тот. Намутил что-то в прессе, разоблачал кого-то, а спустя короткое время так же вдруг вернулся назад, в ту же “Литературку” как ни в чем не бывало, где его сразу и прозвали – “наш засланец”.

Сам Битов такие объяснения опровергал. Но – ширился.

В моем случае приходилось довольствоваться толстовской притчей о лягушке, попавшей в сметану: бить лапками. Только масло, увы, все не сбивалось. Чего только ни придумывалось:

уйти в переводы, в детскую литературу, в кино, даже в юмор, но, лишь используя это как переход, как трамплин для полета в свободную поэзию. Многое манило, я тратил усилия, однако результаты были ничтожны. Пудами, центнерами утраченного времени висело на шее ежедневное ярмо: п/я 45 с восьми до пяти (часовой перерыв на обед) плюс черные, выброшенные на помойку, субботы. Даже в Москве такого не было. Какой-то остроумец назвал Ленинград городом белых ночей и черных суббот. Вот уж воистину! Кроме того, мое отношение к ядерной бомбе, которую я, в числе других интеллектуальных муравьев, продолжал разрабатывать и усовершенствовать, ухудшилось – дальше некуда: она мне попросту надоела.

Между тем в нашем нешироком кругу лишь Жозеф с самого начала достиг этой цели: он был свободным поэтом. Худо ли, бедно ли, но его поддерживали родители, и блинчики с творогом, пусть с упреками, пусть остывая, но ждали его на столе. Это была свобода без независимости.

Найман бурно бросился в переводы: еще бы, соавторство с Ахматовой ему гарантировало издание переводов Джакомо Леопарди, хоть и мрачного старомодного романтика, но безусловно и бесконечно далеко отстоящего от угодий соцреализма. Отдохновенно далеко! И даже буквально до него было: “... расстояние, как от Луги / до страны атласных баут”.

Рейн целил ближе – в научпоп, стал писать сценарии для документальных фильмов, но в перспективе имел в виду Сценарные курсы в Москве, означающие двухлетнюю стипендию, то есть хлеб и крышу над головой, бесцензурные кинопросмотры и возможность завязывать узы делового приятельства с кем и насколько угодно.

Туда же потянулся и Авербах и действительно нашел для себя все сокровища жизни. И – себя самого.

Туда же, после, и Найман, и потом Еремин.

Виктор Голявкин, обэриут наших дней, пустился размазывать свой слишком уж емкий, концентрированный талант в детской литературе. Тем же занялся и Вольф, тоже разбавляя свой дар, и еще жиже. Жанр обязывал.

Я потоптался вокруг журнала “Костер”, – меня привлекали к нему две причины: во-первых, его редакция располагалась на Таврической, через два дома от моего, в прелестном строении позапрошлого века, которое теперь уже уничтожено. Во-вторых, моя тетка Наталья Зубковская (Таля) работала там до войны, у нее хранились переплетенные в пламенный дерматин выпуски “Костра” за много лет, и я унаследовал от нее родственные чувства к журналу. Но там прочно засел Леша Лившиц

(впоследствии – Лев Лосев), и он обдавал меня льдом всякий раз, когда я заходил туда по-соседски да и по-литераторски тоже.

Меня вдруг посетила супрематистская идея, приложимая к детской литературе: написать приключения Куба и Шара, которые бы соперничали в бесконечно меняющихся игровых положениях. Это были бы Кубик и Шарик, если уж для детей. Или Пьеро с Арлекином, если для кукольного театра. Один, ясно – кто, обращался в игральную кость и олицетворял идею случая и удачи (или неудачи), другой устремлялся в лузу и символизировал волю и цель (или промах). А для пущего соревнования я сочинил бы им Коломбину – конической или пирамидальной формы. А можно, соединяя сечением две женственных идеи в одно, представить ее конической пирамидой – так скорей передастся двойственность ее натуры: округлая половина будет сближать ее с шаром, граненая – с кубом. Чудесно! Тогда их драме не будет конца.

Я увлекся и написал несколько динамично-забавных глав с диалогами, что было бы достаточно для заявки, и каждую из них снабдил текстовыми припрыжками. Такими, которые, казалось, сами просились быть спетыми или даже станцованными:

Индусы Ганга и негры Конго!
Все вы – шарики от пинг-понга.

И так далее… Теперь оставалось предложить издателю этот формирующийся в моей голове шедевр, подписать “Договор о намерениях” и получить аванс. Три “ха-ха”! Долго я ходил по сонным кабинетам Детгиза, и тетушки, находящиеся там с вязанием, лишь глядели недоуменно, а я легко читал их мысли. Но своих обстоятельств не просчитывал. Наконец Игнатий Ивановский, один из редакторов “Костра” и свой человек в мире детской книги, просветил.

Холодно и прямо на меня глядя, Ивановский описал процедуру: готовые рукописи рассматриваются и рецензируются в течение двух – трех лет, после чего уже отобранные ждут своей очереди на редактирование, переделку, худоформление и т. д. – и протяженность этого времени трудно определима…

– Ну а делаются же исключения для особо ярких, очевидно талантливых произведений?

– Да, такое возможно.

– Ну так вот же…

– Практика показывает, что шедевр может принадлежать

только перу известного писателя.

Ясно. Этот вариант отпадает.

Много вариантов отпало и в делах сердечных. Уйдя от Натальи, я оказался свободным, еще молодым, но уже вошедшим в силу мужчиной, и это было отмечено в заинтересованных кругах, составлявших коловращения и хороводы знакомых, полузнакомых или случайно забредших в эти круги потенциальных партнерш. Иначе говоря – в свете. Но беда была не только в моей разборчивости, а и в разобранности лучших и подходящих для меня “кадров”. Натальины сверстницы уже нянькались с первым, а то и ждали второго, то есть союзы уже были крепко увязаны. А молодежь? Нет, сырой материал обрабатывать меня не тянуло: может быть, и неизвестный доктору Фрейду, но хорошо знакомый выпускникам советских школ онегинский комплекс мешал мне заглядываться в прозрачно-практичные очи Оленьки Лариной или принимать осложненные ненужной патетикой жертвы ее сестры. А сколько времени каждая из них требовала, сколько внимания! Нет, мне хотелось не доминировать, не опекать – хотелось союза: ну да, именно равных.

Вместо того в коловращениях перетасовок появилась вдруг Вичка. Она к этому времени уже родила дочь и, считая свою биологическую задачу выполненной, вернулась примерно туда же, где мы расстались: в любовные интересы, во все эти взгляды-касания, комплименты, намеки, признания, – условно говоря, в некоторое подобие прокуренного подвала “Бродячей собаки”, чьи филиалы открывались в любые моменты в нашем сознании.

Однажды Ахматова мне прочитала, уж не знаю, случайно ли, именно это: “И яростным вином блудодеянья / Они уже упились до конца...”. Я спросил ее напрямую:

– А “блудодеянье” – это любовь других?

Она даже переспросила меня, и я повторил вопрос. Ответила строго:

– “Блудодеянье” – это блудодеянье.

Да, конечно. И все-таки этим вином непременно упиваются только “они”, другие, а мы сами пьем благородный “любовный напиток”. Я не забыл еще Вичкину девичью фамилию и ставил в посвящениях ее былые инициалы “В. А-ич”, как бы ей прежней, встречаясь с ней настоящей. Между тем ее муж уже не шил брюки. Его намеренно-слащавые картинки (безошибочный компромисс между читателем и издателем) иллюстрировали не только “Костер”, но и половину детских изданий в городе.

Скоро образовался повторяющийся рисунок наших встреч с “В. А-ич”, переходящий изо дня в вечер, из вечера в ночь. Я

возвращался автобусами из своего ящика и только что успевал отобедать, как мой “кубометр” уже праздновал появление Вички в длинных мохерах, тканях и духах. Едва встретясь зрачками с моими, она, разгоняясь, брала сразу несколько нежно-стремительных подъемов подряд и, конечно, срывала до времени сокровенную процедуру, сама ни о чем не заботясь. А превентивных средств мы не применяли, и все слишком зависело от кабальеро, от его самообладания.

Ни на что больше времени обычно не оставалось: надо было торопиться в какие-то гости, куда приезжал и ее муж из своей мастерской.

– Я железно ему обещала быть ровно в десять.

И она железно своих обещаний мужу держалась.

Мы брали такси, отправляясь то в Лахту, то на Охту, поспевали к застолью в неизвестные мне компании, где самым знакомым лицом был тот же муж, внимательно и с усмешкой меня наблюдавший: насколько, мол, его (то есть меня) еще хватит... Опрокидывались, проливаясь частично на стол, коньяки и портвейны, разрушались цветастые горки винегретов и бледные миски салатов, шпроты тем же порядком разлучались со своими золотистыми близнецами, а потом Вичка просила меня почитать стихи: “Это, это и это”... И я читал уже новое – про ее шарфы и мохеры, дрожащую поволоку глаз, стукот зубов и обжигающий холод “любовного напитка”. Стихи эти давали хоть какое-то оправдание моему странному статусу среди этих людей: делали меня просто художником меж таких же, подобных, а Вичку – моею моделью. Натурщицей. С этого, кстати, она и начинала в Академии художеств, и многие за столом знали досконально ее тело. Такова была суть ремесла. Далеко за полночь я спохватывался: надо было домой, отсыпаться. Все оставались догуливать, а я выходил в ночь и подолгу искал такси или попутку, добирался под утро до подушки со слабым запахом моей натурщицы, и, как мне казалось, через мгновение уже звучал Федосьин подъем, и надо было тащиться через весь город на работу.

Вот так однажды я оказался где-то на Поклонной горе в два часа ночи, в такой лютый мороз, что на звезды было больно смотреть. Я пошел по пустому шоссе в направлении к городу. Через какое-то время сзади послышались могучие железные бряки и скрипы, и я, взмахнув рукой, остановил грузовик с цистерной. Назвав адрес, я забылся, качаясь рядом с шофером. Не останавливаясь на мигалках, мы мчали одни по пустому ледяному гробу нашего города, и, когда делали широкий разворот с Кирочной на Таврическую, я спросил, просыпаясь:

– Что везем-то?

– Щас-то уже порожняк. А так – ассенизатор я... – ответил шофер и не взял с меня ни копейки.

Столпы Самиздата

Самиздат тех времен представлял столь мощную литературную силу, что стал обрастать историей, находить предтеч и основателей, и не Грибоедова с Пушкиным, а совсем ближайших. Мы с Рейном побывали у самого изобретателя этого термина, отца “Господь-Бог-издата” и “Сам-себя-издата”, слившихся во единый Самиздат. Мы шли по Арбату, тогда еще Старому, хлынул ливень и вынудил нас прятаться, спасаясь в надвратной арке одного из домов.

– Хочешь повидать самого сильного русского поэта? – с непонятной иронией спросил меня Рейн. – Он живет через два двора отсюда.

– Кто это, и почему он “самый сильный”?

– Потому что при знакомстве, не говоря ни слова, протягивает вместо руки динамометр и жестом предлагает его выжать. Ну кто-то выжимает пятьдесят, кто-то шестьдесят пять, а кто-то, натужась, и семьдесят два. Тогда динамометр берет он сам, жмет сто десять и представляется: “Николай Глазков, самый сильный русский поэт...”

– Цирк, но забавный. Конечно, пойдем!

О нем я уже, конечно, слыхал.

Мы перебежали, как тогда говорили, ссылаясь на анекдот про Микояна, “между струйками” через арбатские дворики и позвонили в дверь. Глазков оказался дома. Представились. Действительно, не говоря ни слова, он жестами предложил нам войти, но вместо динамометра указал на рубанок и верстак, установленный под маршем внутриквартирной лестницы. Рейн взял доску, стал елозить по ней рубанком. Глазков скептически наблюдал. Я вспомнил дедовские уроки и довольно сносно обстругал другую сторону. Но это оказалось лишь частью испытания. Глазков так же молча поставил доску на ребро, кивнул Рейну, и это уже оказалось сверх его умений: он ронял то рубанок, то доску; наконец остановился. Мне помог другой дедовский прием: большим пальцем левой руки я прижал доску к упору и, взяв рубанок в правую, обстругал худо-бедно, но оба ребра. Это дало нам право перейти к третьему испытанию, и

впервые Глазков гулко заговорил, поясняя:

– Вот вам болгарское стихотворение. А здесь – подстрочник. Возьмите и переведите за пять минут.

– Это мы запросто, – заявил Рейн, накатал первые две строчки и передал мне, как в игре “стихотворная чепуха”. Я стал дописывать, задумался, – он, торопясь, продолжил. Рифмы хватались самые банальные, эпитеты – тоже, и вот, до срока, дело закончено!

Долго Глазков, стремясь к чему-нибудь придраться, изучал нашу халтуру. Наконец радостно отверг:

– Не годится. В оригинале хорей, а у вас – ямб!

В результате наши собственные стихи до его слуха допущены не были, а он позволил нам полистать свое “Полное собрание сочинений”, вышедшее, конечно, в Самиздате. Пока мы шуршали машинописными томами, он молча переделывал ямб на хорей, используя нашу заготовку. В его стихах много, слишком много было пустого, но попадались сущие шедевры:

...А Инна мне не отдается,
и в этом Инна не права.
Чему ее учили в школе?..

Или – целая поэма про поэта Амфибрахия Ямбовича Хореева, одержимого идеей спаривать предметы. Закурив, поэт бросил однажды спичку и вдруг увидел ее вопиющее одиночество. Он положил рядом с ней другую, ей в пару, и с тех пор стал удваивать все предметы. Скоро круглые столы у него образовывали цифру 8, а для книжного шкафа пришлось умыкать невесту на стороне, а именно – из Дома литераторов. Дело кончилось печально и назидательно:

Дознанье вел полковник Слуцкий...

Писательский капустник привел меня в восторг: нет, какой он все-таки “матерый человечище”, этот Глазков, прямо мастодонт! Не зря же им и залюбовался всерьез Андрей Тарковский, заснял его, может быть, в лучшем эпизоде своего “Андрея Рублева” – в роли крылатого мужика. И получился средневековый Летатлин!

А в Питере легендарно рассказывалось о Роальде

Мандельштаме, которого мы чуть-чуть, на несколько лет, не застали: кололся, болел, читал стихи по компаниям, умер... Лучшее, что от него осталось, – это фамилия, а стихи его были жидковаты и романтичны, никакого сравнения с Осипом Эмильевичем они не выдерживали. Впоследствии Наль Подольский сочинит из него еще одну петербуржскую сказку, сладкую сосульку о замерзших кораблях, тоже до времени самиздатскую.

Другое дело – Алик Кривин, нет, нет, Алек Ривин, да, именно так называл его Лев Савельевич, Левушка Друскин, знакомец Ривина по довоенным годам. Да Друскин и сам представлял собой некую культурную легенду – явление на грани официоза и Самиздата. Добродушно-веселый калека с атрофированными детскими ножками в кожаных чулочках, он валялся в подушках безвылазно, но вдобавок к этому круглосуточному занятию еще и писал стихи, в которых умудрялся фрондировать. Вовсю иронизировал над своей инвалидностью. Но и хорошо ее использовал, где надо; поди теперь разберись: из жалости издавались его книги или за талант? Или по давнему благословению Самуила Маршака? За талант ведь, как за полу, могли и придержать. Во всяком случае, ни одна рецензия на него не обходилась без устойчивого словосочетания: “Прикованный болезнью к своей постели поэт...” Пришлось и мне начать этими же словами свой сценарий телепередачи о Друскине, когда пришло тому время. Кроме того, он был женат, и весьма счастливо. Его улыбчивая Лиля тоже была разбита полиомиелитом, но в меньшей степени, чем Лева, она хоть могла передвигаться. Самым замечательным, на мой вкус, в них было то, что, навещая этих калек, здоровый человек не испытывал чувства вины перед ними.

От Левушки я услышал много экзотического про Ривина: тот ведь и побирался, и воровал, и отлавливал бродячих кошек на продажу... Но, главное, я услышал стихи, запомненные, прочитанные им наизусть и запоминаемые мной дальше! Причем даже такие большие, как, например, “Рыбки вечные”, – очаровательная, свободно переливающаяся поэма, в которой даже диминитивы сидели на своих местах ладно и утвердительно, где даже буква “щ” плескалась и пела, как “глокая куздра” у самовитого академика Щербы:

Лещик, лещик, мокрый лещик,
толстовыпуклый щиток,
ай, какой хороший резчик

нарезал тебе бочок...

В блокаду Ривина накрыла бомба, но какие-то стихи остались. Стихи остались.

Это и послужило поводом для нашего общего спора с Самойловым. Москва легко, гораздо легче, чем консервативный Питер, переступала пропасть между Самиздатом и печатью, и как раз недавно “ходом коня” выскочил московский либеральный сборник ... в Калуге, потому только, что часть столичных литераторов проживала на даче в Тарусе, поселке, административно входящем в Калужскую область. И все! В “Тарусских страницах” оказались напечатаны материалы и авторы, заждавшиеся своего часа в московских редакциях, и среди них – Давид Самойлов, но не как переводчик, а как оригинальный поэт. И не меньший, чем, например, Слуцкий, представленный там же заносчивым стихотворением о некоем поэте:

Широко известный в узких кругах...

Про кого это: “... Идет он, маленький, словно великое / герцогство Люксембург”, – не про Самойлова ли? Значит, “узкие круги” – это про нас. Вот мы вчетвером и сидим у Дэзика, если по алфавиту, то: Бобышев, Бродский, Найман, Рейн; если по старшинству, то: Рейн, Бобышев, Найман, Бродский, а если по литературному значению в будущих веках, то пусть эти будущие века нас и рассадят. Мы выпили по рюмке золотистого, оживлены, читаем стихи. Бродский – “Сонеты”, написанные ... верлибром. Самойлов смеется:

– Иосиф, прочитайте нам еще сонет строчек на сорок!

Это он – в точку! Защищать тут Иосифа трудно. И мы усмехаемся тоже. Жозеф бледнеет.

– Вот вы в “Тарусских страницах” напечатали “Памяти А. Р.” Это ведь, очевидно, про Алека Ривина: “Стихи, наверное, сгорели, / не много было в них тепла...”?

– Да, а как вы узнали? Что-то сохранилось?

Тут уже встреваю я:

– Сохранилось, и немало... Даже целая поэма под названием “Рыбки вечные”. Вот из нее наудачу:

Плавниками колыхая,
разевая влажный рот...
А жизнь проходит, штанами махая,
и в лицо мое плюет.

Теперь бледнеет Дэзик, в глазах у него замешательство, чуть ли не испуг:

– Я и не знал! Да я завтра же обязательно выброшу это стихотворение из готовящейся книги.

– Если поэт был, – веско говорит Иосиф, – то он и остался. Кто был, тот и есть.

Через несколько месяцев я увидел новую книгу Самойлова. Стихотворение “Памяти А. Р.” в ней как было, так и осталось. Да. Как оно было, так и осталось.

Жозеф, Деметр и многие другие

Как-то, проходя мимо дворца Энгельгардта (Малого зала имени Глинки), я увидел афишу клавесинного вечера Андрея Волконского “Музыка эпохи барокко”. Как можно было такое пропустить? Я купил два билета и, выйдя на Невский, столкнулся с Евсеем Вигдорчиком, одним из тех незабываемых голубых инженеров, а верней, кандидатов технических наук, которые так безотказно и своевременно отрецензировали мой дипломный проект. Слово за слово, перешли с музыки на досуг, и он пригласил меня с лыжами на зимнюю базу где-то в районе Куоккалы и Келломяки.

Компания, в которой я оказался, мне весьма понравилась. Она состояла из двух эткиндовских “почтовых лошадей просвещения”, Азы и Иры, державшихся особняком, собственно Вигдора и его приятеля по “Гипроникелю” Галика Шейнина с женой Алей, плюс забредающие гости вроде меня. Аля пописывала сапфические стишата, а Галик оказался настолько похож на Александра Александровича Блока, что однажды, столкнувшись с ним в Доме книги, я не отпускал его, пока не показал этот курьез в редакциях всех издательств, там находящихся.

Словом, обстановка на даче была попервоначалу великолепна: дневные катанья на лыжах, заснеженные сосны,

увалы с трамплинами, увлекательные падения в сугробы, а потом – вечерние затяжные застолья с “ректификатом” из неиссякающего источника, бьющего где-то в недрах “Гипроникеля”, много хороших стихов и очень много стишков, уже в ИТР-овской манере, развешанных повсюду, вплоть до отхожего места. Висела даже стенгазета, но тут как раз все было в порядке: дамы-переводчицы поддерживали в ней уровень, заданный им на семинарах у Эткинда.

Узнав, что Ахматова находится поблизости, в комаровском Доме творчества, я после лесной прогулки собрался ее навестить. Сапфическая дама Аля стала напрашиваться в попутчицы, и я подумал, что вот сейчас для нее знакомство с Ахматовой является ценностью, то есть товаром, которого она домогается, и, чтобы не торговаться, решил этот “товар” подарить ей, превратив его в “дар”.

Ахматова сказала:

– У меня был Иосиф. Он говорил, что у него в стихах главное – метафизика, а у Димы – совесть. Я ему ответила: “В стихах Дмитрия Васильевича есть нечто большее: это – поэзия”.

Я посмотрел на единственную свидетельницу нашего разговора: сможет ли она возвратить мой дар и запомнить эти слова? Нет, конечно; так и стихи не запомнились, а лишь сор, из которого они выросли.

Пора цветения дружественных салонов постепенно миновала: рискнувшие выйти в открытое литературное плаванье поэты все дольше оставались в Москве, а вот их жены старались не отвадить оставшихся от привычного круга. Появлялись и московские гости.

К Рейнам нередко захаживали художники – Целков, Куклес и Бачурин, и даже целковский, но в кончаловском стиле “Натюрморт с зеленой шляпой” надолго освоил для себя стенку в комнате на улице Рубинштейна, делая ее праздничной; а на улицу “Правды” к Найманам заглядывала чаще литературная братва, и Михаил Ярмуш в своей гипнотической и метафизической красе засиял среди них. Я с его появлением связывал самые радужные надежды: наконец-то среди нас оказался совсем православный поэт, наподобие Клюева, только не деревенский, а городской! Он должен был появиться, и вот он есть. А другие лишь поджимали губы от моих слов. Рейн его не жаловал. Найман, возивший Ярмуша к Ахматовой, рассказывал, что та перегипнотизировала его, медика-профессионала. Иные ангелы, может быть, и прятали глаза от его мистической образности (или даже монашеской эротики):

А в розах засыпают пчелы,
и в амброзический наркоз,
шутя, влетает Сильф веселый,
чтоб пестик целовать взасос...

Но мне нравилась яркость его стихов, и я чувствовал в нем волну ответной приязни. Мы стали изредка обмениваться письмами. Вот что он написал из Севастополя (10.09.63):

“Часто вспоминаю здесь “последнюю Херсонидку” (Анну Ахматову. – **Д. Б.**). Через это место она вспоминается особо. По вечерам читаю “Пир” и “Федру”. По приезде сюда повторялось (далее – из моих тогдашних стихов. – **Д. Б.**) :

Так, значит, дозволительницей слыть,
когда запретом быть, запретом быть...

и –

Ох, милая, тебя бы мне... Ах, нет!
Тебя, красавица, хоть голосом касаться.

Вся штука в интонации, инверсии, смелом чисто вербальном подходе, при некотором легкомысленном стилизировании, устраняющем “человеческое, слишком человеческое”. Вкус к мере и мера вкуса, т. е. умеренность. Ощущение праведности вкушения от яблока раздора и греха”.

До сих пор не уверен, было ли это похвалой, но само его внимание трогало. При следующих редких встречах он явно морализировал: говорил, как надо и как не надо жить. А потом я уехал. В 1994 году Найман прислал мне по американской почте его книгу “Тень будущего” с такой вот надписью: “Дорогому Диме Бобышеву – братски с пожеланием мощи. М. Ярмуш”. Я не знал его адреса, а книга эта меня настолько “мощно” огорчила, что я послал отзыв в письме не ему, а Найману (11.09.94):

“Спасибо за передачу подарка от Ярмуша. Как хорошо, что он выпустил книжку. Наконец-то великие немые заговорили! Я ведь в него поверил еще в те ахматовские годы, когда он – помнишь? –

читал у тебя “на Правде”. Какая свежая, яркая сила мне казалась в его стихах! Я повторял тогда наизусть:

И смотрит глазом перстневидным
на поединок стрекоза.
Он ей не кажется постыдным,
хоть прячут ангелы глаза.

В книжке этих стихов нет, хотя есть некоторые другие, подобной же светимости. Например:

Промыто небо – ни соринки -
такая красок чистота,
что открывают в небе иноки
смарагдовые ворота.

Но в целом книжка производит смешанное впечатление, даже по объему: мол, и это – все? То было бы еще ничего, – ведь смотря какая книжка! Да, в ней полно причудливого византизма, но и это было бы приемлемо и занимательно... Все же, когда читаешь, то: то одно место коробит, то другое смущает.

А Вас любил любовью “Идиота”...

Конечно, это пародия, но ведь и самопародия же. Посвящено “А. А.” Вот тоже про любовь, и тоже с подкладкой:

...не бойся! Смерти нет.
Смерть и Любовь... Одно!

Это, конечно же, ответ на ахматовской вызов: “... ни один не сказал поэт...” И тут поэт появляется, хотя Ахматова сама же эту сентенцию и убила как “всем известн”ую. То, что Любовь и Смерть ходили в сестрах все средневековье и добрели до русского

символизма, это действительно всем известно, но то, что они – одно, вызывает у меня рассредоточенный взгляд в пространство.

Ахматова крупно появляется еще в двух местах этой книги: сначала “за” – в стихах, ей посвященных (если это – тосты, их достаточно, чтобы упиться до положения риз), а затем определенно и резко “против” – в стихах, посвященных тебе. Да что ж это он пустился выговаривать Ахматовой и совершать экзекуцию “Поэмы без героя”, называя ее “мнимостью”, “дурной бесконечностью”, “гармонией, лишенной покаянья”?.. И – вот ведь особенный вывих: все это в стихах, посвященных тебе, и в книге, надписанной мне “братски”. Как-то не по адресу... Не ангел, но глаза бы мои не смотрели”.

А возвращаясь к тем ахматовским годам, припомню, что Иосиф стал показываться тогда с Мариной – огромного впечатления на меня она не произвела, хотя я настолько запомнил ее облик, что и описывать незачем. Скажу лишь о нескольких останавливавших чертах ее, в общем-то, миловидной внешности и манеры держаться: у нее был, да и потом остался, шелестящий, без выражения голос и как бы задернутый сероватой занавесью взгляд. Высокая, длинные, ниже плеч обрезанные волосы, чаще помню тонкий профиль, чем фас, – да в профиль она преимущественно и держалась. Иосиф на языке зверюшек и земноводных старался показать их близость, она, наоборот, свою независимость. Молчала и что-то все время зарисовывала толстыми грифелями в крохотных блокнотах. На мой вежливый интерес к ее рисованию показала несколько набросков пейзажей и интерьеров – мне они показались заготовками для большого шедевра, которого, увы, никогда не последовало. Все же я ее стиль угадал и назвал “нежным кубизмом”, к удивлению Эры Коробовой, искусствоведа по образованию.

Тема – если не сказать “братства”, то хотя бы литературного единения – возникала в нашей среде не раз, и порукой этому – местоимение “мы”, так легко формировавшееся на губах всякий раз, когда разговор шел о поэзии. Но ведь “братство”, как весьма обоснованно заметил великий утопист Николай Федоров, к которому я был тогда на подходе, возможно лишь во (или – при) едином Отце. В его гомоцентричности это так. Нас же как-то заново объединяла тогда Ахматова. И я стал Иосифа выводить на этот разговор. Присутствовали Эра и Марина, а главные говоруны и остроумцы вершили свои дела в Москве, и я, что называется, взял площадку:

– Ты, наверное, уже замечал, Ося, что нас четверых (надо ли перечислять?) все чаще упоминают вместе с Ахматовой, причем как единую литературную группу. Мне, честно говоря, такое

определение очень и очень нравится, и я готов признать себя полностью в рамках, очерченных этим кругом, – назовем его “школой Ахматовой”. Признаешь ли ты себя внутри таких очертаний? И, если мы ее ученики, то чему нас учит и чему обязывает Ахматова? Ведь писать стихи мы и так умеем, не так ли?

Видя его внезапное сопротивление моим вопросам и даже желание утвердить себя вне всяких рамок, я стал загонять его внутрь заданного вопроса:

– Думаю, что она учит достоинству. Прежде всего человеческому… И – цеховому достоинству поэта.

– Достоинству? – вдруг возмутился Иосиф. – Она учит величию!

Вспоминая об этом разговоре потом, я осознал, что он ведь никогда не видел Пастернака и, может быть, зримо не представлял другой, более простой формы “величия”, следуя определенному образцу в его профильно-ахматовском виде…

И – еще одно характерное разногласие. В очередной раз нашумел на весь свет наш “поэт № 1”: то ли сначала либерально надерзил, а потом партийно покаялся, то ли наоборот, это неважно, важно, что вновь заставил всех говорить о себе. Я сказал Иосифу:

– Чем такую славу, я бы предпочел репутацию в узком кругу знатоков.

Чуть подумав, он однозначно ответил:

– А я все-таки предпочту славу.

Однажды, придя ко мне на Таврическую, Иосиф принес еще одну длинную поэму. Он расположился читать, но прежде я спросил:

– Как называется?

– Никак. Без названия.

– По первой строчке, что ли?

Странно. Может быть, он видит в этом какое-то новаторство? И вот, как в “Холмах”, описываемое начинает происходить неизвестно где, неизвестно когда. Скорее всего это – европейское средневековье. Картины разрушения, грязь, какой-то гонец, кого-то он ищет и не находит… Темное освещение, чувство тревоги, следы застывшего насилия, уставшего от самого себя. Что-то напоминающее по тональности польское кино, – например, фильм Анджея Вайды “Пейзаж после битвы”; наверное, он и был начальным импульсом для поэмы.

– Ну что ж, впечатление внушительное: размах… И все-таки, или даже тем более, назвать как-то нужно.

– Почему?

– Да потому, что неназванная вещь не существует. В лучшем случае место ей в “Отрывках и вариантах”. А так – будет произведение.

Он продолжал сопротивляться, а я – “спасать” его же поэму:

– В Европе было много войн, ну, например: Тридцатилетняя, Столетняя… Какая больше подойдет тебе для названья?

– “Столетняя война”.

– Вот и отлично!

Убедил… Носил и я свою очередную продукцию к нему, читал. Вдруг он показал мне в ответ не стихи, как почти всегда, а небольшой прямоугольник загрунтованного картона с двойным портретом, который он написал маслом. Там был изображен коричневый сумрак комнаты, белый абажур широким цилиндром, часть столового овала и две фигуры по сторонам: в зеленоватом – мужская с почти не прописанным лицом, в ней можно было предположить Иосифа, а в синем, безусловно, Марина – это ее вытянутая фигура, длинные прямые волосы, вполне прорисованное узнаваемое лицо и чуть вытянутые, как для поцелуя, губы. И я вдруг увидел ее красоту. Мне захотелось поцеловать эти губы.

Какие-то тяги в механизме равновесных отношений сместились. Все вроде бы оставалось по-прежнему. Но Иосиф становился упрямо-раздраженным. Внезапно позвонила Марина откуда-то поблизости из уличного телефона, попросилась зайти. Пространство моей клетушки к тому времени еще уменьшилось, по крайней мере эмоционально. Я привез из Москвы живописный этюд Целкова – голову одного из его “Едоков арбуза”. Когда я садился за стол, его бело-розовая маска пронзительно высматривала из-за моего плеча, что я там пишу, и мне становилось не по себе. Но вся композиция в целом меня восхитила в мастерской у Олега, и я захотел, чтобы этот этюд напоминал мне, среди кого я живу. Пусть он будет той гирей, которую надо качать по утрам, чтобы весь день оставаться собою. Олег своих работ не дарил, оценивал их по квадратным сантиметрам поверхности, но мне за стихи и знакомство продал его хотя бы за минимум и в рассрочку.

Когда явилась Марина, пришлось этот этюд поворачивать к стенке: она не могла, конечно, выносить его свирепости, особенно в крохотном пространстве. Впрочем, он и в перевернутом виде впечатлял: хотя бы добротностью подрамника, распорок и клиньев, – во всем сказывался мастер. Я посадил ее за стол, сам сел на раскладушку, а других мест у меня не было. Дверь в кухню оставил открытой, закурил. Нет, она попросила закрыть дверь. Тогда я открыл форточку. Нет, лучше окно. От сырого осеннего

ветра стало знобить. Я предложил прогуляться к Смольному собору и показать ей Кикины палаты и Бобкин сад, о которых она и не слышала. Нет, “Кикины” слышала, а “Бобкин” восприняла как каламбур по отношению к моей фамилии.

Собор стоял в лесах, но никакие работы там не велись. Мы залезли на самый верх и пробрались внутрь нефа через раскрытое окно. Лепнинные херувимы вблизи казались экстатическими чудовищами, вкушающими сластей небесных, и – не более благообразными, чем целковские едоки. Мы прошли по внутреннему карнизу в глубь храма. Карниз был достаточно широк, чтобы пройти туда по одному, но сухие напластования голубиного помета делали прогулку небезопасной. Снизу вздымались остатки алтарной рамы, а далеко внизу перед аналоем стояли заколоченные ящики. Мы, вероятно, смотрели на это, “как души смотрят с высоты / на ими брошенное тело”. Помещение использовалось в качестве склада для Эрмитажа.

Разговоры с ней мне были интересны, даже захватывающи, хотя мы касались абстрактных или, можно даже сказать, метафизических тем. Например, о пространстве и его свойствах. О зеркалах в жизни и в живописи. В поэзии. О глубине отражений. Об одной реальности, смотрящей в другую. И то же – о мнимостях. Я воспринимал это как ее собственные наблюдения и мысли. Отчасти так и было. Но постепенно я узнал, что она училась (всему) у Владимира Стерлигова, наглухо замолчанного художника и теоретика живописи, ученика Малевича. Это были во многом его подходы, но примеры были свои, а пейзажи – те, что мы видели сообща. В каждом она прежде всего находила определяющий структурный знак и затем его развивала. Только то были не конусы и кубы Сезанна, а, скажем, чаша, купол, крест, не знаю еще что, – какая-то эмблемная форма. Я понимал это по-своему, переводя на свою музыку, и мне казалось, что я научаюсь читать пейзаж (интерьер, портрет или что угодно) по буквам и слогам, словно текст, и, как я и сам подозревал, он содержал смысл и даже складывался в послание.

Оставалось лишь перевести этот скрутень и свиток, а может быть, и свих представлений в свое художество. Как у Пастернака: “Тетрадь подставлена. Струись!” Я стал довольно быстро сочинять протяженную поэму в форме диалогов о пространстве, по мыслям – весьма закрученную, и, когда закончил, посвятил ее моей нежноликой собеседнице и (тут возникает вопрос – чьей?) Музе. Дело в том, что Иосиф познакомил нас с ней, и они появлялись действительно вместе, как пара, и он уже посвятил ей несколько значительных стихотворений. Но – по крайней мере тогда – не любовных! И она держалась независимо: вот ведь,

звонила, заходила ко мне сама, – очевидно, ни перед кем не отчитываясь. Она даже подчеркивала свою отстраненность…

Так было и во время моей последней “мирной” встречи с Иосифом. Эра пригласила к себе “на Правду”. Из гостей была лишь та, все-таки не совсем пара да я. А из хозяев – хозяйка. Надвигались дурные для нас времена, и, чтобы не удручать злобой дня себя и друг друга, заговорили о возвышенном – о вовсе не шутовской, но нешуточной миссии поэта. Я помещал его (поэта вообще, то есть Вячеслава Иванова, например, или Мандельштама, Тарковского, Петровых, Красовицкого, да любого из нас, из тех, кто понимает дело) на самый верх культурной пирамиды, потому что он оперирует словом, за которым есть Слово. А Слово есть Бог.

– Да при чем тут культура? – резко возразил Иосиф. – Культуру производят люди, толпа… А поэт им швыряет то, что ему говорит Бог.

– Что же, Бог ему советует, чем писать: ямбом или хореем, что ли? – взяла мою сторону Эра.

Это прозвучало забавно, и я, видимо, длинно усмехнулся…

– Я тебя провожу, да? – обратился к Марине Иосиф.

– Нет, я пойду сама и чуть позже.

Мы вышли с ним вместе и направились в одну сторону, потому что нам было по пути. Время от времени я возобновлял разговор, находя новые антитезы и тезы для той же темы. Где-то на Литейном, напротив дома Некрасова и Салтыкова-Щедрина, Иосиф оскорбительно обозвал меня. Я мысленно занес руку для ответа, но сознание, в котором еще возвышались понятия: Поэзия, Слово, Бог, – удержало ее. Я перешел на другую сторону и посчитал себя свободным от каких-либо дружеских обязательств.

Но освободиться от них оказалось совсем не так просто. Настала беда в виде печально прославленного фельетона в “Вечёрке”, и надо было, наоборот, сплотиться. А – как? После того, что произошло, друзьями мы уже быть не могли, тем более что и сожалений от него не последовало, а вот союзниками – да, мы просто должны оставаться, хотя бы из чистой солидарности. А как же иначе? Ведь предстояла еще жизнь в той же литературе и в одном, что называется, литературном стане. К тому же фельетон, помимо его лживости, был и угрожающим, и опасным не только для его главного героя. Одним из трех авторов, его подписавших, оказался Яков Лернер, тот самый “Яшка из Техноложки”, бывший завклубом, когда-то укравший рулон бязи и нажившийся на незаконных гастролях институтской самодеятельности, тот, кто громил нашу газету “Культура”, кто секретно и печатно доносил на нас, на меня и моих товарищей, – теперь он снова всплыл на поверхность!

По “клеветонам” с пахучими названиями ленинградская пресса соревновалась с московской, но “Вечёрка” под водительством главреда А. Маркова слыла чемпионом в этом занятии, опередив даже “Ленправду”. Впрочем, все они без удержу крокодильствовали, выдирая “сорную траву с поля вон”, обзывая “навозной мухой” Рому Каплана, практиковавшего свой английский в общениях с иностранцами, клацая зубами на “бездельников, карабкающихся на Парнас”, то есть “Н. Котрелёва, С. Чудакова, Г. Сапгира, Д. Бобышева и некоторых других”, на Мишу Ерёмина с его “боковитыми зернами премудрости”, на Уфлянда с Виноградовым, а теперь вот “окололитературным трутнем” был назван Иосиф.

Опасность этого фельетона заключалась в том, что он кивал на недавно принятый “Указ о борьбе с тунеядством”, который под тунеядцами подразумевал “лиц, живущих на нетрудовые доходы”, то есть воров, нищих и проституток, но фельетонщики подзуживали судебные власти расширить действие указа и применить его по идеологической части. Тогда под него подпадал бы Бродский, но и не только он, а многие и многие. В Питере в ту пору все время возникали подозрительные инициативы: “Сделать Ленинград городом идейной чистоты”, например. Опять, как в эпоху “стиляг”, стали действовать “народные дружины”, гонявшиеся за фарцой и самиздатом, а заодно поживлявшиеся любым уловом. Одной из таких дружин предводительствовал

Яков Лернер.

Ахматова тревожилась за Иосифа, и она советовала ему оберечься. Беспокоилась и за Наймана, разделавшегося с инженерией и заодно с регулярными заработками. Эта ее тревога заметна в биографической книге Аманды Хейт, написанной “по горячим следам”. Рейн тоже существовал, если судить с эдакой точки зрения, на птичьих правах, расклевывая в Москве корку “черствого пирога, да и то с чужого стола”, как о нем позднее высказался Евтушенко. Защищенней, чем все, был я, трудоустроенный в п/я 45, но оказавшийся впутанным в тот паршивый фельетон больше, чем кто-либо. Дело в том, что Бродского попрекали “стихами, чуждыми нашему обществу”, приводя ... мои тексты! Как могла такая чушь и путаница вообще произойти?

Очень просто. Дружинники замели в Доме книги самиздатского энтузиаста по кличке “Гришка слепой” с ворохом бумаг, застав его там как раз за их распространением. Несмотря на такую пренебрежительную кличку, Григорий Ковалев был настоящим подвижником неподконтрольной поэзии, которую страстно любил, а на поэтов глядел с буквально слепым обожанием. Он был у меня незадолго до этого, той осенью, любовно скандировал наизусть мою “Наталью” (а я уже и помнить ее не хотел), остатками зрения выверял опечатки, поднося тексты на расстояние миллиметра от глаз. Когда его загребли с бумагами, у него находились, конечно, наши стихи (и неизвестно, в каком порядке), а дружинники были лернеровские. Так что – понятно. Неясным оставалось лишь то, как теперь действовать и как это скоординировать с тем, что собирается делать Иосиф, и я решил отправиться к нему, уже не как друг, а как союзник.

Он встретил меня, словно ждал моего прихода. Про инцидент и не вспомнил, будто ничего не произошло (но ведь произошло же). На мой вопрос, что он собирается предпринимать, ответил вопросом:

– Зачем?

– Как “зачем”? Чтобы защищаться. Доказать, например, что стихи – не твои. Я готов свидетельствовать где угодно, предъявить рукописи...

– Дело совсем не в стишках...

Проглотил я и эти “стишки” – надо было договориться о главном.

– Ну, а как насчет устройства куда-нибудь на работу?

– Ты что-нибудь мне предлагаешь?

Предложить ему я ничего не имел, но и он хотел совсем

другого – чего? И – чего-то (или кого-то) ожидал в тот момент, даже прислушивался к наружной двери. Наконец там что-то заскрипело и брякнуло, послышались шаги, голоса, вошел его отец в пальто и кепке, а с ним еще трое солидного возраста мужчин, одетых почти одинаково. На их плечах широко висели добротные “мантели” песочного цвета, а на головах прямо стояли шляпы “федо2ры”, причем без залома. Я и прежде встречал людей подобного – хотя и консервативного, но не совсем обычного – вида на улице и не знал, кто они, а теперь догадался. Молодец Александр Иванович! Он решил спасать сына по-своему.

– Вот он, герой... – с упреком указал он на Иосифа.

– Покажите, что там у вас есть, – сказал старший, не раздеваясь и не снимая “федоры”.

– Вот, вот и вот... – заторопился Иосиф, протягивая ему листки.

Тот стал читать, что называется, себе под нос, изредка комментируя и как бы изумляясь складности простых описаний:

– “Толковали талмуд, оставаясь идеалистами...” Хм, может быть, кто-то и оставался... “И не сеяли хлеба, никогда не сеяли хлеба...” Хм. “... Мир останется прежним... ослепительно снежным и сомнительно нежным”. Да уж, вот именно, что сомнительно...

Все ясно. Жозеф ему сунул “Еврейское кладбище” и “Пилигримов” из-за тематики. Но это же все старое. А, кстати, я и не знал, что “Пилигримы” – это про евреев, думал, что про поэтов. Впрочем, ведь Цветаева... И я решил высказать им в помощь свое мнение:

– Это же совсем ранние стихи. Сейчас он пишет гораздо сильнее, масштабнее... Иосиф, покажи лучше “Исаака и Авраама”.

– А что здесь делает этот гой? – пробормотал старший.

Иосиф сунул мне пальто и, обняв за плечи, незамедлительно вывел меня на лестницу.

– Извини, поговорим в другой раз...

По этой линии он и достиг многих, если не всех успехов: гонение на него было расценено как пример национально-религиозного притеснения всех советских евреев (антисемитизм) и в дальнейшем послужило подтверждением и символом для больших и практических действий: поправки Джексона – Вэника к закону, выгодного статуса “беженца” и других привилегированных программ для еврейских иммигрантов в Америке. Направленные против советских безобразий, эти меры из-за их национального приложения вызывали обратную форму неравенства и, увы, противорусский сантимент. А ведь изначальные гонители, авторы фельетона, сами принадлежали к гонимой нации.

Возникла также сильная, сплоченная поддержка и в “свете”, в “миру”, то есть в части общества, называющей себя свободомыслящей или даже просто мыслящей интеллигенцией, к которой принадлежал наш круг. Яков Гордин стал собирать подписи протеста среди сочувствующих литераторов. Под одним из таких обращений подписался и я. Но “пафос” этой кампании был в утверждении исключительности таланта гонимого поэта, и уже это должно было ограждать его от преследований. Такой подход неизбежно ставил вопрос: а если он не такой уж исключительный, то что ж, и дави его? Но в ответ кампания твердила, нарастая: нет, именно исключительный, великий, величайший, гениальный. И это действовало.

Была и третья кампания в его пользу – среди той части советской культурной элиты, которая оказалась разбужена голосом Анны Ахматовой: Шостакович, Корней Чуковский, кое-кто из профессуры. Они обратились к властям на понятном для тех языке: не надо, мол, разбрасываться ценными кадрами, а если что не так, то можно и снизойти к молодости талантливого переводчика и поэта.

Моя особая вовлеченность в происходящее требовала и отдельных шагов. Мне нельзя было отсиживаться, душа протестовала, а разум подсказывал сделать так, чтобы о моих действиях знали другие. Лишь тонкая жилка связывала меня официально с официальным писательским миром – через Комиссию по работе с молодыми авторами, и я решил направить протест именно туда. Но сначала ведь нужно его напечатать, а литератор я был “безлошадный”, и это еще оставалось вопросом: у кого занять машинку для такого нетривиального дела? Я обратился к Якову Гордину, и вот что тогда настучал на его ундервуде (цитирую по сохранившейся копии):

“Председателю комиссии по работе с молодыми авторами
при Ленинградском отделении ССП
Даниилу Александровичу Гранину
от Дмитрия Васильевича Бобышева
Заявление

Уважаемый товарищ председатель!

Я обращаюсь в возглавляемую Вами комиссию, так как считаю ее единственным органом, который может оградить меня как автора от посягательства на мои рукописные права. Мне кажется, что всякий писатель может понять, как неприятно в один прекрасный день увидеть, что отрывки из его неопубликованных произведений приписываются другому писателю и, мало того, используются как материал, обличающий этого другого.

Именно это произошло со мной. Дело в том, что авторы

фельетона “Окололитературный трутень”, напечатанного 29 ноября с. г. в газете “Вечерний Ленинград”, Лернер, Медведев и Ионин применили недопустимый прием, использовав для оголтелого шельмования молодого поэта Иосифа Бродского отрывки из рукописей стихотворений, авторство которых принадлежит мне. В частности, они приписывают И. Бродскому следующие строки из моего стихотворения “Солидарность...”:

От простудного продувания
я укрыться хочу в книжный шкаф...
и:
Накормите голодное ухо
хоть сухариком...
а также отрывок из стихотворения “Нонне Сухановой”:
Настройте, Нонна, и меня на этот лад,
чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки...

Эти стихи нигде не были опубликованы, однако мое авторство доказуемо и неоспоримо, и я полагаю себя вправе нести полную ответственность за художественное качество и идеи, высказанные в них, перед любыми читателями, коль скоро они появятся. К сожалению, это далеко не единственный случай передергивания фактов в этом фельетоне, но он хорошо показывает общую ценность всей газетной инсинуации. В конечном счете я был бы готов даже пожертвовать авторством этих стихотворений, если бы такой жест хоть как-то помог оболганному поэту И. Бродскому, однако измываться над ним за мой счет я позволять не собираюсь.

Я полагаю, что автор имеет полное и единоличное право как на славу, так и на позор при общественной оценке своих сочинений, если, разумеется такая оценка производится. Я полагаю также, что изложение фактических нелепиц, сдобренное бранью и грубой тенденциозностью, как это имело место в фельетоне “Окололитературный трутень”, является злонамеренной попыткой исказить, очернить творчество молодого автора в начале его пути, не говоря уже о том, что такие явления подрывают доверие к прессе.

Я настоятельно призываю Комиссию использовать все возможно-

сти, чтобы оградить молодых авторов от зарвавшихся фельетонщиков из “Вечернего Ленинграда”. Для этого я предлагаю Комиссии назначить авторитетных лиц для разбора фактической и этической стороны упомянутого фельетона.

С полнейшим уважением Дмитрий Бобышев”.

Оригинал я отнес в Дом писателя, в правление СП. Гранина

там не было, а из Комиссии оказался лишь Евгений Воеводин, писатель репутации самой отъявленной, как и его отец Всеволод. “Может быть, это и хорошо”, – подумал я. Гранин из либерализма, из нежелания обострять не даст моему заявлению ходу, положит его под сукно. А этот, хотя бы из гадства, не положит. И я вручил его Воеводину. Однако оно так и осталось где-то лежать и на ход дела, конечно, никак не повлияло.

Соперник Бродского

За предыдущую зиму я привязался к моей лыжной компании, в особенности к Галику и Але Шейниным, даже как-то по-домашнему прибился к ним, заходя и в межсезонье, когда случался повод, в их полукоммунальную квартиру на Дегтярном. Читал стихи, видел их восхищение, выкаблучивался, – чего же еще от жизни требовать? Меня баловали, а я их семейный союз считал вполне гармоническим, что и выражал в похвальных “антиэпиграммах”.

Но вот наступил мой день рождения, который я вначале никак не хотел отмечать: я стал тяготиться ролью таврического углового жильца и не желал донимать домочадцев чуждыми им гостями. Галя Наринская, тогда жена Рейна, предложила устроить мой праздник у них, а верней – у нее, так как сам Рейн был тогда в Москве. Я такой необычный подарок от нее принял, но с тем, чтоб она и гостей созвала, кого хочет, а я чтоб не знал. Странный получился праздник – экспериментальный: среди прочих пришли две дамы, с которыми я состоял в разное время в разной степени близости, и как мне было держать себя с ними? Марина явилась сама по себе, принесла мне опасный подарок: сувенирный охотничий ножик в ножнах, при том с лихим пожеланием “сделать его красненьким”. И тут прибыла Аля Шейнина, но не со своим блокоподобным Галиком, а с молодым “другом”, да еще по фамилии Лернер. На вопрос, не родственник ли он злодею, она вызывающе, но резонно ответила, что, мол, родственник или нет, а никто за другого не ответчик.

Обстановка тем не менее заискрилась, и с подошедшим туда Мишей Петровым мы уже начали было брать малого Лернера за грудки. Запахло скандалом. Хозяйка объявила вечер оконченным.

Но ближе к холодам Галик и Евсюша предложили мне опять присоединиться и снять с ними в пай зимнюю дачу. Мне нужно было до конца года использовать отпуск с работы, и я с радостью

согласился, видя впереди месяц свободы, лыжных катаний и литературных восхождений – как бы мой отдельный “дом творчества”.

То был новый участок государственной застройки вблизи от залива в северной части Комарова (Келломяки, увы, вспоминались все реже). Дачи предназначались на лето инструкторам райкомов, а зимой сдавались всякой шушвали пониже, вроде старых большевиков; вероятно, чей-нибудь родитель из наших со-съемщиков был шибко партийный.

Свежие, еще не обжитые дома располагались в низкой роще, нисколько не сообразуясь с ландшафтом, но, видимо, лишь с чертежом; например, под крыльцом нашего дома протекал не учтенный планом ручей. Но когда я ступил на крепкий гулкий настил, мне вдруг все это до восторга понравилось: ледяные цацки на березе казались ее украшением, струи внизу прозрачно журчали и даже звенели – это намерзала и тут же обламывалась в поток нежная кромка.

Комната, доставшаяся мне, была тоже вполне ледяная. Поежась, я бросил на койку стеганное по моему заказу (лоскутное!) одеяло, вбил в чистые обои первый гвоздь, повесил туда охотничий нож, подарок Марины, и пошел в теплую половину. Там уже собиралась на новоселье пирушка: Шейнины, Вигдор, появились еще какие-то лица, на столе задымилась вареная картошка, заулыбались в миске соленые грузди с волнушками, масло, хлеб, даже ломтики сайры, что еще нужно? “Ректификат” возник магически, ниоткуда, конечно, доведенный до пропорции да еще и настоянный на лимонных корочках...

– Ну, с новосельем всех!

Оживление, тосты, стихи... Напротив меня поднялся из-за стола лысеющий парень научно-технического вида. Кто это? Еще один Лернер – не хватит ли? Брат того малого, что уехал теперь в мужественно-романтическую поездку на Север... А-а... Косясь на меня, этот “Еще-один-Лернер” объявляет не тост, а эпиграмму и читает четверостишие, в общем-то, почти комплиментарного тона про “ахматовских поэтов, поклонников стареющей звезды”, но что-то мне тут кажется гнусноватым, и я встречаюсь глазами с Галиком.

– Как тебе нравится эта эпиграмма, Дима?

– Ты знаешь, Галик, все было бы ничего, но мне жутко не нравится эта пауза перед словом “звезда”.

– Да, пауза нехорошая...

В этот решающий момент опять появляется забредший сюда со своей дачи Миша Петров, садится рядом. Говорит, заикаясь, на своем жаргоне ядерных физиков:

– З-здорово, с-старикан! Ты ч-чего не в себе?

– Понимаешь, Миша, тут паузу кое-кто нехорошую сделал: перед словом “звезда”. Надо морду бить.

И я влепляю оплеуху Лернеру. Он заносит над головой табуретку, но нас растаскивают.

Между тем наша отдельная дружба с Мариной продолжалась, встречи были вполне непорочны, хотя и галантны. Мы бывали на выставках и концертах, много гуляли в моих местах на Песках или в ее, в Коломне, порой вместе рисовали. Она жила с родителями, все трое были художники, что называется, “без дураков”, – самой высокой пробы, без капли лакейства перед официозом. Квартира находилась на третьем этаже в здании павловской застройки, как раз посредине между Мариинским театром и Никольским собором, напротив “дома братьев Всеволожских”, где собиралась “Зеленая лампа” и колобродил молодой Пушкин. Вдоль фасада была пущена лепнина: чередующиеся маски неясного аллегорического смысла. Я читал их как ужас и сладострастие, ужас и сладострастие, но это ничего мне не объясняло и ни во что рифмованное не складывалось. В пушкинское время на этаже были танцевальные классы, и то-то он пялился сюда на балеринок от Всеволожских: ужас и сладострастие; а до эмиграции в этой квартире жил Александр Бенуа.

Вход туда странным образом пролегал через кухню и ванную, там же находилась замаскированная под стенной шкаф уборная, а дальше двери открывались в довольно-таки немалый зал окнами на проспект. Слева была еще одна дверь, куда строго-настрого вход воспрещался, как в комнату Синей Бороды, но изредка оттуда показывались то Павел Иванович, то Наталья Георгиевна, чтобы прошествовать через зал – и в прихожую, ну хотя бы для посещения стенного шкафа.

Легкий бумажный цилиндр посреди зала освещал овальный стол, коричнево-желтые тени лежали на старом дубовом паркете, и я узнал этот интерьер по тому двойному портрету, который мне ранее показывал Иосиф. Что он делал сейчас и где находился, мне оставалось неведомо. Кругом были разброд и шатания, ходили неясные и по-разному угрожающие слухи. Я полагал, что общие друзья и доброжелатели уговорят Иосифа устроиться куда-нибудь на работу, чтобы как-то защититься и пересидеть эти тревожные месяцы, а уж дальше было бы видно. С работой не было никаких сложностей: Галик Шейнин, например, уверял меня, что он хоть завтра взял бы Иосифа к себе лаборантом. Да что Галик? Таких было много и с гораздо большими возможностями.

Наши общения с Мариной, и так дистиллированные, не замутнялись никакими ухаживаниями и как будто собирались остаться надолго в состоянии бестелесного и восхищенного интереса друг к другу. Вот она подсунула мне книгу: “Ты должен ее прочитать, там многое про тебя”. Райнер Мария Рильке, “Записки Мальте Лауридса Бригге” – в первый раз вижу, такое даже произнести трудно, а не то что запомнить. А читаю, и трепет меня пробирает: мало сказать “про меня”, – там все мои излюбленные мысли становятся на места, да так связно и много, много больше! Наконец дошло: это же та самая книга, которой я зачитался в школе настолько, что начал писать стихи. У той не было титульного листа, и потому я не знал ни автора, ни заглавия, но мысли запомнил так, что они стали моими.

Вот вручила подарок, да еще какой драгоценный: “От романтиков до сюрреалистов” – французские поэты в переводе Бенедикта Лившица, это же моя давняя мечта! Карманный формат, твердая обложка, под ней – надпись какими-то изящными таинственными значками.

– Что это?

– Это мой детский шифр, который я придумала для секретов от взрослых. Пользуюсь им и сейчас.

– А что он обозначает?

– Я секретов не выдаю. Пусть, так будет интересней.

Она жила в закутке на сцене танцевальной залы. Там стоял ее рабочий стол, койка вроде моей, шкафы с папками и причиндалами ремесла, и на белых обоях – легкая таинственная надпись, зашифрованная точно так же.

– Что это значит и почему над рабочим столом? Это – что-то важное?

– Мой девиз.

Ну тут уж я не отставал, пока она его не раскрыла: “Быть, а не казаться”, – не Бог весть что, из романтического арсенала, но значки я запомнил, и этого оказалось достаточно для расшифровки надписи на антологии Бена Лившица:

“Моему любимому поэту. Марина”!

– Почему же не гражданину?

Она даже испугалась, онемев.

Но приближался конец тревожного 63-го, и надвигалось начало следующего, также не сулящего многих общественных радостей года. Оставалось положиться на старое суеверие. Единственный способ противодействовать будущим бедам – это хорошо провести новогоднюю ночь! Тогда и весь год таким сложится. Марина захотела встретить двенадцать ударов со мной, а когда я легко сказал: “Ну конечно”, переспросила уже со

значением, и я опять согласился. Я объяснил, как меня найти, и уехал на зимнюю дачу: у меня начинался отпуск.

Наша база становилась модным местом: поблизости захотела поселиться и Вичка с мужем, рядом с ними – художественная пара Гага и Жанна. А Шейнины уступили свой теплый угол Друскиным. Льва Савельича взволокли наверх, Лиля всковыляла следом, и у меня в будни тоже появились дружественные компаньоны. Насидевшись за столом в промерзшей горнице, я шел к ним за стенку топить печи и подкрепиться тарелкою горячего супа, затем спешил до темноты прокатиться на лыжах. “Самые темные дни в году, – по ахматовскому выражению, – светлыми стать должны”, и они такими становились ненадолго, пока низкое солнце озолачивало заиндевелые души деревьев. Дни я представлял себе как свечи, и тогда весь декабрь становился для них подсвечником, а то и канделябром. Один из них я описал сапфическим размером, наверное, из-за “сапфической” дамы, но посвятил стихотворение Левушке. Мы с ним и поздней вспоминали тот короткий денек: и через два года, когда я вез его в колесном кресле по оранжево-желтым аллеям Царского Села, и двадцать лет спустя, на подобной прогулке в Тюбингене, где я навестил его на пути из Парижа в Прагу… Тот день предшествовал последнему дню года.

В нижнем этаже гудела другая лыжная компания, как бы соревнуясь с нашей: они увесили комнаты серпантином, а у нас зато больше свечей, они привезли и украсили елку, а у нас – вон сколько елок в лесу! Дамы привезли из города предостаточно холодцов и салатов, джентльмены колдовали над “ректификатом”, но и бутылки шампанского стыли сохранно и сокровенно в ручье.

Уселись, стол был придвинут к Левиному ложу так, что он возлежал в подушках, как римлянин, меня, будто бобового короля (вот ведь и фамилия подходящая), усадили в начало стола. Изрядно проводили старый год, приближался новый, – захлопотали над шампанским, захлопали пробками. Марины все не было. Уже отзвучали куранты, шипучка шампанского ударила в нос – и вот и она! Что, как, почему так поздно? Да пропустила станцию, поезд увез до Зеленогорска, и оттуда веселый мильтон с мотоциклом доставил ее сюда в коляске. А где же мильтон? Надо выдать ему в дорогу на посошок. Да уж уехал…

С ее появлением пустой и дряхлый обряд вдруг стал полон смысла: время и в самом деле представилось обновившимся, затикав совсем по-другому, со свежей, почти даже хищной энергией. Все было нипочем, а то, что завязывалось, казалось, вовек не развяжется. Мы вдвоем взяли по зажженной свече и

вышли в темноту. Освещенные окна остались позади, с залива пахнуло мерзлой влагой, и мы ступили во тьму на тонкий лед. Словно процессия, с огоньками свечей мы прошли довольно далеко от берега, и лед все держал, затем пошли вдоль. Где-то могли быть и полыньи, вымытые ручьями, но их было не разглядеть, – свечи освещали только лица, но зато делали свое дело экстатически-истово, иконописно. Мы остановились, я поцеловал ее, почувствовал снежный запах волос. Вкус вошел в меня глубоко да там и остался.

– Послушай, прежде чем сказать ритуальные слова, я хочу задать вопрос, очень важный...

– Какой?

– Как же Иосиф? Мы с ним были друзья, теперь уже, правда, нет. Но ведь он, кажется, считал тебя своей невестой, считает, возможно, и сейчас, да и другие так думают. Что ты скажешь?

– Я себя так не считаю, а что он думает – это его дело...

“Я себя так не считаю”, – значит, она свободна, и этого достаточно. Я произнес те слова, что удержал на минуту, услышал их в ответ, и мы стали заодно. Время не самое удачное? Пусть, значит – судьба, а судьба подходящих времен и не ждет. То, что весь свет может обернуться против нас? Если она это предвидит и все равно выбирает меня, тем она мне дороже. Но, может быть, она не понимает, что2 теперь может начаться? И я спросил:

– Но ты понимаешь, что теперь весь свет может против нас ополчиться?

– Эти “алики-галики” – весь свет? Тебе они так нужны?

– Нет. Если вместе, так ничего и не нужно.

Мы вернулись на дачу к заклинившемуся, как заезженная пластинка, веселью. Лев Савельич, “утомимшись”, был уложен, а остальные спустились брататься с нижней компанией. У тех были не только елка и серпантин, но и проигрыватель. Как пришли, со свечами, мы продолжили свой ритуал, танцуя. Маринина свеча подожгла серпантинную ленту, и огонек, побежав, прыгнул на занавеску.

– Красиво!

Начавшийся было пожар потушили, мы поднялись в горницу и задремали “под польтами”. Год обещал выдаться незаурядным.

Алики-галики

Ощущение поворота судьбы, учиненного собственноручно, лучше всего передавалось словом из суровой николай-языковской песни: “помужествуем”. Хотелось именно этого и, конечно же, счастья, но добытого в одолениях и усилиях, за которое дорого и с хорошим риском плачено. Как это ни странно кому-нибудь из предубежденных лиц читать или слышать, залогом для уверенных действий была моя правота. А толпе (пусть даже интеллигентной) судящих и вмешивающихся “аликов-галиков”, толкующих обстоятельства не в мою пользу, можно было сказать: “Извините, это не ваше дело. Это – свободный выбор двух свободных и взрослых людей, вам тут не место, это – дело двоих, в крайнем случае – да и то лишь на первых порах – троих, которые сами, без вас, должны разобраться”. Однако в отличие от моей подруги я за “галиками” признавал их большую, даже неограниченную и безнаказанную возможность вредить за спиной, мазать, гадить, чернить и плевать, сплетничать и клеветать, приклеивать ярлыки, вешать собак, подкладывать свиней и еще многое-многое что.

Поэтому я решил сделать ход, упреждающий слухи, и направился сам для решительного объяснения с “третьим лишним”.

Он сидел угрюмый, видимо, слухи до него долетели быстрей, чем я шел к нему от Тавриги, либо иные его обстоятельства стали сгущаться... Но о них я расспрашивать не стал, узнаю и так. Приступил сразу к главному.

– Не хочу, чтоб ты услышал это от других в искаженном виде, но у меня произошли некоторые перемены, которые, вероятно, касаются и тебя. Они заключаются в том, что я связываю свою жизнь с Мариной.

– Что это значит?

– Это значит, что мы с ней теперь вместе.

– Ты что, с ней спал?

– Ты же знаешь, что я на такие вопросы не отвечаю. Я связываю свою жизнь с ней. Жизнь, понимаешь?

– Но ты с ней уже спал?

– Спал – не спал, какая разница? Мы теперь вместе. Так что, пожалуйста, оставь ее и не преследуй.

– Уходи!

– Да, я сейчас уйду. Хочу лишь сказать, что помимо личных дел есть и литература, в которой мы связаны и где мы с тобой – на одной стороне.

Какая там литература! Я для него стал существовать в лучшем случае лишь как предмет, препятствующий ему встречаться с Мариной. Она была против моего прямого объяснения с ним, предпочитала все уладить постепенно сама, но

это на мой расчет вызывало бы их новые встречи, объяснения, сцены, и тут я был решительно против. Я был за то, чтобы раз навсегда определиться – и все. Как? Ну, например, нам пожениться, и многие бы проблемы отпали сами собой. Ну что ты, как можно сейчас?! Марина не собиралась это даже обсуждать, – Иосиф, оказывается, ей уже надоел с предложениями. Ах, вот оно как! Положение осложнялось. И осада нисколько не ослабевала. Я старался проводить как можно больше времени с Мариной, лишь иногда отмечая с сожалением, как быстро испаряются оставшиеся дни моего отпуска.

Вдруг он мне позвонил: надо поговорить. Когда? Сейчас. Где? В саду у Преображенских рот. Это было как раз посредине расстояния между нами. Через восемь минут я уже был там. В сквере было безлюдно, лишь какая-то мамка телепалась с коляской поблизости. Я ждал и думал: что ему надо? Разговоров? Вряд ли... Будет угрожать, а то и действовать? Вполне возможно. Моя требуха, проткнутая когда-то бандитской заточкой, предупреждающе заныла. Все же надо выстоять. Да и не поднимется рука у него, у истерика...

Явился. Мрачный, но никакой истерики. Его вопрос меня удивил своим зацикленным упорством:

– Ты уже спал с Мариной?

– Я же говорил, что на этот вопрос не отвечаю.

– Но ты с ней спал?

– Отказываюсь разговаривать.

Он смотрел на меня, я на него. Наконец я развернулся и ушел. Что все это значило?

Марина замкнулась, перестала мне звонить, а телефона там не было. И я ехал к ней наугад, на 13-м трамвае через Садовую, где делал пересадку, огибал двойной дугой Никольский собор и дом Всеволожских, выходил у Консерватории напротив Мариинки, чуть возвращался, глядя на золоченые купола, шел к дому павловской застройки, ужас и сладострастие, звонил в дверь, Павел Иванович угрюмо буркал: “Ее нет”, и я уходил. Я и верил ей, и ревновал, предполагая, что она, как и хотела раньше, “постепенно” улаживает свой, теперь уже для меня сомнительный, разрыв с моим соперником.

От этого “ужаса и сладострастия” я решил уехать проветриться на зимнюю дачу, да и глупо было разбазаривать в городе последние денечки отпуска. Там уже не было так пышно-нарядно, как прежде: после оттепели обнажились растоптанные до грязи дорожки, еловые лапы, освободившись от снежных припухлостей на плечах, пахли сыро и траурно... Но, когда я ступил на крепкий помост крыльца и услыхал нестихаемый

ручейный журч, я вновь воспрял. В доме было прохладно, но все-таки топлено, Друскины по-прежнему оставались там с памятного Нового года. Я даже не зашел в свою горницу, затопил прежде всего печь в их половине (а тепло оттуда поступало ко мне через стенку), и мы заужинали.

– Димок, я перед тобой виноват, – протянул вдруг Лев Савельевич.

– В чем же таком, Левушка?

– Я предал тебя, извини... Ко мне приезжал Бродский, он все расспрашивал и хотел посмотреть твою комнату, и я ему позволил.

– Ну и что?

– Он очень просил тот нож, что тебе подарила Марина. И, уж прости, я ему позволил его взять.

– Взять мой нож? Да как же ты мог?!

– Ну, вот так. Можешь мне набить морду, если желаешь...

Ах, старая кокетка! Кто ж тебя, калеку, бить будет? Но все-таки нож, о котором я совсем забыл, это ведь – зловеще... Не зря мои драные кишки дали о себе знать в садике перед Преображенскими ротами.

– Эх, Лева... Спасибо, что хоть сообщил.

То была пятница, и я забылся в дреме на койке под лоскутным одеялом, слишком узким даже для одного...

Уже поздним утром, когда я собирался на лыжную прогулку, дом вдруг ожил и ко мне постучались. Вошла – как я сразу понял по лицам – делегация: Аля Шейнина с видом, заимствованным у домоуправа, скорбно-застенчивый Галик, деловитый и протокольный Миша Петров, любопытная и возбужденная Вичка и муж ее Миша с выражением удовлетворенного истца. Выступил Миша Петров, который и был-то тут сбоку припека – именно как мой гость и не более, – и вот он заговорил:

– От имени коллектива съемщиков этой дачи, которые мне поручили это сказать тебе, Дима, мы находим твое поведение неприемлемым, и они хотят, чтобы ты покинул эту дачу. Твой вклад, за вычетом уже израсходованных взносов, тебе возвращается.

“Мы”, “они” – кто есть кто? Но неважно, объявление вашей бесконечной (и односторонней) войны мною принято. Что тут сказать?

– Я ухожу. А вы, братцы, не правы.

И – началось... Где-то что-то мелодраматическое возникало и перед кем-то до трагического накачивалось, бритовкой чиркалось по запястьям, кто-то катался в истерике, комкая и кусая платок, и объявлялось имя конкретного носителя Мирового Зла, и это было, оказывается, мое (а в сущности-то, даже не мое, а невинного моего отчима), в общем-то, смешноватое имя. Кому-то беседовалось в стихах аж с богами (в частности, с божком любви), оповещалось о некоем моральном ублюдке, истинной любви не знающем, о сексуальном маньяке, зацикленном на половых органах наших с вами подруг, и при этом опять же кивалось все в ту же сторону. И – работало, действовало: все больше профилей я видел на филармонических концертах, все меньше трезвонило мне телефонных звонков к облегчению домочадцев.

Была и поддержка немногих, которые стали еще ближе, но главным и непререкаемым арбитром оставалась Ахматова: примет она меня или не примет? Она приняла, и я читал ей поэму “Новые диалоги доктора Фауста” – эта тема была ее давней подсказкой всем нам, и вот я осуществил ее. Но посвящение было адресовано не ей, и надпись под названием гласила: “М. П. Басмановой посвящаются эти опыты”.

Ахматова выслушала мои “Диалоги” с неменьшим вниманием, чем я слушал ее “Поэму без героя”, и сказала лишь:

– Лексика почему-то бледна.

Я ответил:

– Это белое на белом... Как ваше “к... к... к...” выдает замешательство автора, так и здесь однообразие красок дает свою фору мыслям и интонациям.

Она, может быть, впервые остро взглянула на меня и попросила “на два дня” мою поэму. Ну, разумеется... Через два – или дважды два – дня я был опять у нее, и рукопись мне вернулась с такими словами:

– Поэма состоялась.

И – ничего больше. И я уже не расспрашивал, как мне этого ни хотелось. Главное: Ахматова меня и поэму мою подтвердила. Остальное мне было уже не страшно.

Но появилось много общественных экзекуторов, стремящихся привести в исполнение приговор “аликов-галиков” в широком спектре воображения, где-то далеко отойдя от классического “казнить нельзя, помиловать” и значительно приближаясь к “казнить, нельзя помиловать”.

Как-то Федосья, положив телефонную трубку, объявила:

– Спрашивали тебя, дома ли ты, но не сказались...

– Кто бы это мог быть?

Через полчаса выяснилось: явился художник Олег Целков и с

ним Владимир Марамзин, литератор. Вид у обоих был решительный. “Где картина?” И они прямо прошествовали в мой кубометр жилья, будто для обыска: следователь с понятым. Да что там искать: картина, то есть эскизная голова к “Едокам арбуза”, висела в простенке между окном и дверью, но... перевернутая лицом к стене. Олег, как увидел это, так, передернувшись, сразу заявил:

– Я забираю картину.

– Да что ты, Олег! Мы же договаривались... И для какой роли ты пригласил с собой Марамзина?

Марамзин, довольно крупный парень, переминался в летчицких унтах, бороде и распахнутой дубленке, заполняя мой закут уже до состояния полной закупорки.

– Он мой коллекционер. А ты перестал выплачивать по договору, да и, как ты относишься к моей живописи, я теперь вижу...

– Олег, я прервал выплаты, потому что перешел на другую работу и у меня затруднения. Но я скоро все выплачу. А мое отношение к живописи прежнее. Просто мне бывает тесно в этом объеме, а краски такие агрессивные, что я устаю от их давления и вот так отдыхаю...

– Нет, нет, так нельзя, это неуважение! К тому же здесь рядом кухня, газовая плита, пар, запахи – это вредит краске. Картину я забираю, а то, что ты успел выплатить, верну.

Ушли... Теперь Марамзин станет по салонам рассказывать в деталях о моем унижении. Он и настроил Целкова. Мы с ним были давно и шапочно знакомы, еще когда он учился в ЛЭТИ и звался Володей Кацнельсоном. Он стал ходить по литобъединениям с короткими рассказами, потом женился и взял фамилию жены. Марамзин – почти Карамзин, звучит литературно, хотя и смахивает на маразм тоже. Я видел его в звездный час, когда он шел по Невскому, приобняв двух красавиц, щурясь маслинами глаз и улыбаясь в молодую курчавую бороду. Слева к нему льнула бывшая, а справа – будущая жена, Оленька Антонова, дочь известного советского писателя Сергея Антонова и сама в скором времени прима Акимовского Театра комедии. С ней мы еще подружимся примерно за год до моего отъезда из Союза, а ее тогда уже бывшего мужа я видел где-то посредине меж этих событий в час его позора. Он был арестован по чистому делу, за самиздат, главным образом – за Бродского, но сломался, раскаялся и на суде закладывал своих французских “эмиссарок”, вывозивших рукописи за границу, заодно заложил и академика Сахарова, потому лишь, что тот якобы находился вне опасности от преследований и клепать на него было безвредно. А того вдруг

взяли и выслали в закрытый город Горький. А Володю Марамзина, наоборот, выпустили. Так вот, тогда, в описанном выше эпизоде, он, конечно же, настропалил и привел Целкова.

Не встречаясь и не объясняясь, заочно меня приговорил и друг Женичка. По горячим следам событий, но не участвуя в них (то есть действуя скорее как журналист, а не как поэт), он написал поэму под таинственно-масонским названием “Треугольник и глаз”. В ней он описал, соответственно, любовный треугольник и то, как его видит – нет, не всевидящее око, а любопытный взгляд соседа, подсматривающего за тем, что он считает адюльтером. С этой поэмой и сопутствующим комментарием он прошествовал по компаниям и салонам: читал у Шейниных… у Штернов… там… сям… И дело делалось. Я, естественно, захотел узнать, что это за произведение, и автор неожиданно охотно передал мне текст через третьих лиц.

Это было не то, что я предполагал. Я ожидал каких-нибудь посильных вариаций на тему “Моцарта и Сальери” с заведомо известной ролью, мне отведенной… Нет, такой малостью мне было не отделаться – автору показался контраст между гением и злодейством недостаточно ярким. Первым “углом треугольника” у него, конечно, был Поэт и Гений, но еще и Герой, пошедший бесстрашно против неправедных сил – каких же? – ну, не обозначать же прямым текстом КПСС и КГБ, иносказательно можно назвать их Драконом. А его возлюбленная, хотя и не была захвачена в плен, но селилась предосудительно между Театром и Рынком, что, вероятно, символизировало ее лицедейство и продажность. Поэтому-то ее с легкостью и соблазнил появившийся третий “угол” – и не злодей, и не поэт, и даже не претенциозная литературная бездарь, а вообще никто, какой-то хлюст с улицы, единственной приметой которого была хорошая английская обувь, описанная автором со вкусом, вниманием и даже некоторым завистливым сожалением. А ведь, действительно, я одно время донашивал английские туфли моего покойного тестя, и надо же, как автор их прочувствовал, запомнил и оценил! Правда, про Рынок соврал: вместо него был Никольский собор. Ну какая разница, это ведь художественное произведение! И, слушая его, либеральная интеллигенция наслаждалась вовсю своей нравственной правотой.

К этой толпе присоединился и быстро набирающий известности писатель Андрей Битов. Только он решил устроить свой суд надо мной в прозаическом жанре, да так, чтобы приговор застал меня врасплох. Но в планах своих он немножко прошибся – нашлась добрая душа, позвонила мне из издательства:

– Дима, у меня есть новости для вас. Первая (и это хорошая

новость): мы отобрали ряд ваших стихотворений для следующего выпуска “Молодого Ленинграда”. А вторая – похуже, я даже не знаю, как вам это и рассказать. Приезжайте к нам в издательство, я вам лучше покажу.

Приехал. Дело оказалось в том, что текущий выпуск того же альманаха был уже почти готов, из типографии пришли гранки для вычитки и исправлений. Там был напечатан рассказ Битова с главным персонажем по фамилии… Бобышев. Этот ничем не примечательный Бобышев (“маленький человек” – традиционный тип в отечественной литературе) служил инженеришкой в какой-то конторе, ленился, мелочно обманывая начальство, хотя и трусил, но прогуливал, ходил в рабочее время в кино, пытался даже завести легкую связь со случайной девицей, но сробел и пожмотничал, ну и так далее. Словом, становился Бобышев именем нарицательным для мелкотравчатости и моральной нечистоплотности. Мокрица он и дрянь.

В ответ на мой взгляд добрая душа развела руками и сказала:

– Здесь я помочь не в силах. Да автор меня и не послушает. А сходите-ка вы лучше к главному редактору, попробуйте его убедить. Вы ведь теперь тоже наш автор.

В назначенное время я явился в Дом книги и вознесся лифтом на тот этаж, куда допускались лишь посвященные. Главред, нормального вида приземистый чиновник, уставился на меня с непротокольным любопытством.

– Знаю, знаю… – остановил он мое вступление. – Герой этого рассказа, конечно, неблаговидная личность, и то, что у него ваша фамилия, может у вас вызвать досаду. Но таких случаев в литературе сколько угодно, и к нам в издательство нередко приходят письма с читательскими обидами подобного рода. Что тут поделаешь? Вот моя фамилия, например, Смирнов – самая заурядная. Представим, что Битов дал своему персонажу мою фамилию, мог бы я протестовать?

– Ну, во-первых, моя фамилия не так уж часто встречается. Во-вторых, некоторые детали совпадают, например, то, что я инженер. Это ведь немаловажно: представьте, как этот рассказ будет прочитан у меня на работе. Но возьмем ваш пример, и героем пусть будет Смирнов. Пусть это чуть ли не самая распространенная фамилия, но если его сделать не “инженером”, а “главным редактором одного из издательств”? Плюс какие-нибудь детали для сходства?

Моего собеседника слегка передернуло от такого предположения, но он продолжал гнуть свое:

– Здесь ведь возможно и совпадение. Автор мог просто выдумать такую фамилию, которая ему подошла для

характеристики персонажа. Вот у Гоголя, например...

– Да знает он меня прекрасно, но почему-то хочет навредить... Никакого тут совпадения нет, мы с ним знакомы.

– А как вы это можете подтвердить?

Такой вопрос я предвидел и хорошо к нему подготовился. Вот, пожалуйста! Я протянул ему книгу “Большой шар” с дарственной надписью: “Дорогому Диме Бобышеву – за его стихи. Дружески – Андрей Битов”.

– Это другое дело... А не могли бы вы оставить мне эту книгу?

– Да ради Бога, мне она не нужна. И, помимо всего, я ведь тоже ваш автор. Мои стихи отобраны для следующего выпуска альманаха, это будет мой дебют, и я хочу, чтобы читатели связывали мое имя со стихами, а не с сомнительными похождениями битовского персонажа.

– Да, это другое дело. Чернить своих авторов мы не заинтересованы.

Ближе к вечеру раздался звонок. Едва я отозвался, телефонная трубка заревела на меня битовским голосом. Бешеная брань и оскорбления сотрясали мембрану несчастного аппарата, завершась патетически:

– Вызываю тебя на дуэль!

По случайности я в этот момент был один в квартире и потому мог дать волю ответному негодованию, которое я подытожил, надеюсь, не хуже:

– Ты для меня и так уже мертв.

Вскоре вышел альманах “Молодой Ленинград” с битовским рассказом. В фамилии героя была заменена первая буква. Пустяк, но это уже был не я.

Странно ли будет добавить сюда признание, данное Битовым – жизнь, две жизни спустя – в интервью для одного кинематографического журнала? Вопросы задавала Любовь Пайкова, и вот какой ответ извлекла из него ловкая журналистка.

А. Битов: То, о чем вы говорите, связано... с неправильной, греховной жизнью. Помню, решил воспользоваться моментом и отправился исповедоваться в русский храм в Голландии. А был я в совершенно непотребном состоянии, после такого перебора, когда стыдно дышать и полное омерзение к себе. И батюшка как-то сразу понял это мое состояние, хотя оно ему вряд ли импонировало... У меня было впечатление, что он сгибался под той ношей, которую я на него взвалил. Потом он меня спросил: “Ну, а зла-то вы многим желали?” И я ответил: “Вот этого – никому”. Тогда он сказал: “Ну, слава Богу...” И отпустил мне грехи.

Рифма на слово “любовь”

А вот Дракон либерального мифотворчества или “прогрессивного” общественного мнения, против которого я, оказывается, выступил, был не менее когтист и клыкаст, чем его официально-государственный собрат. И – гораздо живучей, замечу в скобках сегодня.

Я, как стереотипный и, следовательно, “идеальный” любовник, раздразнил вначале толпу красотой и богатой ценою своей добычи, а затем пожелал быть оставленным в покое, уединиться с ней, удалиться, закрыв дверь в нашу частную жизнь, словно в спальню. Не тут-то было! Нет, сам я такое противостояние вполне выдерживал, а враждебные выходки других мне казались самообнаружением их ханжества, прикрытием их же неблаговидностей. Все это выглядело, как ожившая в современных костюмах иллюстрация к давнему словосочетанию “светская чернь”. Наоборот, я чувствовал себя одухотвореннее, чем когда-либо в жизни, покупал и дарил розы просто так, гордился отвагой подруги, оказавшейся как раз по мне, и бывал с нею, как утверждает мой тогдашний дневник, секретные абзацы которого я заполнял ее школьным шифром, да, ослепительно счастлив. Мне нравилась даже раздуваемая до полыханий слава моего соперника, коему я противоборствовал на поприщах личных, но – здесь для “зрителей” воздвиглась неодолимая преграда – граждански я стоял за него и был с ним. А он эту преграду и воздвигал, при том, что защиту себя от реальных и надвигающихся судебных угроз бросил на других, да и всю ситуацию пустил, едва ль не сознательно, на обострение.

– Чем хуже, тем лучше, так он считает, – сообщила Марина.

– Надо же! Как Лукич перед революцией... – изумился я и тут же ревниво поинтересовался: – А откуда ты знаешь? Ты что, все-таки с ним общаешься?

Ответ был туманным... Многие из ее таинственных проявлений или привычек были для меня уже вполне проницаемы, как, например, тот же разгаданный без особых усилий шифр. Двойственность, несомненно, была и скрывалась, но где-то гораздо глубже валялись недоглоданные подсознанием травмы, дающие о себе знать вспышками вражды с родителями. А художественных или “поколенческих” расхождений у Басмановых на удивление не было, и в моменты авралов они выручали друг друга профессионально и дружно. Я ценил ее вкус, настигающий

пошлость и фальшь в любом художестве, любовался ее чуткими и точными пальцами, слегка тронутыми наследственным недомоганием, которые постоянно что-то очерчивали, мазали и оттеняли в крохотных блокнотах. Многие из этих набросков казались мне проявлением подлинного таланта, и я видел за ними нечто долженствующее явиться: большое, полное свежести и... не величия, величие не может быть свежо, а вот именно что свежести и достоинства... Но так и не появилось.

Я был уже не чужим, находясь у них дома, как вдруг в зале возник вихрь сдержанного переполоха.

– Опять, опять... Он там! Я не могу. – Наталья Георгиевна прошествовала, колеблясь телом больше обычного, из своей комнаты в кухню-прихожую.

Марина, ахнув, отдернула занавеску. Я шагнул к окну и, скрестив руки, встал с ней рядом. На той стороне улицы у дома Всеволожских стоял и смотрел на освещенные окна Иосиф. Марина запахнула занавеску и чуть ли не зашипела:

– Отойди! Как ты можешь так?

– Он что же, следит за тобой? Я это прекращу! – схватился я за пальто.

– Там же сейчас мать. Ты не можешь туда!

Ах да: зона выхода перекрыта... Когда я, наконец, оказался на улице, Иосифа не было.

Еще однажды, когда я взбегал по ступеням ее лестницы, с виду более старой, чем весь этот дом, я натолкнулся вдруг на сцену: перед дверью к Басмановым происходило объяснение Иосифа, которого не пускали в дом, с Мариной, вышедшей к нему на лестницу. С моим появлением температура разговора подскочила вверх. Иосиф стал бросать в мою сторону какие-то дежурные безумства, хватаясь ладонями за лицо, жестикулируя, как мне казалось тогда, театрально, для большого зала:

– Как ты не можешь понять? Ведь всюду во вселенной есть черные дыры. Дыры, понимаешь?.. И из них источается зло. А ты, как ты можешь быть с ним заодно?

– Ну про черные дыры слыхали мы все из астрономии. Дотуда просто не доходят радиосигналы, или оттуда не отражаются... Но и помимо этих научных сообщений я догадывался – и описывал это кое-где – о существовании, как я называл их, щелей в мироздании, откуда дуют зловещие сквозняки. Так чем ты можешь меня удивить?

– Хватит! – вмешалась Марина. – Уходите вы оба! Я больше не могу этого слышать!

Она исчезла, захлопнув дверь. Старинная лестница с чуть оплывшими ступенями была устроена так, что смертельных

пролетов на ней не было. Мы с Иосифом мирно спустились и побрели в одну сторону, заговорив, как это ни странно, тоном светским и безобидно-нормальным:

– Я слышал, ты был в Москве… Как там все общие знакомые? Что делает Стась?

– Стась?

– Да, Красовицкий. Тебе не кажется удивительным то, что он пишет?

– Нет, все это я тоже могу.

Ах, вот как! Главное слово здесь “я”, а не поэзия, не литература. Я развернулся и пошел прочь, к остановке трамвая.

Но вдруг, чуть ли не на следующий день, ситуация переменилась: стало известно, что Иосифа арестовали. Зазвучали радиоголоса, бурно зашелестели рукописями-машинописями самиздатские каналы, всколыхнулись массы-не-массы, но все-таки значительные толпы истинно благородным негодованием – начинался неправедный суд над поэтом. Да и как не сочувствовать: молод, без вины оболган, обозван и при этом еврей и талантлив, да что там “талантлив” – может быть, будущий гений, да гений и есть! – его “Пилигримов” слыхали? Их Кукин поет. И вот ни за что, ни про что грозит ссылка до пяти лет на тяжелые работы, на север. А здоровье неважное: сердце. Да и нервы вчистую истрепаны – довели его сволочи до психдиспансера. И к тому же, пока он в тюрьме, лучший друг у него невесту увел. Да что вы! Ну я бы таких просто давил.

И я чувствовал, как меня, словно какой-то окурок или плевок, об асфальт растирают. А что бы вы посоветовали мне сделать в таких обстоятельствах: сдать “невесту” обратно? Ну нет! На нее и так уже шло, оказывалось давление добровольными купидонами. Вдруг Басмановы-старшие подверглись суровому выговору: как это, мол, дочь их посмела оставить – и кого? – Первого Русского Поэта, которому она обязана его выбором?! Вдруг стала ее близко опекать Таня Румянцева, школьная приятельница, которой за посреднические услуги Жозеф немедленно воздвиг стихотворный обелиск “Румянцева по бедам”. Наконец, приехала из Москвы сестра Андрея Сергеева, который считал Иосифа, и не без оснований, своим созданием, как бы Галатеей мужского рода, сформированной из его переводов с английского. При чем тут сестра и при чем тут Марина? Не знаю; тоже, наверно, присмотр под видом опеки… Ну и другие доброхоты торопились вмешаться, “улучшить”, “исправить” положение и как-либо, не вступая в конфликт с истинным виновником несправедливости – властью! – “помочь” гонимому поэту. И тот, надо сказать, пользовался общественной поддержкой в своих личных целях вовсю… за мой

счет.

Пока шел процесс, как известно, привлекший мировое внимание, пока он откладывался, пока назначалась психиатрическая экспертиза (мир замер: не обернется ли кара принудительной психолечебницей? Но нет, то был лишь маневр адвоката), шла игра нервов, и не в последнюю очередь – моих. Я знал, что Марина ходила на Пряжку, на Невский рукав, где находилась указанная спецбольница, но ни остановить, ни благословить ее на это не мог. Я лучше бы сам туда передачи носил, определись мы с нею потверже. Приговор осудил Иосифа и выслал его в Архангельскую губернию на пять лет, но никакого вердикта нашим отношениям он, разумеется, не вынес, и они оставались зиять...

Две правоты

Добровольные купидоны, дуэньи, даже телефонные дуэлянты – все это было бы ничего, если б не сомнения, уже раз навсегда поселившиеся во мне по поводу искренности подруги, если б не поиски объяснений ее колеблющегося поведения в совсем уже чуждом ряду понятий – в стратегии кокетства, в использовании меня как средства для уловления не меня, а его, его, – вот в чем был “потерянный рай” ослепившего меня на минуту счастья. Пока это ослепление длилось, мы оказывались правы общей, покрывающей двух правотой, но стоило иллюзии испариться, как и правота начала истончаться, делаться куце-лоскутной, наподобие моего одеяла. Нет, я-то верил в себя, и даже свое образовавшееся одиночество воспринимал как залог, может быть, донкихотской победы. Но для этой веры одной лишь моей правоты недоставало, она нуждалась и во второй опоре. Как когда-то в Карпатах, карабкаясь за эдельвейсом, я безоглядно рискнул и поставил ногу на камень, а он выкрошился из скалы, – так вот и тут. Да и в памятную новогоднюю ночь на тонком льду залива – столько веры в нее вложил, столько риска. И ведь предупреждал... А теперь я уже попался, стал от нее не свободен, да и назад уже поздно, только и оставалось, что переть напролом...

Эти темы, думы и слова были самыми насущными – хлебом и воздухом моей жизни, только их я и мог прокручивать через извилины и полушария моей головы, и сердце питало их безостановочно, а для нее они становились, увы, лишь

“выяснением отношений”. Чем-то вроде: “Вы любите выяснять отношения? Я – терпеть не могу!” Тем более что и с другой стороны, из архангельской ссылки, шло то же самое в виде писем, стихов, телефонных вызовов. И кто я был, чтобы ей приказать: “Не читай” или: “Не говори”?

Быстроглазый Володя Аллой и жена его Рада вдруг стали доверенными ее друзьями, и к ним она стала ходить с несвойственной регулярностью, словно по расписанию, а мне не позволялось даже провожать ее к ним. Ну, конечно, от них-то и шли звонки: в сельсовет ли в определенное время, к ним ли с переговорного пункта на станции Коноша, и уж, наверное, происходили свои “выяснения отношений”; как я понимаю, происходило примерно то же, чего я старался не делать. И все-таки делал.

Оттого-то и показалось мне, хотя и не без обиды и подозрений, но все же естественным ее желание удалиться куда-нибудь в тихое место да и пожить хоть недельку одной, прийти в себя, разобраться, решить наконец, что же делать… А куда она хочет поехать? Может быть, в Колосково? Нет, ни за что! Так куда-нибудь в Комарово? Нет, нет, это совсем другое место, и она не хочет, чтоб кто-либо знал… Так! И меня теперь устраняла вчистую…

Через несколько дней я решил, что надо ее искать. Почему-то мне вообразилось, что я знаю то место, куда она могла захотеть спрятаться, – из ее же рассказов о когда-то счастливой дачной поре, из ее взглядов туда в окно электрички, когда мы ездили мимо, по той же ветке до Рауты, до Соснова и шли потом на бобышевскую дачу… Где-то за Токсовым начинались крутые холмы, поросшие курчавым лесом, уходящие как-то маняще-щемяще в сторону Юкков, и она произносила стихи Кузмина, в общем-то, жеманно-эротические, о тех местах, где “прозрачно розовеют пятки / у резвых нимф на небесах, / в курчавых скрытые лесах / кукушки заиграли в прятки”, и, произнесенные ее шелестящим голосом, они для меня навсегда связались именно с этим пейзажем. Мы с ней как-то (да не “как-то”, а точно 2 сентября) поехали туда на прогулку с неясным желанием найти наше куда-то девшееся счастье, как будто его можно было обнаружить и взять, словно семейство маслят, под сосенкой. Целый день она пробиралась, мы вышли на платформу уже в сумерках, пошли по дороге в сторону холмов: кустарник, поле… И вдруг желто-рыжая краска мелькнула: лисица! Что-то вроде удачи… Стемнело. В загоне возилась, с хрупом дочавкивая свою шамовку, какая-то свинка. Мы поднимались по склону холма, между ветками поблескивали звезды. Пахнуло хвоей. Тут, под

еловым шатром, мы и остановились. Зачем, почему мы с ней здесь? Я почти принудил ее к ласке, но получил лишь укор. Ждали ли мы какого-то чуда, явления, откровения? Нет, этого не было. Был пробравший меня до позвоночника церемониал неизвестно чего, но с великим якобы смыслом – предтеча позднейших “перформансов”. Вот разве что меры наших жизней тогда утекали одновременно, одноминутно и вместе… А между тем прошли целые сутки, и мы вернулись в город.

И в это-то место я приехал теперь ее искать. Добрел до поселка, выискал живую душу, спросил. Нет, никаких дачников не было. Побрел в сторону другого поселка. И вдруг понял, что ее здесь нет. Вернулся в город – и прямо к Басмановым:

– Где Марина?

Наталья Георгиевна, стоя в дверях, поглядела на меня, как на безумца, и, бедная, вынуждена была лепетать:

– Не могу вам ответить…

Но я уже знал. Не знал только точного места и не знал, как узнать его… Не бросаться ж в стан демонстративно сочувствующих – мне, демонстративно отверженному! И я стал вспоминать, где я слышал о месте Жозефовой ссылки. В последнее докризисное время я начал было дружить-не-дружить, но общаться-видаться с прозаиком Игорем Ефимовым: он бывал у меня на Тавриге, принимал несколько чопорно и у себя с женою Мариной Рачко, тоже писательницей. Были мы сверстники, но они держались солидней, что прозаикам свойственно: если не трубка, то борода у них заводилась сама. У Игоря был еще голос скрипуч. И говорили об умном: он, например, спрашивал, как я себе представляю современный роман. Ха! Я представлял его прежде всего интеллектуальным, то есть романом идей. Ну как что, например? Да есть множество образцов, самый характерный, пожалуй, – это “Доктор Фаустус” Томаса Манна. Неужели!? Обязательно надо прочесть. Да, у меня есть эта книга, и я могу ненадолго ее одолжить…

Наблюдал меня как прозаик, а потом перестал: якобы исчерпал и понял. Но стихи все просил и даже потом повторял, что запомнилось. Вдруг удивил, спросив разрешения взять две строки “из меня” на эпиграф для романа, да еще каких:

Беда, беда, – зову я, выбегая.

Навстречу мне желанная беда…

Роман “Смотрите, кто пришел!” был задуман как интеллектуальный, но и молодежный, и его вот-вот намеревался опубликовать журнал “Юность”. Не очень-то веря в такую удачу, я разрешение, разумеется, дал. Журнальное “вот-вот” растянулось на после-кризисное время, и “интеллектуальный роман”, а лучше

сказать, лирическая повесть Ефимова вышла со странно изменившимся эпиграфом: “Нас и любить-то еще не любили, / Нас и забыть-то еще не могли” и с подписью: “Александр Кушнер”.

Я вспомнил: Ефимов позвонил и позвал к себе, когда уже наше противоборство с Бродским пошло по заголовкам шепотных новостей. Я удивился, не зная, отстал ли он от злобы дня или же, наоборот, желает со мной озабоченно-дружески обсудить эти события. Оказалось, просто почему-то еще не слыхал, а я о себе самом сплетничать не собирался. Разговор пошел о месте изгнания Бродского: Архангельская область, Плесецкий район, станция Коноша, село (и совхоз) Норенское.

– Прямо как Галя Наринская... – сказал Ефимов.

И это – запомнилось.

В среду я взял отпуск на два дня (вместе с субботой и воскресеньем этого мне должно было хватить с лихвой на поездку) да и отправился очертя голову – уже не за счастьем, а “хоть себя положить, а несчастье свое возвернуть”.

В Коношу я прибыл утром, но почтовая машина в Норенское уже ушла. Так если дотуда тридцать километров будет, значит, можно и пешком дойти? Местные сомневались, но я пошел по шоссейке и углубился в лес. Были мартовские разливанные оттепели, проточные неглубокие лужи переплескивали через грунтовую дорогу, но мои боты “прощай молодость” все еще держали ноги сухими. Сосняк с березняком, кое-где осины, оседающие под солнцем сугробы и, в общем-то, проходимый тракт как-то меня шаг за шагом взбодрили. А тут и – вне всяких предсказаний – попутка остановилась даже и без моих жестикуляций: садись, подвезу! Сел в кабину, как барин, и покатили. В перелесках стволы деревьев стояли еще в снеговых колодцах, а на увалах земля оттаяла и через дорогу образовались такие потоки, что и в сапогах-то сухим не перебраться. Ну, ничего, притормаживаем, а дальше скорости опять набираем. Вот и Норинское – большие бурые избы средь открытого поля. Остановились. Как раз напротив стоит встречный грузовик, а в кузове, я вижу, – Марина! Она и без меня готова уехать, Иосиф в сапогах и ватнике стоит у колеса, провожает.

Выпрыгивая из кабины, я кричу:

– Марина! Вот ты где! Я – за тобой.

И – не слишком ли так уж легко, без усилий? – забираюсь к ней на грузовик.

– Нет! – Иосиф кричит. – Марина, слезай, ты никуда не поедешь.

– Нет!

– Да!

– Нет!

– Да!

Марина лезет через борт, спускается. Я за ней. Мы втроем входим в избу через дорогу напротив. Грузовики уже разминулись, разъехались… Дальше что – непонятно. Но я знаю, зачем я приехал. За кем. Громадная скрипучая изба. Входим в малую комнату: стол, заваленный книгами и рукописями, две лежанки, на полу – картонный короб с сигаретами “Kent” и пестрой всячиной, над столом приколота открытка “Избиение младенцев” Брейгеля, на стене над одной из лежанок – остро заточенный топор. В окошке – вид на ту лужу, где только что стоял грузовик.

– Что тебе здесь нужно? – Это спрашивает меня Иосиф.

– Ты знаешь. Я приехал за ней.

– Она отсюда никуда не уедет.

– Нет, уедет. Со мной.

Взгляд его на топор. Взгляд мой туда же.

– Я без нее никуда не уйду. Только вместе.

– Нет, она останется здесь.

Взгляд на топор. Взгляд туда же.

– Нет, уедет.

– Нет, не уедет.

Тут вмешивается Марина, обращаясь к нему:

– Я тебе все сказала, и я уезжаю сейчас.

– Нет, ты не можешь! И машина ушла.

– Ничего. Я должна – хоть пешком.

Мы вышли, направились к лесу. Разговор трех повторял хаотично все то, что уже было сказано раньше. Мы удалялись от Норинского. Иосиф на шаг отставал. Поле кончалось. Дальше дорога, темнея и суживаясь, углублялась в лес. Все. Здесь я должен стоять за Марину.

– У меня в руках ничего нет! – показал я ладони Иосифу.

– У меня – тоже!

Мы сжали кулаки, заходили индюками один вокруг другого. Но тут опять вмешалась Марина. Что-то быстро сказав ему (обещание? ложную клятву?), она зашагала к лесу, и я – с ней. Он остался стоять у края поля. Пересекая очередной поток, я в кармане пальто нащупал железку – то был всего лишь токарный резец, взятый мною “для веса”. Размахнувшись, я далеко забросил его в разлившуюся талую воду.

– Что это было? Что? – тревожно вскинулась Марина.

– Так, ничего.

Конечно, не пистолет, как она, возможно, предположила. И не

символический ножик. И не реальный топор. А так, железка “для веса”. Но можно было проломить ею череп.

Непредсказуемо сзади подъехала внеочередная попутка. Нет, догоняющего нас Иосифа в ней не было. Мы взобрались в кузов и, держась за кабину, рассекали непокрытыми головами еще тридцать верст ледяного ветра, лесных сумерек и тающей мороси. В Коноше до поезда оставалось еще несколько часов. Я купил питьевого спирту, который там продавался в лавке, но выпить не смог – спирало, заклинивало в горле: не вдохнуть и не выдохнуть. Когда мы сели в поезд, меня разобрало, и я зашелся кашлем, слезами, в общем – истерикой... На остановках входили пассажиры, заглядывали в купе, но шли в глубь вагона. Раскачиваясь, я бился над вопросами: “Зачем?”, “Как ты могла?” и “Что делать дальше?”

Хэппи-энд

А что оставалось делать, как не “выяснять отношения” вновь и вновь, хотя и так уже все было ясно: планы порушены, жизнь испорчена. Да, я все-таки привез ее, вернул, а если даже просто вернулся с ней, все равно, – в какой-нибудь умозримой Книге деяний в графе этого подвига можно было поставить мне галочку – выполнил. Но дальше-то что? Надсада, боль, обвинения – много чего пришлось мне высказать и услышать. Зачем же было ее возвращать – чтобы мучить? Или мучиться самому? Обманутость вызывала унизительное чувство своего соучастия, будто это не тебя обманули, а ты обманул. Сознание ныло, болело, казалось, там какой-то сустав подвернулся и теперь будет так беспрерывно... День, два, три, неделя, другая – все не отпускало, все виделся впереди мрачный тупик. Нет, время совсем не лечило, но и до худшего, к счастью, не довело. А вот возраст – лечил. Было мне тогда 27 лет – это обстоятельство и оказалось лучшим костоправом: вдруг отпустило, словно и в самом деле душе вправили вывихнутое крылышко.

И я стал писать большущую поэму, которая в конце концов получила название, удачное или нет, но такое, что его уже не изменишь: “Небесное в земном” – о любви или, лучше сказать, “про любовь”, как кино. В качестве “земного” там было многое из того, о чем я упомянул в предыдущей главе, даже чавкающая в темноте свинка и топоток лисьей пробежки, была и станционная харчевня, и полуполоводье лесного тракта, и скрипучая изба,

только топор на стене пришлось заменить сувенирным и ненадежным ножом в ватных брюках моего “антипода”. И, конечно, были там мои одинокие и немые причитания по беглянке.

А из “небесного” – было ночное небо. Я его, по существу, заново тогда увидел и, словно грамоту, начал читать, расшифровывая, вроде той надписи на переводах из французских поэтов. Знаки были вписаны в нее вперемежку: на арабском и греческом. Чернота небосвода полнилась светоносными богами и царями, пастухами, мореплавателями и чудовищами, их судьбами и соотношениями. Я без труда нашел среди них знакомый сюжет. Он безмолвно вопиял, желая выразиться с такой истовой силой, что музыкально ему могла соответствовать только тишина, но понимаемая не как отсутствие звука, а как потенциально многоголосое молчание органа, готового грянуть.

Когда я закончил поэму, ее сюжет еще продолжался и в жизни, но уже значительно от меня отстранясь. Я даже решился опробовать новую вещь на голос.

Андрей Арьев, у которого я стал нередко бывать, предложил устроить у него литературный вечер, разумеется, “только для избранных”. Я изжаждался по общению и с готовностью согласился. Не помню, кто пришел к нему в тот раз на Плеханова (Мещанскую), – обычно были те же лица из следующего за моим, нет, не “поколения”, как они, отмежевываясь, себя называли, а скорей “литературного набора” писателей, критиков и поэтов: Стратановский, Чирсков, Севостьянов, Рохлин. Их дамы. Довлатова, кажется, не было, зато присутствовал Саня Лурье, умудрившийся иметь репутацию вольнодумца, числясь критиком в штате журнала “Нева”. Саня-то и стал критиковать меня после чтения.

– Оперетта! – жанрово оскорбил он мою поэму. – “Дуэт”, “Соло за сценой”...

– Где же тут опереточная развлекательность? – заступился Андрей, критик журнала “Звезда”.

– Ах!! – простонал Саня (он же “Саля”, как звал его по-домашнему Довлатян), и из его носа хлынула безостановочно кровь, очевидно, от одного лишь неприятия поэмы. Захлопотали, устроили его лечь на тахту, наложили влажных салфеток на переносицу... Дорогой ценой, но сорвал-таки мне обсуждение этот, конечно же, самозабвенный поклонник моего “антипода”. Да, действительно, тот стремил свой полет “все выше и выше”, но еще с большим перелетом запускались в зенит фейерверки статей, начиная с самой первой “Бродский и Пушкин”, написанной его ранним и малоизвестным фанатом, и кончая

недавней, последней (а выше уже и некуда) “Бродский и Бог” Самуила Лурье.

Между тем во внешнем мире сняли “освободителя” Хрущева, а “реставратор сталинизма” Брежнев взял да и отпустил нашего узника, уже созревшего для всех почестей земных, и он, что называется “на белом коне” въехал в обе столицы.

Мы с ним, конечно, не виделись, некоторые из моих знакомых стали останавливаться при встрече со мной, но рассказывали главным образом об успехах моего соперника да еще о тех мировых знаменитостях, которые его навещали. А – треугольник? Его напряжение то ослабевало, то вновь выпирало углами – им явно манипулировала Марина, для меня ее притягательность вовсе не исчезала, но стала восприниматься уже как литературный трофей, то затеняясь унынием, то подсвечиваясь надеждой.

Я развязался наконец с угрюмым почтовым ящиком, получив постоянное место редактора на учебном телевидении. Распорядок дня, особенно по контрасту с прежним, показался мне настолько расхлябанным, что мог бы, наверное, удовлетворить даже Миху Красильникова, когда-то провозгласившего “свободную Венгрию и свободное расписание”. Он, впрочем, давно оттрубил свои года лагерей и, как рассказывали, жил теперь в Риге, подрабатывая экскурсоводом.

Моя косая-кривая известность стала сама по себе тоже какой-то прок вырабатывать: вот, напечатали стихотворение в “Юности”, хоть и обкорнав, но не очень испортив. Здесь отвергли и там отказали, а вот опять: в “День поэзии”, правда, всего лишь “Ленинградский”, взяли стихотворение про ольху под названием “Возможности”. И ни строчки не переврали, напечатали весь текст как есть. В том же выпуске напечатан и Бродский – “На смерть Т. С. Элиота”. Вот и замечательно, и на здоровье: читайте, сравнивайте и аплодируйте тому, что вам сильней полюбилось! Разделяет нас вшитый в тетрадь блок писательских фотографий, – в его сторону смотрит благородное лицо Ахматовой, а моя страница открывается Прокофьевым на отвороте: разъетая морда чиновника, как раз и травившего Бродского и теперь как бы лобызающая мой текст. Конечно, случайность брошюровки, но очень уж резвая... Хочется захлопнуть эту страницу и не открывать никогда!

Вдруг – звонит и врывается ко мне в закут моя лира, мандолина дражайшая, вся в слезах, в испареньях адреналиновых... Что случилось, в чем дело? Оказывается, на четвертом месяце, хочет делать аборт, просит адрес врача или какой-нибудь частной клиники. Но почему же такое решение? Я –

против. Если двое хотели сделать ребенка, то надо вынашивать и рожать. Нет, она этого совсем не хотела и даже не предполагала, все – едва ль не умышленно – он.

Эх, кабальеро… Но если она ищет кардинальных решений для этих интимнейших дел, то почему же – ко мне?

Нет, опять же ко мне, уже с девятимесячным брюхом, и теперь: приму ль я ее навсегда? Конечно же, именно навсегда и приму и никак не иначе! Что там Толстой – ведь и у Достоевского не было ничего подобного. Забрезжила какая-то пародия на задуманное некогда счастье: Арлекин переодевается в панталоны Пьеро и роняет на сцену граненые ананасы слез.

Почти заставил себя верить: ее ни за что не примут дома, мы снимем комнату где-нибудь в Лахте или Ольгине, будем работать, растить… Что ж, я и на роль приемного отца, ей полуверя, полуподыгрывая, уже соглашался. Бродил около роддома, с чем-то питательно-витаминным в руках туда совался, но нянечки проницательно глянули и гляделками меня отогнали: мол, отец уже приходил, а ты кто?

Кто-то ее (уже – их) перевез из роддома к Кочергиным, театральным художникам. Он – в БДТ, у Товстоногова, за полшага от советской элиты, ну так что ж, молодцы, – хоть место для матери с новорожденным бэби от себя откроили… Я их там навестил, но усвоил, что мои визиты вносят излишнюю сложность в “легенду”.

А вот уже в доме “на Глинке”: над ванной развешены пеленки, колыбель – на сцене, а в танцевальном зале – полный переполох. Ужас и повальная корь! Младенец – вылитый Иосиф – заливается в плаче, его мать лежит почти без сознания: у нее взрослая корь, а это много опасней. А мне – что? Я этим еще в войну в Краснодаре под бомбами переболел и теперь малого рыжего клоника безбоязненно держу на руках и укачиваю, обмирая от жалости. А папашу туда не пускают.

Но вот Марина-Мария, она же и Марианна, показала мне переданный от него подарок: добротной печати хорошую Библию с надписью на титульном листе без пунктуации: “Андрею на всю жизнь Отец”.

И я стал туда как-то реже ходить и реже востребоваться.

Тем не менее какая-то ниточка, а то и суровая нить продолжала тянуться, и время от времени за нее дергали и меня проверяли. Даже в Америку были по телефону ночные звонки, срывавшие меня с двуспального ложа: “Митя, ну как ты там? Как ты?” Я объяснял, что я ничего, но здесь три часа ночи, я сплю, а в шесть нужно вставать на работу. Вообще для всего ее многолетнего поведения лучше всего подходил образец:

убегающее – схватить...

В 91-м я приехал на целый семестр в Ленинград, ставший вновь Санкт-Петербургом. Читал курс лекций, поглядывая в окно аудитории на черную осеннюю Неву, шпиль Адмиралтейства, золотой купол Исаакия и позеленевшего конника на скале, на том берегу.

Мне позвонил тот самый паренек... Захотел встретиться. Я был не против, назначил ему место у сфинксов. Галя Руби пошла со мной. К нам подошел ну совершенный Жозеф, и тех же в точности лет, что он был тогда... Манера говорить, жесты, – все то же самое. Побывал уже в Америке, но “фатер” не одобрил его нежеланья учиться. Здесь он держал за кого-то мазу, участвовал в каких-то разборках, а вообще-то хотел бы через меня перебрасывать здешний “рок” в Штаты и обратно. Это с моими планами не совпадало, и мы расстались.

Споткнувшееся время

О возрастных изменениях, о влиянии времени на тело и поведение человека пишет вся мировая литература, и вот уже какое тысячелетие тема эта каламбурно не стареет! Чисто читательски такой сюжет меня разочаровывает. Хотелось бы услышать о каких-либо новостях в этом вопросе: не удалось ли, например, хоть кому-либо остановить или пустить вспять неизбежный процесс, закляв его словом, как доктор Фауст, и лишь потом умереть? Или, наоборот, умереть сначала, наподобие доктора Живаго, а уже после эпилога возродиться стихами? Свою итоговую книгу Ахматова обозначила тем же понятием – “Бег времени”, и разрушительному ходу вещей у нее сопротивляется долговечней всего “царственное слово”. Слово, которое – памятник, но не из меди и камня, а из букв. А также – “Памятник” как стихотворение: не только Пушкина, а и Державина, и Ломоносова, да ведь и Горация же, роднящее отечественную поэзию с мировой.

Ахматова, которая занималась этой темой с аналитической хваткой историка, буквально пальцем указывала на то, как меняется от переложения к переложению образ того самого слова, что “превыше пирамид и тверже меди”, как изначально выражено у Горация. Но по ее мысли “Exegi monumentum” мог восходить к еще более раннему оригиналу, древнеегипетскому “Прославлению писцов”, и именно ей довелось перевести его на

русский. Там прославлялось даже не столько поэтическое, сколько вообще письменное слово, которое соперничает по долговечности с “пирамидами из меди”. Право же, чтобы с этим согласиться, не надо ждать другой вечности для доказательств: медная облицовка пирамид давно уже переплавлена мародерами в пар, а “Писцы” – вот, существуют в ахматовском переводе…

Свой “Бег времени” выражал бессловесно, но психологически точно Марсель Марсо, неувядаемый клоун-философ, приезжавший тогда на гастроли в наш Питер. Его мудрая пантомима показывала жизнь человека как прогулку: от первых шагов, сделанных при поддержке невидимой взрослой руки, от увлекательной игровой беготни детства к романтическим блужданиям юности и далее – к энергичному выходу на свою стезю, а затем от мелькнувшего было ужаса перед бессмысленностью дальнейшего хода – вперед, к привычному продвижению.

С поправками на условность в этом беге на месте можно было узнать и свою жизнь. Мой возраст приближался к тридцати, и в пантомиме ему соответствовало одолевание встречного ветра, когда порывы надежды сменялись обратными толчками отчаяния, которое мим отгонял, чтоб оно к нему не пристало, как “золотое клеймо неудачи”, если использовать ахматовское выражение. Возраст ее самой зашел уже далеко за семьдесят, и пантомима выражала его остановкой движения, замиранием перед концом, который делался заметным лишь после длительной паузы, когда вдруг падала кисть руки.

Нет, это и близко не соответствовало последнему году жизни Ахматовой! Она переживала период третьей славы: ее никогда не оставляла слава читательская, на короткое время (с войны до 46-го года) посетила ее слава советско-официальная, и вот теперь пришла слава международная – премия “Этна-Таормина” и поездка в Италию, выдвижение на Нобелевскую премию, звание почетного доктора Оксфордского университета…

Но, странным образом, не эти почести придавали ей значительность и вескость, а скорее она – им. Поздней приходилось мне видеть докторов из Окфорда, и теперь я не спорю: есть среди них фигуры своеобразные и яркие, даже порой игровые, например, получивший почетную степень как раз за стихи… чемпион мира по боксу Мухаммед Али, – эксцентрическая шутка интеллектуалов ученого совета. Не говоря уж о закулисной игре Нобелевского комитета: вот уж кому должны были дать премию, так это ей, а не последующим лилипутам островных литератур, не предшествующему Шолохову.

А вот симпатичная сицилийская премия только тем, кажется,

и знаменита, что ее вручили Ахматовой. Впрочем, Сальваторе Квазимодо и Дилан Томас – тоже, конечно, первоклассные поэты, но они получили лишь премию, а для Ахматовой наградой была еще и Италия.

Она показала мне дары, ей врученные вместе с “Этной-Таорминой”: куклу-рыцаря в серебряных доспехах, божественно-великолепный том Божественной же комедии, показала синюю куртку, купленную там для Иосифа. “Из-за цвета носить он ее не будет”, – подумал я, но вслух одобрил вещь за практичность... Впервые я видел Ахматову одетой в легкое кимоно, как, может быть, для семейного праздника или свидания, хотя розовый цвет уже не мог веселить отсветами опухлую бледность ее лица. Юмор оживлял его по-прежнему, но сами сюжеты итальянских рассказов отбрасывали длинную траурную тень.

В Риме ей больше всего запомнилась могила Рафаэля, и она в разговоре описывала маленькую арку в стене, низкий свод, выложенный кирпичом, и гроб, туда вставленный:

– И от обыкновенности этого гроба, от простого кирпича – ощущение скорби, недавней, чуть ли не вчерашней смерти.

В Катании для вручения премии ее привезли к замку Урсино и провели во внутренний двор, где она увидела, что ей надо подняться по лестнице прямо во второй этаж:

– Лестница открытая, без перил... Такая лестница, что к ней должен подскакать всадник и в сапогах вот с такими шпорами взбежать через две ступени. Тут я прекрасно себе представила, как я поднимаюсь, мне делается плохо, и вместо премии – хлопоты, все, как надо: приезжает “скорая помощь”, и я получаю то, что называется “похороны по четвертому разряду”, когда покойник сам погоняет... Но я – взошла.

Этот рассказ я записал слово в слово в мою тетрадь 14 февраля 1965 года. А в одной из очередных тетрадок на пустом развороте была помета: “Сегодня 5 марта умерла Ахматова. Остались мы одни, ахматовские сироты”.

Девятого позвонил Найман, был краток: “Где ты пропадаешь? Сегодня – отпевание в нижней церкви Никольского собора. Завтра – гражданская панихида в Доме писателя. Похороны на Комаровском кладбище”. Он, наверное, обзванивал многих – об этом широко объявлено не было.

У Николы Морского уже собралось много народу, к гробу было не пройти, я постоял в толпе, привыкая к мысли, что вот, теперь уже – все... Вслушивался в слова, произносимые священником между каждениями, понимая их, может быть, впервые и относя их к новопреставленной Анне. Жертва вечерняя... Я ведь не раз хотел говорить с ней “обо всем этом” и

уже набирал в паузах между других разговоров слова, чтобы задать ей вопрос о Боге, но то ли моя тогдашняя неготовность, то ли ее снисходительное веселье в полуоборот к подносимым цветам – что-то мешало заговорить о главном. Теперь эта тема зазвучала на церковнославянском.

В Доме писателя – очередное унижение перед закрытой дверью: “Только для членов Союза”. Отправился прямо в Комарово, – пока я доеду и дойду дотуда, прибудет и похоронный автобус. Так и получилось. День был сырой, с залива нанесло талой влаги, дышалось с трудом. Когда гроб внесли в кладбищенские воротца, я ринулся к нему, несущие чуть расступились, и рука ощутила груз. В центре потоптались, разворачиваясь на боковую дорожку, ведущую прямо к кучам отрытого песка между сугробов. Поставили ношу на козлы перед могилой, начались речи: Михалков, Макогоненко, Тарковский. Я как-то привычно встал рядом с Рейном, но тут засверкали фотовспышки, и он вдруг просунул плечо вперед и отодвинул меня себе за спину.

Именно эта фотография перепечатывалась потом бесконечно: Бродский, Ирина Пунина, Эра Коробова, Арсений Тарковский, мрачно набыченный Рейн и мой лоб, виднеющийся из-за его плеча. В некоторых дотошных изданиях приклеивалась к этому лбу стрелка и внизу давалось пояснение: “Д. В. Бобышев”.

В последнем прощании склонился Лев Николаевич Гумилев. Я видел его тогда впервые, и разрез его несколько выпуклых глаз поразил меня сходством с ахматовскими живыми глазами. Но те уже были закрыты, лоб обрамлял бумажный венчик с молитвой, черты лица изменились. Я поцеловал ей руку и взял с собой горсть песку.

Это был также последний раз, когда вся наша четверка оказалась вместе.

Споры у пьедестала

Смерть Ахматовой вынула из нашей поэтической общности некий серебряный гвоздь, и она развалилась без этого стержня на четыре отдельно бьющихся честолюбия: не совсем, впрочем, отдельно, а как-то коленчато и через раз друг против друга... К концу 60-х и Найман, и Рейн совсем перебрались в Москву, а в середине 70-х Бродский заторопился в Америку, но сначала, как я непреднамеренно узнал, планы его принимали матримониальную форму. Я познакомился у Шмакова с американской слависткой,

дочерью дипломата, которая приехала заниматься Андреем Белым. И предмет ее исследований, и сама молодая женщина вызвали мое бурное одобрение, но Шмаков, по крайней мере частично, его охладил, шепнув, что она (и это – железно!) невеста Бродского... Ну нет, с меня хватит чужих и в особенности Жозефовых невест – не превращаться ж в какого-то маниака, в профессионала по их "уводу". Но оказалось, что планы его изменили свои очертания, девушка огорчилась этим настолько, что бросила свою славистику и вышла замуж за военнослужащего. А Иосифа, как известно, стали торопить власти, и он появился в Америке не в качестве счастливого мужа, но уже сам по себе и со статусом политического беженца. Затем приехал в Америку и я – вот именно что за счастьем...

С Иосифом мы не общались, и он избегал пересечений со мной слишком даже заметно. Но однажды я позвонил ему, и мы поговорили по телефону: предмет был выше наших разногласий, поскольку касался Ахматовой. Дело в том, что несмотря на невероятную популярность ее стихов, а может быть, и вследствие этого она вызывала (и вызывает) жгучее раздражение у любителей привлечь к себе внимание публики. Михаил Бахтин объяснял такой феномен карнавалом, а дедушка Крылов толковал иначе в басне про слона и кого-то там еще. Тогда дополнением к слону оказался Константин (Кока) Кузьминский.

Человек, немыслимый без раздраженного или восхищенного окружения, он возник золотистым чертом на фоне питерского "андеграунда" в начале 70-х, выдавая себя за главу собственной поэтической школы. Уже это вызывало к нему неравнодушие. Помню: Коку привел ко мне в коммуналку на Невском проспекте один из его "учеников". Я снимал там комнату с окнами на неоновое слово "Родина" и на стрелу, указывающую направо, где в глубине находился одноименный кинотеатр, и когда у меня появлялись посетители, старушки-соседки выглядывали из своих дверей: кто пришел? Тут они просто вывалились в коридор. Еще бы! Молодец был одет в козью телогрейку навыворот, прямо на голое тело, из-под бороды виднелся латунный крест на цепи, но и этого мало. На нем были невиданные кожаные штаны, а в руках в качестве трости он держал полированную корягу. Футурист жизни да и только! Штаны оказались наследием улетевшего в Париж художника Шемякина, но Кока сдергивал их при первой возможности, в особенности – перед камерой. Выпущенный Шемякиным "Аполлон-77" содержит фототриптих голого Кузьминского... на шкафу, а в журнале "Мулета" можно увидеть его на парижской улице (из одежды – лишь цилиндр на голове) с отъетым на Западе брюхом и крашеной пипкой. Но это была лишь

интермедия.

Вообще-то он буквально перебрался с дивана на диван из Питера в Техас с борзыми собаками и женой Мышкой (“Мышка – портвейну!”), которая, инженеря по-малому, кормила всю свору. А Кока, вывезя поэтический самиздат, собранный им с Гришей Ковалевым, прославлял себя и печатал эту едва разобранную кучу в многотомной антологии с позорным для любого футуриста названием “У Голубой Лагуны”. Не знаю, при чем тут борзые, но идея была, в принципе, неплохая, даже хорошая, и для многих авторов “Лагуна” оказалась единственным шансом мелькнуть в литературном контексте. Однако Кузьминский же и портил все дело. Помимо его все-таки, наверное, клинической страсти к обнажению, ему была присуща еще одна сопутствующая особенность: он ненавидел поэтесс. В той же “Лагуне” у него была собрана коллекция, содержащая образцы рифмованных глупостей наших сестер по жизни.

Понятно, что Ахматова представляла собой слишком крупную цель, чтобы по ней промазать. И Кузьминский стал на этой мишени упражняться.

Разумеется, проект антологии находился под наблюдением (финансовым, но и не только) Техасского института современной русской культуры в Голубой Лагуне, – вот откуда и вынужденное название антологии. Скушав этот компромисс, наш ниспровергатель банальности уже свободней пустился самовыражаться. Впрочем, техасские профессора (а их, по Кузьминскому, надобно было вешать) просматривали и посылали сотворяемое на внешнюю оценку – ну хотя бы для отчетности и ради чистой проформы. Так я узнал о его бесчинствах.

Прежде всего, он там вознамерился напечатать мои ранние стихи, а я ему разрешения не давал. Более того, узнав о его планах еще в Питере, я ему недвусмысленно запретил это делать, предвидя, в каком оформлении или с какими комментариями стихи смогут увидеть свет. В тот же том и так же не спросясь он собирался поместить и Бродского, и Наймана, который тогда наложил запрет на любые свои публикации на Западе.

Вообще-то, положа руку на сердце, я мог бы второй ладонью закрыть глаза и смотреть на происходящее со мной сквозь пальцы: ничьи тексты не проиграли бы от честного сопоставления с другими. Но составитель под тем же переплетом собирался пристроить и свои собственные антиахматовские упражнения. И я решил действовать.

Я легко раздобыл нью-йоркский телефон Бродского и позвонил ему из Милуоки, сказав, что обращаюсь к нему по делу, касающемуся его самого, а также имеющему отношение к памяти

Ахматовой. Он слыхал о Кузьминском и его затее и не придавал этому большого значения.

– Но если тот порочит Ахматову, это меняет дело.

– Да, именно порочит. Причем у него таких стишков припасен целый цикл. Наизусть я их, конечно, не помню, но могу пересказать.

– Нет, не надо... Я немедленно забираю оттуда свои стихи.

– Я тоже буду сейчас звонить издателям. Увы, запретить это безобразие мы не можем, ибо – свобода, а не участвовать имеем полное право.

Вдруг он спросил:

– Ну как тебе в Америке?

– Ничего. Трудновато, но интересно.

– Тебе – интересно? Что же именно?

– Да многое, если не все: краски, лица, природа...

– А – а...

Разговор на этом закончился. Том “Лагуны” вышел “без двух Б”, но зато со всеми своими замечательными пакостями.

Несколько лет спустя я был в Нью-Йорке на конференции славистов и заодно зашел на “русское мероприятие”, состоявшееся в трапезной православной церкви на Манхэттене. Церковь была памятная: там я венчался вторым браком, хотя венчание было первым, и не только для бракосочетающихся, а и для молодого батюшки, которого за глаза называли “отец Мишка”. Первый блин в конце концов испекся у нас комом, но дело не в этом. В пику славистам “отец Мишка” каким-то духом собрал со всего света, как он считал, передовые силы поэзии, и они у него в церкви выступали, якоже футуристы в “Бродячей Собаке”: претенциозно и карнавально. Когда я вошел в трапезную, где когда-то после венчания игралась моя свадьба, Анри Волохонский, приехавший из Израиля, опасливо покосился глазом из-под огромного бархатного берета, напяленного на средневековый манер. Затем выступила выписанная из Австрии Елизавета Мнацаканова в островерхой конической шапке звездочета. Читала она “Песни гнойных сестер”. Конев, владелец эмигрантской империи звукозаписей, поправлял микрофон, сияя двумя рядами златых зубов. Ждали Кузьминского. Прошел слух: “Уже приехал, опохмеляется внизу, сейчас будет”... Явился потный, видом пародируя “отца Мишку” – в африканском подряснике на голое тело, с крестом на цепи. Читал “Вавилонскую башню”, по определению не законченную, имитируя язык суахили. В перерыве подошел.

– Что ж вы, Дима, оставили мою антологию “без двух Б”? – упрекнул он меня, повторив свою шутку.

– А не надо было позорить Ахматову, Кока.

– Я так и знал! Ну, если хотите, можете мне набить за это морду.

– Немедленно и с большим удовольствием.

– Одну минутку! Это надо запечатлеть для истории. Я должен позвать мою придворную фотографиню.

Пока устанавливался штатив, я, примеряясь, одной рукой взялся за золотистую бороду, а другую занес над головой. Мы сделали зверские лица, блеснула фотовспышка, и обе заинтересованные стороны, учтиво попрощавшись, разошлись.

Вдруг пожелал опозорить Ахматову талантливый Алексей Цветков, одно время – надежда эмигрантской поэзии. Заявил в каком-то интервью: “Действительно монахиня и блудница, и каждая строчка – предсказуема, как гимн Советского Союза...” На очередном “славянском базаре” я проснобировал его. К чести Цветкова, он прямо обратился ко мне:

– Это из-за Ахматовой?

– Ну конечно. Как вы могли оказаться таким противоестественным последователем Жданова?

– Извините, сам не знаю, как так получилось...

Иное дело, что к 100-летнему юбилею Ахматовой ее полное и повсеместное признание вызвало, как водится на Руси, уродливые явления и даже попытки культа. Пооткрывались самочинные коллекции, домашние музеи. Один из таких причудливых собирателей призывал обмениваться “ахматовицами”, как ярлыками в Орду, то есть строчками ее стихов плюс засушенный лист или птичья лапка: мол, помогает от присухи и почечуя...

Конечно, в ответ на такие глупости пошли походом занимательные литературоведы, причем не против них, а против Ахматовой. Даже журнал “Звезда” напечатал ряд связанных с ее именем материалов, задевших мое представление о справедливости, и я написал им письмо, но его там не напечатали. Пришлось отдать его в нью-йоркский “Новый Журнал”, который не всегда достигает места.

Я, конечно, знал, почему “Звезда” не напечатала моего письма – не только потому, что им нечем было ответить на упрек самому журналу. И не только из-за тех имен, которые они скрыли в своей публикации, а я назвал. Но я упомянул еще о подспудном и долго скрываемом процессе: борьбе за сотворение мифа и памятника Бродскому, а иначе – о битве памятников.

Еще при жизни наш прославленный современник был удостоен бронзового изображения: талантливая голландская скульпторша изваяла его бюст в натуральную величину и отлила его в бронзе в двух экземплярах. Один она оставила у себя, а

второй был выкуплен Иосифом с помощью Михаила Барышникова, его финансового партнера по манхэттенскому ресторану “Самовар”, и передан музею Ахматовой в Фонтанном Доме. Я его там видел. В экспозиции ему места не нашлось – он бы сразу затмил все экспонаты, относящиеся к истинной “хозяйке” Фонтанного Дома, и его пока поместили в служебных помещениях, откуда он явно выпирал наружу. Он стоял на шкафу (подлинник, принадлежавший родителям поэта) с надписью “Библиотека И. А. Бродского”, где среди знакомых мне книг я увидел памятных Дос Пассоса и Сент-Экзюпери, которых он мне не вернул, а теперь уже – все, музейная собственность… Полированной темной бронзой бюст чеканил свой профиль, полуоборот и анфас (я его обошел) даже не с достоинством римского патриция, а именно что с величием кесаря, и я понял, что он тут будет распоряжаться по-своему.

Набравшись духу и чуть разыгрывая пушкинского Евгения, я погрозил ему пальцем:

– Ужо, веди себя здесь хорошо!

К 300-летию Петербурга стала разворачиваться кампания по установке нового памятника Бродскому на Васильевском острове, куда, как все знают, он так и не пришел умирать, вопреки своему раннему обещанию. На языке символов (а памятники именно и говорят таким языком) это будет означать не более и не менее, как признание его короной всей петербургской культуры.

Мне живо представилась длинная очередь неустановленных памятников с протянутой потомству рукой – установите! Вот – памятник Блоку, Вячеславу Иванову, Мандельштаму и Ахматовой, да и Михаилу Кузмину… И Клюеву, и Есенину… Даже Тихону Чурилину!

Вдруг впереди всех в очередь становится Бродский.

Памятник Анны Ахматовой (бронзово):

– Извините, Иосиф Александрович, вас тут не стояло!